

P179267

4кд

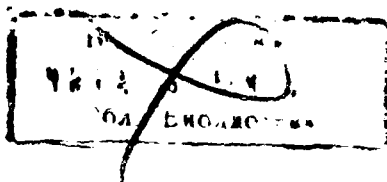
Сборник
стихов





СБОРНИК СТИХОВ

№ 9766/1



О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1943

Составители:
В. Казин и В. Перцов

Подписано к печати 26 июня 1943 г. А483. 36 печ. л.
Тираж 25 000 экз. Зак. № 4585.

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига».
Москва, Валовая, 28.

Владимир МАЯКОВСКИЙ



ПОЭТ РАБОЧИЙ

Орут поэту:
„Посмотреть бы тебя у токарного станка.
А что стихи?
Пустое это!
Небось работать — кишка тонка“.
Может быть,
нам
труд
всяких занятий роднее.
Я тоже фабрика.
А если без труб,
то, может,
мне
без труб труднее.
Знаю —
не любите праздных фраз вы.
Рубите дуб — работать дабы.
А мы
не деревообделочники разве?
Голов людских обделываем дубы.
Конечно,
почтенная вещь — рыбачить.
Вытащить сеть.
В сетях осетры б!
Но труд поэтов — почтенный паче —
людей живых ловить, а не рыб.
Огромный труд — гореть над горном,
железа шипящие класть в закал.
Но кто же
в бездельи бросит укор нам?
Мозги шлифуем рашпилем языка.
Кто выше — поэт
или техник,

который
ведет людей к вещественной выгоде?
Оба.
Сердца — такие ж моторы.
Душа — такой же хитрый двигатель.
Мы равные.
Товарищи в рабочей массе.
Пролетарии тела и духа.
Лишь вместе
вселенную мы разукрасим
и маршами пустим ухать.
Отгородимся от бурь словесных молотом.
К делу!
Работа жива и нова.
А праздных ораторов —
на мельницу!
К мукомолам!
Водой речей вертеть жернова.

1918

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВШЕЕ О ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

*(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст по
Ирславской жел. дор.)*

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыши корою.
А за деревню —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.
А завтра
снова
мир залить

вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шлаться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза,
уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя;
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведя,
заговорило басом:
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?

Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Чорт дернул дерзости мои
орать ему, —
сконфужен
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и степенность
забыв,
сизжу, разговорясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди, попробуй! —
А вот идешь —
взялось итти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я,
нас, товарищ, двое!

Пойдем, поэт,
взорлим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

1920

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ЕСЯКОГО УМА

Старая, но полезная история

Врангель прет.
Отходим мы.
Врангелю удача.
На базаре
две кумы,
вставши в хвост, судачат:
— Кум сказал, —
а в ём ума! —
я-то куму верю, —

что барон-то,
 слышь, кума,
 меж Москвой и Тверью.
 Чуть не даром
 всё
 в Твери
 стало продаваться.
 Пуд крупчатки...
 — Пу,
 не ври! —
 пуд за рупь за двадцать.
 — А вина, скажу я вам!
 Дух над Тверью водочный.
 Пьяных
 лично
 по домам
 водит околоточный.
 Влюблены в барона власть
 левые и правые.
 Ну, не власть, а прямо сласть,
 просто — равноправие. —

Встали, ртом ловя ворои.
 Скоро ли примчится?
 Скоро ль будет царь-барон
 и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.
 — Пá, — сказал он бабе, —
 скороходы-сапоги,
 к Врангелю зашла бы! —
 Вмиг обувшись,
 шага в три
 в Тверь кума на это.
 Кум сбрыхнул ей:
 во Твери
 власть стоит советов.
 Мчала баба суток пять,
 рвала юбки в ветре,
 чтоб баронский
 увидать
 флаг
 на Ай-Петри.
 Разогнавшись с дальних стран,

удержаться силась,
баба
прямо
в ресторан
в Ялте опустилась.

В «Грандотеле»
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбёшку тоже.

Метрдотель
желанья то
врит —
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.
Всё в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:
— Дайте мне
всю программу разом!—

От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабин голос слабый.

Вся собралась публика.
Стали щелкать счеты.
Сто четыре рублика
выведено в счете.
Что такая сумма ей?!
Даром!
С неба манна.
Двести вынула рублей
баба из кармана.

Отскочил хозяин.

— Нет! —

(Бледность мелом в роже.)

Наш-то рупь не в той цене,

наш в миллион дороже. —

Завопил хозяин лют:

— Знаешь разницу валют?!

Беспортошных нету тут,

генералы тут пьют! —

Возопил хозяин в яри:

— Это, тетка, что же!

Этак

каждый пролетарий

жрать захочет тоже.

— Будешь знать, как есть и пить! —

все завыли в злости.

Стал хозяин тетку бить,

метрдотель

и гости.

Околоточный

на шум

прибежал из части.

Взвыла баба:

— Ой,

прошу,

защитите, власти! —

Как подняла власть сия

с шпорой сапожища...

Как полезла

мигом

вся

вспять

из бабы пища.

— Много, — молвит, — благ в Крыму —

только для буржуя,

а тебя,

мою куму,

в часть препровожу я. —

Влезла

тетка

в скороход

пред тюремной дверью.
как задала тетка ход —
в Эрэсэфэсарю.

Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите
 в том раю
сами побывать ли?!

1920

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание;
отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
Объединение Тео и Гукона».
 Исколесишь сто лестниц,
Свет не мил.

Опять:
«Через час велели притти вам.
Заседают:
Покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час
ни секретаря,
ни секретарши нет —

гóло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова вабираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семипэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?»—
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-ве-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорóгой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О, дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться!
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!

1922

ПРО ЭТО
(ЕЙ И МНЕ)
(Из поэмы)

Про что — про это?

В этой теме,
и личной и мелкой,
перспетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды,
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге
прикажет:
скреби!
И калека
к бумаге
срывается в клёкоте,
только
строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —

Эта тема придет,

велит:

— Красота!—

И пускай

перекладиной кисти раскйстены,
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —
и становится

«А»

недоступней Казбека.

Замутит,

оттянет от хлеба и сна.

Эта тема придет,

вовек не износится,

только скажет:

— Отныне гляди на меня! —

И глядишь на нее,

и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знаменья.
Это хитрая тема!

Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярясь —

посмели забыть ее! —

затрясет;

посыпятся души из шкур.

Это тема ко мне заявила гневная,
приказала:

— Подать

дней удилà! —

Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.

Эта тема пришла,

остальные оттерла

и одна

безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!

От сердца к вискам.

Эта тема день истемнила в темень,
колотись — велела — строчками лбов,

Имя
этой
теме:

1923

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ...

(Прошу вас, товарищ химик, заполните сами!)

Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиеньем,
голосом,
каждым острием издыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,
зубом, искрежщенным в звериный лягг,
ёжью кожи,
гнева брови сборами,
триллионом пор,
дословно —
всеми порамц
в осень,
в зиму,
в весну,
в лето,
в день,
в сон
не приемлю,
ненавижу это
всё.
Всё,
что в нас
ушедшим рабьим вбито,
всё,
что мелочинным роем
оседало
и осело бытом

даже в нашем
 краснофлагом строе.
 Я не доставлю радости
 видеть,
 что сам от жаряда стих.
 За мной не скоро потянете
 об упокой его душу таланте.
 Меня
 из-за угла
 ножом можно.
 Дантесам в мой не целить лоб.
 Четырежды состарюсь — четырежды
 омоложенный,
 до гроба добраться чтоб.
 Где б ни умер,
 умру поя.
 В какой трущобе ни лягу,
 знаю —
 достойн лежать я
 с легшими под краёным флагом.
 Но за что ни лечь —
 смерть есть смерть.
 Страшно — не любить,
 ужас — не сметь.
 За всех — пуля,
 за всех — нож.
 А мне когда?
 А мне-то что ж?
 В детстве, может,
 на самом дне,
 десять найду
 сносных дней.
 А то что другим!
 Для меня б этого!
 Этого нет.
 Видите —
 нет его!
 Верить бы в загробь!
 Легко прогулку пробную.
 Стопт
 только руку протянуть —
 пуля
 мигом
 в жизнь загробную

начертит гремящий путь.

Что мне делать,

если я

во-всю,

всей сердечной мерою,

в жизнь сию,

сей

мир

верил,

верую.

Вера Пусть во что хотите жданыя

удлинятся —

Вижу ясно,

ясно до галлюцинаций.

До того,

что кажется —

вот только с этой рифмой
развяжись,

и вбежишь

по строчке

в изумительную жизнь.

Мне ли спрашивать —

да эта ли?

Да та ли?!

Вижу,

вижу ясно, до деталей.

Воздух в воздух,

будто камень в камень,

недоступная для тленов и крошений,

рассиявшись,

выситя веками

мастерская человеческих воскрешений.

Вот он

большелобый

тихий химик,

перед опытом наморщил лоб.

Книга —

«вся земля» —

выискивает имя.

Век XX-й.

Воскресить кого б?

— Маяковский вот...

Поищем ярче лица —

недостаточно поэт красив.

ВОД

Крикну я
вот с этой,
с нынешней страницы:

— Не листай страницы!
Воскреси!

Надежда Сердце мне вложи!
Кровищу —
до последних жил.

В череп мысль вдолби!
Я свое, земное, не дожйл
на земле,
свое не долибил.

Был я сажень ростом.
А на что мне сажень?

Для таких работ годна и тля.
Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
вплющился очками в комнатный футляр.
Что хотите, буду делать даром —
чистить,

мыть,
стеречь,
мотаться,
месть.

Я могу служить у вас
хотя б швейцаром.

Швейцары у вас есть?

Был я весел —

толк веселым есть ли,
если горе наше непролазно?

Нынче

обнажают зубы если,
только чтоб хватить,
чтоб лязгнуть.

Мало ль что бывает —

тяжесть
или горе...

Позовите!

Пригодится шутка дурья.

Я шарадами гипербол

аллегорий

буду развлекать,

стихами балагурия.

Я любил...

Не стоит в старом рыться.

Больно?

Пусть...

Живешь и болью дорожаешь.

Я зверье еще люблю —

у вас

зверинцы

есть?

Пустите к зверю в сторож.

Я люблю зверье.

Увидишь собачонку —

тут у булочной одна —

сплошная плешь, —

из себя

и то готов достать печенку.

Мне не жалко, дорогая,

ешь!

Любовь Может,

может быть,

когда-нибудь

дорожкой зоологических аллей

и она —

она зверей любила —

тоже ступит в сад,

улыбаясь,

вот такая,

как на карточке в столе.

Она красивая —

ее, наверно, воскресят.

Ваш

тридцатый век

обгонит стаи

сердце раздиравших мелочей.

Пынке недолюбленное

наверстаем

звездностью бесчисленных ночей.

Воскреси

хотя б за то,

что я

поэтом

ждал тебя,

откинул будничную чушь!

Воскреси меня

хотя б за это!

Воскреси —
 свое дожить хочу!
Чтоб не было любви — служанки
замужеств,
 похоти,
 хлебов.
Постели прокляв,
 встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
 который горем старящ,
не христарadniчать, моля.
Чтоб вся
 на первый крик:
 товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
 не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
 в родне
 отныне
 стать
отец — по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере — мать.

1923

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

(Из поэмы)

Если бы
 выставить в музее
плачущего большевика
весь день бы
 в музее
 торчали рогозен.
Еще бы —
 такое
 не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
 выжигали на наших спинах
 панские воеводы.

Живьем,
 по голову в землю,
 закапывали нас банды Мамонтова.
 В паровозных толках
 сжигали нас японцы,
 рот заливали свинцом и оловом.
 Отрекитесь! — ревели,
 но из
 горящих глоток
 лишь три слова:
 Да здравствует коммунизм!

Кресло за креслом,
 ряд в ряд
 эта сталь,
 железо это
 вваливалось
 двадцать второго января
 в пятиэтажное здание
 Съезда советов.

Усаживались,
 кидались усмешкою,
 решали
 походя
 мелочь дел.

Пора открывать!
 Чего они мешкают?

Чего
 президиум,
 как вырубленный, поредел?

Отчего
 глаза
 краснее ложки?

Что с Калининым —
 держится еле.

Несчастье?
 Какое?

 Быть не может!

А если с ним?..
 Нет!

 Неужели?

Потолок
 на нас
 пошел снижаться вороном.

Опустили головы —
 еще пагии!
 Задрожали вдруг
 и стали черными
 люстр расплывшихся огни.
 Захлебнулся
 колокольчика пенужный шелк.
 Превозмог себя
 и встал Калинин.
 Слезы не сжуёшь
 с усов и щек.
 Выдали.
 Блестят у бороды на клипе.
 Мысли смешались,
 голову мнут.
 Кровь в виски,
 клокочет в вене.
 — Вчера
 в шесть часов пятьдесят минут
 скончался товарищ Ленин! —
 Этот год
 видал,
 чего не взвидят сто.
 День
 векам
 войдет
 в тоскливое преданье.
 Ужас
 из железа
 выжал стон.
 По большевикам
 прошло рыданье.
 Тяжесть страшная!
 Самих себя же
 выволакивали волоком.
 Разузнать —
 когда и как? —
 Чего таят!
 В улицы
 и в переулки
 катафалком
 плыл
 Большой театр.

Радость
ползет улиткой.
У горя
бешеный бег.
Ни солнца,
ни льдины слитка —
всё,
сквозь газетное ситко,
черный
засеял снег.
На рабочего
у станка
весть набросилась.
Пулей в уме.
И как будто
слезы стакан
опрокинули на инструмент.
И мужичонко
видавший виды,
смерти
в глаза
смотревший не раз,
отвернулся от баб,
но выдала
кулаком
растертая грязь.
Были люди — кремьнь,
и эти
прикусились,
губу уродуя.
Стариками
рассерезничались дети,
и как дети
плакали седобородые.
Ветер
всей земле
бессонницею выл,
и никак,
восставшей,
не додумать до конца,
что вот гроб
в морозной
комнатёночке Москвы

революции
 и сына и отца.
 Конец,
 конец,
 конец.
 Кого
 уверять!
 Стекло —
 и видите под...
 Это
 его
 несут с Павелецкого
 по городу
 взятому им у господ.
 Улица —
 будто рана сквозная,
 так болит
 и стонет так.
 Здесь
 каждый камень
 Ленина знает
 по топоту
 первых
 октябрьских атак.
 Здесь
 все,
 что каждое знамя
 вышило,
 задумано им
 и велено им.
 Здесь
 каждая башня
 Ленина слышала,
 за ним
 пошла бы
 в огонь и в дым.
 Здесь
 Ленина
 знает
 каждый рабочий,
 сердца ему
 ветками елок стелѣ.
 Он в битву вел,
 победу пророчил,

и вот
 пролетарий —
 всего властелин.
Здесь
 каждый крестьянин
 Ленина имя
в сердце
 вписал
 любовней, чем в святцы.
Он земли
 велел
 назвать своимъ,
что дедам
 в гробах
 засеченным снятся.
И коммунары
 с-под площади Красной,
казалось,
 шепчут:
 — Любимый и милый!
Живи
 и не надо
 судьбы прекрасней —
сто раз сразимся
 и ляжем в могилы!
Сейчас
 прозвучали б
 слова чудотворца
чтоб нам умереть —
 и его разбудят —
плотина улиц
 в распашку разтворится,
и с песней
 на смерть
 ринутся люди.
Но нету чудес,
 и мечтать о них нечего.
Есть Ленин,
 гроб
 и согнутые плечи.
Он был человек
 до конца человеческого —

неси
и казись
тоской человеческой.
Вовек
такого
бесценного груза
еще
не несли
океаны наши,
как гроб этот красный,
к Дому союзов
плывущий
на спинах рыданий и маршей.
Еще
в караул
вставала в почетный
суровая гвардия
ленинской выправки,
а люди
уже
прожидают, впечатаны
во всю длину
и Тверской
и Димитровки.
В семнадцатом
было —
в очередь дочери
за хлебом не вышлешь —
завтра съем!
Но в эту
холодную
страшную
очередь,
с детьми и с больными,
встали все.
Деревни строились
с городом рядом.
То мужеством горе
то детскими вызвенит.
Земля труда
проходила парадом —
живым
итогом
ленинской жизни.

Желтое солнце
 косое и лаковое
взойдет,
 лучами к подножью кидается.
Как будто
 забитые
 надежду оплакивая,
склоняясь в горе
 проходит китайцы.
Вплывали
 ночи
 на спинах дней,
часы мешая,
 путая даты.
Как будто
 не ночь
 и не звезды на ней,
а плачут
 над Лениным
 негры из Штатов.
Мороз небывалый
 жарил подошвы.
А люди
 днюют
 давкою тесной.
Даже
 от холода
 бить в ладоши
никто не решается —
 нельзя,
 неуместно.
Мороз хватает
 и тащит,
 как будто
пытает,
 насколько в любви закаленные.
Врывается в толпы.
 В давку запутан,
вступает
 вместе с толпой за колонны.
Ступени растут,
 разрастаются в риф.

Но вот
затихает
дыханье и пенье,
и страшно ступить —
под ногою обрыв —
бездонный обрыв
в четыре ступени.
Обрыв
от рабства в сто поколений
где знают
лишь золота звонкий резон.
Обрыв
и край —
это гроб и Ленин,
а дальше
коммуна
во весь горизонт.
Что увидишь?!
Только лоб его лишь,
и Надежда Константиновна
в тумане
за...
Может быть,
в глаза без слез
увидеть можно больше,
не в такие
я
смотрел глаза.
Знамен
плывущих
склоняется шелк
последней
почестью отданной:
«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь благородный».
Страх.
Закрой глаза
и не гляди —
как будто
идешь
по проволоке провода.

Как будто
минуту
один-на один
остался
с огромной
единственной правдой.
Я счастлив.
Звнящего марша вода
относит
тело мое невесомое.
Я знаю —
отныне
и навсегда
во мне
минута
эта вот самая.
Я счастлив,
что я
этой силы частица,
что общие
даже слезы из глаз.
Сильнее
и чище
нельзя причаститься
великому чувству
по имени —
класс!
Знамённые
снова
склоняются крылья,
чтоб завтра
опять
подняться в бой:
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
к плечу плечо,
флаги вычернив
и веками алея,
на последнее
прощанье с Ильичем
шли
и медлили у мавзолея.
Выполняют церемониал.

Встает
 предо мной
 у знамен в оварении
темный
 земной
 неподвижный шар.
Над миром гроб
 неподвижен и нем.
У гроба —
 мы,
 людей представители,
чтоб бурей восстаний,
 дел и поэм
размножить то,
 что сегодня видели.
Но вот
 издалёка,
 оттуда
 из алого
в мороз,
 в караул умолкнувший наш
чей-то голос:
 «Шагом марш».
Этого приказа
 и не нужно даже, —
реже,
 ровнее,
 тверже дыша,
с трудом
 отрывая
 тело-тяжесть,
с площади
 вниз
 вбиваем шаг.
Каждое знамя
 твердыми руками
вновь
 над головою
 взвито ввысь.
Топота потоп,
 сила кругами,
ширясь,
 расходится
 миру в мысль.

в море
 пора
 подводным кротам.
 «По морям,
 по морям
 нынче здесь,
 завтра там».
 Выше, солнце!
 Будешь свидетель —
 скорей
 разглаживай траур у рта.
 В ногу
 взрослым
 вступают дети —
 тра-та-та-та-та,
 та-та-та-га.
 «Раз,
 два,
 три!
 Пионеры мы.
 Мы фашистов не боимся,
 пойдем на штыки».
 Напрасно
 кулак Европы задран.
 Кроем их грохотом.
 Назад!
 Не смей!
 Стала
 величайшим
 коммунистом-организатором
 даже
 сама
 Ильичева смерть.
 Уже
 над трубами
 чудовищной роци,
 руки
 миллионов
 сложив в древко,
 красным знаменем
 Красная площадь
 вверх
 вздывается
 страшным рывком.

У меня,
 да и у вас
 в запасе вечность.
 Что нам
 потерять
 часок-другой?!
 Будто бы вода —
 давайте
 мчать болтая,
 будто бы весна —
 свободно
 и раскованно!
 В небе вон
 луна
 такая молодая,
 что ее
 без спутников
 и выпускать рискованно.
 Я теперь
 свободен
 от любви
 и от плакатов.
 Шкурой
 ревности медведь
 лежит когтист.
 Можно
 убедиться,
 что земля поката, —
 сядь
 на собственные ягодицы
 и катись!
 Нет,
 не навязжусь в меланхолишке черной,
 да и разговаривать не хочется
 ни с кем,
 только
 жабры рифм
 топырят учащенно
 у таких, как мы,
 на поэтическом песке.
 Вред — мечта,
 и бесполезно грезить,

надо
 весть
 служебную нуду.
 Но бывает —
 жизнь
 встает в другом разрезе,
 и большое
 понимаешь
 через ерунду.
 Нами
 лирика
 в штыхы
 неоднократно атакована,
 ищем речи
 точной
 и нагой.
 Но поэзия —
 пресволочнейшая штуковина:
 существует —
 и ни в зуб ногой.
 Например,
 вот это —
 говорится или блеется?
 Синемордое,
 в оранжевых усах,
 Навуходоносором
 библейцем —
 «Коопсах».
 Дайте нам стаканы!
 Знаю
 способ старый
 в горе
 дуть винище,
 но смотрите — из
 выплывают
 Red и White Star'ы
 с ворохом
 разнообразных втз.
 Мне приятно с вами, —
 рад,
 что вы у столика.
 Муза это
 ловко
 за язык вас тянет.

Как это
 у вас
 говаривала Ольга?..
 Да не Ольга!
 Из письма
 Онегина к Татьяне.
 — Дескать,
 муж у вас
 дурак
 и старый мерин,
 я люблю вас,
 будьте обязательно моя,
 я сейчас же
 утром должен быть уверен,
 что с вами днем увижусь я. —
 Было всякое:
 и под окном стояние,
 письма,
 тряски нервное желе.
 Вот
 когда
 и горевать не в состоянии —
 это,
 Александр Сергееч,
 много тяжелей.
 Айда, Маяковский!
 Маячь на юг!
 Сердце
 рифмами вымучь —
 вот
 и любви пришел каюк,
 дорогой Владим Владимыч.
 Нет,
 не старость этому имя!
 Тұшу
 вперед стремя,
 я с удовольствием
 справлюсь с двоими,
 а разозлить —
 и с тремя.
 Говорят —
 я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!
 Entre nous...
 чтоб цензор не нацикал.

Передать вам —
 говорят —
 видали
даже
 двух
 влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
 пустили сплетню,
 тешат душу ею.
Александр Сергееч,
 да не слушайте ж вы их!
Может,
 я
 один
 действительно жалею,
что сегодня
 нету вас в живых.
Мне
 при жизни
 с вами
 сговориться б надо.
Скоро
 вот
 и я
 умру
 и буду нем.
После смерти
 нам
 стоять почти что рядом:
вы на Пе,
 а я
 на эМ.
Кто меж нами?
 С кем велите знаться?!
Чересчур
 страна моя
 поэтами нища.
Между нами
 — вот беда —
 позатесался Надсон.
Мы попросим,
 чтоб его
 куда-нибудь
 на Ша!

А Некрасов
 Коля
 сын покойного Алеши —
 он и в карты,
 он и в стих,
 и так
 неплох на вид.
 Знаете его?
 Вот он
 мужик хороший.
 Этот
 нам компания —
 пускай стоит.
 Что ж о современниках?!
 Не просчитались бы
 за вас
 полсотни отдав.
 От зевоты
 скулы
 разворачивает аж!
 Дорогойченко,
 Герасимов
 Кириллов
 Родов —
 какой
 однаобразный пейзаж!
 Ну, Есенин,
 мужиковствующих свора.
 Смех!
 Коровою
 в перчатках лаечных.
 Раз слушаешь...
 но это ведь из хора!
 Балалаечник!
 Надо,
 чтоб поэт
 и в жизни был мастак.
 Мы крепки,
 как спирт в полтавском штофе.
 Ну, а что вот Безыменский?!
 Так...
 ничего...
 морковный кофе.

Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.

Этот может.
Хватка у него
моя.

Но ведь надо
заработать сколько!

Маленькая;
но семья.

Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.

Я бы
и агитки
вам доверить мог.

Раз бы показал:
вот так-то, мол,
и так-то...

Вы б смогли —
у вас
хороший слог.

Я дал бы вам
жирность
и сукна,

в рекламу б
выдал
гумских дам.

(Я даже
ямбом подсюсюкнул;
чтоб только
быть приятней вам.)

Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.

Ныгче
наши перья —
штык да зубья вил; —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»;

и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин;
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
— Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
А состязается —
с Державиным...
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянec.
Вы,
по-моему,
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
— А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года? —
Только этого Дантеса бы и видели.
Впрочем,
что ж болтанье!
Спиритизма вроде.
Так сказать,
невольник чести...
пулею сражен...
Их
и по сегодня
много ходит —

всяческих
охотников
до наших жен.
Хорошо у нас
в Стране Советов.
Можно жить,
работать можно дружно.
Только вот поэтов
к сожаленью, нету, —
впрочем, может,
это и не нужно.
Ну, пора:
рассвет
лучища выкалил.
Как бы милиционер
разыскивать не стал.
На Тверском бульваре
очень к вам привыкли.
Ну давайте
подсажу
на пьедестал.
Мне бы памятник при жизни
полагается по чину.
Заложил бы
динамиту
— ну-ка
дрызнь!
Ненавижу
всяческую мертвечину!
Обожаю
всяческую жизнь!
1924

ДОМОЙ

Уходите, мысли, во-свояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот
кто постоянно ясен, —
тот,
по-моему,
просто глуп.

Я в худшей каюте
 из всех кают —
 всю ночь надо мною
 ногами куют.
 Всю ночь,
 покой потолка возмутив,
 несется танец,
 стонет мотив:
 «Маркита,
 Маркита,
 Маркита моя,
 Зачем ты,
 Маркита,
 не любишь меня...»
 А зачем
 любить меня Марките?!
 У меня
 и франков даже нет.
 А Маркиту
 (толечко моргните!)
 за сто франков
 препроводят в кабинет.
 Небольшие деньги —
 поживи для шику —
 нет,
 интеллигент,
 взбивая грязь вихров,
 будешь всучивать ей
 швейную машинку,
 по стежкам
 строчащую
 шелка стихов.
 Пролетарии
 приходят к коммунизму
 низом —
 низом шахт,
 серпов
 и вил, —
 я ж
 с небес поэзии
 бросаюсь в коммунизм,
 потому что
 нет мне
 без него любви.

Все равно —
 сослался сам я
 или послан к маме —
слов ржавеет сталь,
 чернеет баса медь.
Почему
 под иностранными дождями
вымокать мне;
 гнить мне
 и ржаветь?
Вот лежу,
 уехавший за воды
ленью
 еле двигаю
 моей машины части.
Я себя
 советским чувствую
 ваводом,
вырабатывающим счастье.
Не хочу,
 чтоб меня, как цветочек с полян,
рвали
 после служебных тягот.
Я хочу,
 чтоб в дебатах
 потел Госплан,
мне давая
 задания на год.
Я хочу,
 чтоб над мыслью
 времени комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
 чтоб сверхставками спеца
получало
 любовищу сердце.
Я хочу,
 чтоб в конце работы
 завком
запирал мои губы
 замком.
Я хочу,
 чтоб к штыку
 приравняли перо.

С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов,
от Политбюро,
чтобы делал
доклады Сталин.
«Так, мол,
и так...
И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»
1925

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее
и мне не жалко слов.
От похвал
красней,
как флага нашего материйка,
хоть вы
и разъяюнайтед стетс
оф
Америка.
Как в церковь
идет
помешавшийся верующий,
как в скит
удаляется,
строг и прост, —
так я
в вечерней
сереющей мерещи
вхожу,
смиранный,
на Бруклинский мост.

развозит
с фабрики сахар лавочник,—
то
под мостом проходящие мачты
размером
не больше размеров булавочных.

Я горд
вот этой стальной милей,
живьем в ней мой виденья встали —
борьба за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый
гаек
и стали.

Если
придет окончание света —
планету хаос
разделает в лоск,
и только один останется
этот
над пылью гибели
вздыбленный мост,
то,
как из косточек
тоньше иголок,
тучнеют
в музеях стоящие
ящеры,
так
с этим мостом
столетий геолог
сумел
воссоздать бы
дни настоящие.

Он скажет:

— Вот эта

стальная лапа

соединила

моря и прерии;

отсюда

Европа

рвалась на Запад,

пустив

по ветру

индейские перья.

Напомнит

машину

ребро вот это —

сообразите,

хватит рук ли,

чтоб, став

стальной ногой

на Манггёттеп

и себе

за губу

притягивать Бруклин?

По проводам

электрической пряди —

я знаю —

эпоха

после пара —

здесь

люди

уже

орали по радио,

здесь

люди

уже

взлетели по аэро.

Здесь

жизнь

была одним — беззаботная,

другим —

голодный

протяжный вой.

Отсюда

безработные

в Гудзон
кидались
вниз головой.
И дальше
картина моя
без загвоздки
по струнам-канатам,
аж звездам к ногам.
Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам. —
Смотрю;
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо вливается клещ.
Бруклинский мост —
да...
Это вещи!
1925

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
хорошо
и что такое
плохо? —
У меня
секретов нет, —
слушайте, детишки, —
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал, —

Этот мальчик
 так хорош;
загляденье просто!
Если ты
 порвал подряд
книжицу
 и мячик,
октябрюта говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
 любит труд,
тычет
 в книжку
 пальчик;
про такого
 пишут тут:
он
 хороший мальчик.

От вороны
 карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
 просто трус.
Это
 очень плохо.

Этот,
 хоть и сам с вершок;
спорит
 с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
 хорошо,
в жизни
 пригодится.

Этот
 в грязь полез
 и рад,
что грязна рубаха.
Про такого
 говорят:
он плохой,
 неряха.

Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.

Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.

Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын —
свиненок.

Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать хорошо;
и не буду —
плохо».

1925

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ — ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я недаром вадрогнул.
Не загробный вадор.
В порт,
горящий,
как расплавленное лето,
разворачивался
и входил
товарищ «Теодор
Нетте».
Это — он.
Я узнаю его.
В блюдечках-очках спасательных кругов.

— Здравствуй, Нетте!
Как я рад; что ты живой
дымной жизнью труб,
канатов
и крюков.

Подойди сюда!
Тебе не мелко?
От Батума,
чай, котлами покипел...
Помнишь, Нетте —
в бытность человеком
ты пивал чан
со мною в дип-купе?
Медлил ты.
Захрапывали сони.

Глаз
кося
в печати сургуча,
напролет
болтал о Ромке Яковсоне
и смешно потел,
стихи уча.
Засыпал к утру.
Курок
аж палец свел...

Суньтесе —
кому охота!
Думал ли,
что через год всего
встречусь я
с тобою —
с пароходом.
За кормой лунища.
Ну и здорово!

Залегла,
просторы надвое порвав.
Будто навеки
за собой
из битвы корпдоровой
тянешь след героя,
светел и кровав.
В коммунизм из книжки
верят средне.

«Мало ли
 что можно
 в книжке намолоть!»
А такое —
 оживит внезапно «бредни»
и покажет
 коммунизма
 естество и плоть.
Мы живем,
 зажатые
 железной клятвой.
За нее —
 на крест,
 и пулею чешите:
это —
 чтобы в мире
 без Россий,
 без Латвий;
жить единым
 человечьим
 общезитьем.
В наших жилах —
 кровь, а не водица.
Мы идем
 сквозь револьверный лай
чтобы,
 умирая,
 воплотиться
в пароходы, в строчки
 и в другие долгие дела.
Мне бы жить и жить
 сквозь годы мчась.
Но в конце хочу —
 других желаний нету —
встретить я хочу
 мой смертный час
так,
 как встретил смерть
 товарищ Несте.

1926

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.
Нет, Есенин,
это
не насмешка, —
в горле
горе комом,
не смешок.
Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.
Прекратите,
бросьте!
Вы в своем уме ли?
Дать,
чтоб щеки
заливал
смертельный мел?
Вы ж
такое загибать умели,
что другой
на свете
не умел.
Почему,
зачем?
Недоумение смяло.
Критики бормочут:
— Этому вина
то да се,
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина. —

Дескать,
 заменить бы вам
 богему
 классом,
 класс влиял на вас,
 и было б не до драк.
 Ну, а класс-то
 жажду
 заливает квасом?
 Класс — он тоже
 выпить не дурак.
 Дескать,
 к вам приставить бы
 кого из напостов, —
 стали б
 содержанием
 премного одарённой:
 вы бы
 в день
 писали
 строку по сто,
 утомительно
 и длинно,
 как Доронин.
 А по-моему,
 осуществись
 такая бредь,
 на себя бы
 раньше наложили руки.
 Лучше уж
 от водки умереть,
 чем от скуки!
 Не откроют
 нам причин потери
 ни петля,
 ни ножик перочинный.
 Может, окажись
 чернила в «Англетере»,
 вены
 резать
 не было б причины.
 Подражатели обрадовались:
 бис!

Над собою
 чуть не взвои
 расправу учинил.
 Почему же
 увеличивать
 число самоубийств?
 Лучше
 увеличь
 изготовление чернил!
 Навсегда
 теперь
 язык
 в зубах затворится.
 Тяжело
 и неуместно
 разводить мистерии.
 У народа,
 у языкотворца,
 умер
 звонкий
 забулдыга подмастерье.
 И несут
 стихов заупокойный лом,
 с прошлых
 с похорон
 не переделавши почти,
 в холм
 тупые рифмы
 загонять колом, —
 разве так
 поэта
 надо бы почитать?
 Вам и памятник еще не слит, —
 где он,
 бронзы звон
 или гранита грань? —
 а к решеткам памяти
 уже понесли
 посвящений
 и воспоминаний дрянь.
 Ваше имя
 в платочки россоплено,
 ваше слово
 слюнявит Собинов,

и выводит
под березкой дохлой —
«Ни слова, о друг мой,
ни вздо-о-о-х-а».

Эх,
поговорить бы иначе
с этим самым
с Леонидом Лознгриным!
Встать бы здесь
гремящим скандалистом:
— Не позволю
мямлить стих
и мять!

Оглушить бы
их
трехпалым свистом
в бабушку
и в бога душу маты!
Чтобы разнеслась
бездарнейшая погань,
раздувая
темь
пиджачных парусов,
чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.

Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —
только попевать.

Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.

Это время
трудновато для пера:
но скажите,
вы,
калеки и калекши,

где,
 когда,
 какой великий выбирал
путь,
 чтобы протоптанней
 и легче?
Слово —
 полководец
 человечьей силы.
Марш!
 Чтоб время
 сзади
 ядрами рвалось.
К старым дням
 чтоб ветром
 относило
только путаницу волос.
Для веселья
 планета наша
 мало оборудована.
Надо
 вырвать
 радость
 у грядущих дней.
В этой жизни
 помереть не трудно.
Сделать жизнь
 значительно трудней.
1926

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
 Простите за беспокойство.
Спасибо...
 не тревожьтесь...
 я постою...
У меня к вам
 дело
 деликатного свойства:
о месте
 поэта
 в рабочем строю.

Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
честное слово,
поэту
в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
рифма —
бочка.
Бочка с динамитом.
Строчка —
фитиль.
Строка додымит,
взрывается строчка, —
и город
на воздух
строфой летит.
Где найдешь,
на какой тариф,
рифмы,
чтоб враз убивали, нацелясь?
Может,
пяток
небывалых рифм
только и остался
что в Венецуэло.
И тянет
меня
в холода и в зной.
Бросаюсь,
опутан в авансы и в займы я.
Гражданин,
учтите билет проездной!
— Поэзия
— вся! —
езда в неизвестном.
Поэзия —
та же добыча радия.
В грамм добыча,
в год труды.

Пуд,
 как говорится,
 соли столовой
 съешь
 и сотней папирос клуби,
 чтобы
 добыть
 драгоценное слово
 из артезианских
 людских глубин.
 И сразу
 ниже
 налога рост.
 Скиньте
 с обложенья
 нуля колесо!

Рубль
 девяносто
 сотня папирос,
 рубль шестьдесят
 столовая соль.
 В вашей анкете
 вопросов масса:
 — Были выезды?
 или выездов нет?

А что,
 если я
 десяток пегасов
 загнал
 за последние
 15 лет?!

У вас —
 в мое положение войдите —
 про слуг
 и имущество
 с этого угла.

А что,
 если я
 народа водитель
 и одновременно —
 народный слуга?

Класс
 гласит
 из слова из нашего,

а мы,
 пролетарии,
 двигатели пера.
 Машину
 души
 с годами изнашиваешь.
 Говорят:
 — в архив,
 исписался,
 пора! —
 Все меньше любитя,
 все меньше дерзается,
 и лоб мой
 время
 с разбега крушит.
 Приходит
 страшнейшая из амортизаций —
 амортизация
 сердца и души.
 И когда
 это солнце,
 разжиревшим боровом,
 взойдет
 над грядущим
 без нищих и калек, —
 я
 уже
 сгнию,
 умерший под забором,
 рядом
 с десятком
 моих коллег.
 Подведите
 мой
 посмертный баланс!
 Я утверждаю
 и — знаю — не налгу:
 на фоне
 сегодняшних
 дельцов и пролаз
 я буду
 — один! —
 в непролазном долгу.

Долг наш —
 реветь
 медногорлой сиреной
в тумане мечанья,
 у бурь в кипеньи.

Поэт
 всегда
 должник вселенной,
платящий
 на горе
 проценты
 и пеня.

Я
 в долгу
 перед Бродвейской лампионией,
перед вами,
 багдадские небеса,
перед Красной Армией,
 перед вишнею
 Японии —
перед всем,
 про что
 не успел написать.

А зачем
 вообще
 эта шапка Сне?
Чтобы — целься рифмой
 и ритмом ярьсь?

Слово поэта —
 ваше воскресенье,
ваше бессмертие,
 гражданин канцелярист.

Через столетья
 в бумажной раме
возьми строку
 и время верни!

И встанет
 день этот
 с фининспекторами,
с блеском чудес
 и с вонью чернил.

Сегодняшних дней убежденный житель,

выправьте
 в энкапез
 на бессмертье билет
 я, высчитав
 действие стихов,
 разложите
 заработок мой
 на триста лет.
 Но сила поэта
 не только в этом,
 что, вас
 вспоминая,
 в грядущем икнут.

Нет!
 И сегодня
 рифма поэта —
 ласка
 и лозунг,
 и штык,
 и кнут.

Гражданин фининспектор,
 я выплачу пять,
 все
 нули
 у цифры скрестя!

Я
 по праву
 требую пядь
 в ряду
 беднейших
 рабочих и крестьян.

А если
 вам кажется,
 что всего делов —
 это пользоваться
 чужими словесами,
 то вот вам,
 товарищи,
 мое стилё,
 и можете
 писать
 сами!

1926

— Все вы,
бабы,
трясогузки и каналы...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
приплите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и бровя!.. —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.
1936

Х О Р О Ш О !

(Из поэмы)

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами,
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызменз.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы..
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.

дошли,
 штыком домерцав,
как будто
 руки
 сошлись на герле,
холеном
 горле
 дворца.
Две тени встали, Огromных и шатких.

Сдвинулись.
 Лоб о лоб.

И двор
 дворцовый
 руками решетки
стиснул
 торс
 толп.

Качались
 две
 огромных тени
от ветра
 и пуль скоростей, —
да пулеметы,
 будто
 хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
«В политику...

 начали...
 баловаться...

Куда
 против нас
 бочкаревским дурам?!
Приказывали б
 на штурм».

Но тени
 боролись,
 спутав лапы, —
и лап
 никто
 не разнимал и не рвал.

Не выдержав
 молчания,
 сдавался слабый —
уходил
 от испуга,
 от нерва.
Первым,
 боязнию одолен,
снялся
 бабий батальон.
Ушли с батарей
 к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
— А Керенский —
 спрятался,
 попробуй
 вымань его!
Задумывалась
 казачья башка.
И
 редели
 защитники Зимнего,
как зубья
 у гребешка.
И долго
 длилось
 это молчанье,
молчанье надежд
 и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
 в мягких мебелиях
с бронзовыми выкрутами,
сидят
 министры в меди блях,
и пахнет
 гладко выбритыми.
На них не глядят
 и их не слушают —
они
 у штыков в лесу.
Они
 упадут
 переспевшей грушею,

как только
их потрясут.
Голос — редок.
Шопотом,
знаками.
— Керенский где-то? —
Он?
За казаками. —
И снова молча.
И только
под вечер:
— Где Прокопович?
— Нет Прокоповича. —
А из-за Николаевского
чуждого моста,
как смерть,
глядит
неласковая
Аврорных
башен
сталь.
И вот,
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху —
город
как будто взорван —

бабахнула
 шестидюймовка Авророва.
И вот
 еще
 не успела она
рассыпаться,
 гулка и грозна —
над Петропавловкой
 взвился
 фонарь,
восстанья
 условный знак.
— Долой!
 На приступ!
 Вперед!
 На приступ! —
Ворвались.
 На ковры!
 Под раззолоченный
 кров!
Каждой лестницы
 каждый выступ
брали,
 перешагивая
 через юнкеров.
Как будто
 водою
 комнаты полня,
текли,
 сливались
 над каждой потерей,
и схватки
 вспыхивали
 жарче полдня
за каждым диваном,
 у каждой портьеры.
По этой
 анфиладе,
 приветствиями бранной
монархам,
 несущим
 короны-клады, —
бархатными залами,
 раскатистыми коридорами

гремели,
 бились
 сапоги и приклады.
 Какой-то
 смущенный
 сукин сын,
 а над ним
 путиловец —
 нежней напаши!
 «Ты,
 паркишка,
 выкладывай
 ворованные часы —
 часы
 теперича
 наши!»
 Топот рос,
 и тех
 тринадцать
 сгреб,
 забил,
 зашиб,
 затыркал.
 Забились,
 под галстук —
 за что им приняться?
 Как будто
 топор
 навис над затылком.
 За двести шагов...
 за тридцать...
 за двадцать...
 Вбегает
 юнкер:
 «Драться глупо!»
 Тринадцать визгов:
 — Сдаваться!
 Сдаваться! —
 А в двери —
 бушлаты,
 шинели,
 тулупы...

И в эту
 тишину,
 раскатившийся всласть
 бас,
 окрепший
 над реями рея:
 «Которые тут временные?
 Слазы
 Кончилось ваше время»...
 А в Смольном
 толпа,
 растопырив груди,
 покрывала
 песней
 фейерверк сведений.
 Впервые
 вместо:
 — и это будет... —
 пели:
 — и это есть
 наш последний... —
 До рассвета
 осталось
 не больше аршина,
 руки
 лучей
 с востока взмолены.
 Товарищ Подвойский
 сел в машину,
 сказал устало:
 «Кончено...
 в Смольный».

Умолк пулемет,
 угодил толков.
 Умолкнул
 пуль
 звонящий улей.

Горели,
 как звезды,
 границы штыков,
 бледнели
 звезды небес
 в карауле.

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами.

Рельсы
по мосту вымелив,
гонку
свою
продолжали трамы,
уже —
при социализме...

Двенадцать
квадратных аршин жилья.

Четверо
в помещении —

Лиля,
Ося,
я

и собака
Щеник.

Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.

— Куда идешь?
— В уборную
иду.

На Ярославский.

Как парус,
шуба
на весу,

воняет
козлом она.

В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный.

Полено —
тушью,

тверже камня.

Как будто
вспухшее

колено
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,
вымок.
Важно
и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши, —
это
тянется угар
из-под черных выюшек.
Четверо сосулек
свернулись, уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб
глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,

морем
 заката
 облит.
По розовой
 глади
 моря на юг —

тучи-корабли.
За гладь,
 за розовую,
бросать якоря,
туда,
 где березовые
дрова
 горят.

Я
 много
 в теплых странах плутал.
Но только
 в этой зиме
понятной
 стала
 мне
 теплота
любовей,
 дружб
 и семей.

Лишь лежа
 в такую вот гололедь,
зубами
 вместе
 проляскав —
поймешь:
 нельзя
 на людей жалеть
ни одеяло,
 ни ласку.
Землю,
 где воздух,
 как сладкий море,
бросить
 и мчигь, колеся, —
по землю,
 с которою
 вместе мерз,

вовек
разлюбить нельзя...

Хвалить
не заставят
ни долъ,
ни стих

всего,
что делаем мы.

Я
пол-отечества мог бы
снести,

а пол —
отстроить, умыв.

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть

в сплошной
лихорадке
буден.

Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.

Я
планов наших
люблю громадѣ;

размаха
шаги саженьи.

Я радуюсь
маршу,
которым идем

в работу
и в сраженья.

Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая, —
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны дома прорастают.

И меркнет
 доверье
 к природным дарам,
с унылым
 пудом сенца,
и поворачиваются
 к тракторам
крестьян
 заскорузлые сердца.
И планы,
 что раньше
 на станциях лбов
задерживал
 нищенства тормоз,
сегодня
 встают
 на дня голубого,
железом
 и камнем формясь.
И я,
 как весну человечества,
рожденную
 в трудах и в бою,
пою
 мое отчество,
республику мою!..

Я
 земной шар
чуть не весь
 обошел, —
и жизнь
 хороша,
и жить
 хорошо.
А в нашей буче,
 боевой, кипучей, —
и того лучше.
Вьется
 улица-змея.
Дома
 вдоль змеи.

мои
депутаты.
В красное здание
на заседание.
Сидите,
не советите
в моем
Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Жевлом
правит,
чтоб вправо
шел.
Пойду
направо.
Очень хорошо.
Надо мною
небо —
синий
шелк.
Никогда
не было
так
хорошо!
Тучи-
кочки
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал
словно дерево я.
Всыпят,
как пойдут в бой,
по число
по первое.
В газету
глаза:
— Молодцы — вёнцы!

Буржуйм
 под зад
нападают коленцем.
Суд
 жгут.
Зер
 гут!
Идет
 пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
 дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
 передовица
угроз паршой.
Чтоб им подавиться!
Грозят?
 Хорошо.
Полки
 идут
у меня на виду.
Барабану
 в бока
бьют
 войска.
Пога
 крепка,
голова
 высока.
Пушки
 возятся, —
идут
 краснозвёзды.
Приспособил
 к маршу
такт ноги:
вра-
 ги
 ва-
 щи —

мо-
 и
 вра-
 ги.
 Лезут?
 Хорошо.
 Сотрем
 в порошок.
 Дымовой
 дых
 тяг.
 Воздуха береги.
 Пых-дых,
 пых-
 тят
 мои фабрики.
 Пыши,
 машина,
 шибче-ка,
 вовек чтоб
 не смолкла, —
 побольше
 ситчика
 моим
 комсомолкам.
 Ветер
 подул
 в соседнем саду.
 В ду-
 хах
 про-
 шел.
 Как хо-
 рошо!
 За городом —
 поле.
 В полях —
 деревеньки.
 В деревнях —
 крестьяне.
 Бороды —
 веники.
 Сидят
 папаши.

Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр
работа любá.
Сеют,
пекут
мне
хлебá.
Доят,
пашут,
ловят рыбицу.
Республика наша
строится,
дыбится.
Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
Нашей бодрости.

Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

1927

РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА
О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Я пролетарий.
Объясняться лишне.

Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный,

мой
рабочий
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.

Все хорошо,
но больше всего
мне
понравилось —

это:

это —
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,
это —
да что говорить об этом,
это —
ванная.

Вода в кране —
холодная крайне.

Кран
другой
не тронешь рукой.

Можешь
холодной
горячей —
На кране
одном
написано:
«Хол.»,
на кране другом —
«Гор.».
Придешь усталый,
вешаться хочется.
Ни щи не радуют,
ни чая klokотание.
А чайкой поплещешься —
и мертвый расхохочется
от этого
плещущего щекотания.
Как будто
пришел
к социализму в гости,
от удовольствия —
захватывает дых.
Брюки на крюк,
блузу на гвоздик,
мыло в руку
и...
бултых!
Сядешь
и моешься
долго, долго.
Словом,
сидишь,
пока охота.
Просто
в комнате
лето и Волга, —
только что нету
рыб и пароходов.
Хоть грязь
на тебе
десятилетнего стажа,

с тебя
 корою с дерева,
 чуть не лыком,
 сходит сажа, —
 смывается, стерва.
 И уж распаришься,
 разжаришься уж!
 Тут —
 вертай ручки:
 и каплет
 прохладный
 дождик-душ
 из дырчатой
 железной тучки.
 Ну ж и ласковость в этом душе!
 Тебя
 никакой
 не возьмет упадок:
 погладит волосы,
 потреплет уши
 и течет
 по жолобу
 промежду лопаток.
 Воду
 стираешь
 с мокрого тельца
 полотенцем,
 как вверх, мохнатым.
 Чтобы суше пяткам —
 пол
 стелется,
 извиняюсь за выражение,
 пробковым матом.
 Себя разглядевши
 в зеркало вправленное,
 в рубаху
 в чистую
 влазь.
 Влажу и думаю:
 — Очень правильная
 эта
 наша
 советская власть.

1928

КЕМ БЫТЬ?

У меня растут года —
будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала

мы

берем бревно
и пилим доски,
длинные и плоские.
Эти доски

вот так

важимает

стол-верстак.

От работы

пила

раскалилась добела.

Рубанок

в руки —

работа другая:

сучки, закорюки

рубанком стругаем.

Хороши стружки,

желтые игрушки!

А если

нужен шар нам

круглый очень,

на станке токарном

круглое точим.

Готовим понемножку

то ящик,

то ножку.

Сделали вот столько

стульев и столиков!

Столяру — хорошо,

а инженеру —

лучше.

Я бы строить дом пошел —

пусть меня научат.

Я
 сначала
 начерчу
дом
 такой,
 какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
славное,
живое словно.
Это будет
 перёд —
называется фасад.
Это каждый разберет:
это — ванна,
 это — сад.

План готов,
 и вокруг
сто работ
 на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.
Где трудна работка,
там визжит лебедка,
подымает балки,
будто палки,
перетащит кирпичи,
закаленные в печи.
По крыше выложили жёсть —
и дом готов,
 и крыша есть.

Хороший дом,
 большуший дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно и просторно.

Инженеру хорошо,
а доктору —
 лучше.

Я б детей лечить пошел —
пусть меня научат.

Детям

я лечу болезни, —
где занятие полезней?

Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.

«Здравствуйте, дети!

Кто у вас болен?

Как живете?

Как животик?»

Погляжу

из очков

кончики язычков.

«Поставьте этот градусник
подмышку, детишки!»

И ставят дети радостно
градусник подмышки.

«Вам бы

очень хорошо

проглотить порошок

и микстуру

ложечкой

пить понемножечку...

Вам

в постельку лечь поспать бы...

Вам —

компрессик на живот,

и тогда

у вас

до свадьбы

всё, конечно, заживёт».

Докторам хорошо,

а рабочим —

лучше.

Я б в рабочие пошел —

пусть меня научат.

Вставай!

Иди!

Гудок зовет —

и мы приходим на завод.

Народа — рота целая,

сто или двести.

Чего один не сделает —

сделаем вместе.

Можем
железо
пожницами резать,
краном висящим
тяжести тащим,
молот паровой
гнет и рельсы травой.
Олово плавим,
машинами правим.
Работа всякого
нужна одинаково.
Я гайки делаю,
а ты —
для гайки
делаешь винты.
И идет
работа всех
прямо в сборочный цех.
Болты,
лезьте
в дыры ровные,
части
вместе
сбей
огромные.
Там
дым,
здесь
гром.
Гро-
мим
весь
дом.
И вот
вылазит паровоз,
чтоб вас
и нас
и нес
и вез.
На заводе хорошо,
а в трамвае —
лучше.
Я б кондуктором пошел —
пусть меня научат.

Кондукторам

езда везде —
с большою сумкой кожаной
ему всегда,

ему весь день
в трамваях ездить можно.
«Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые,
зеленые, красные
и голубые!»
Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы —
садись

и грейся.

Кондуктору хорошо,
а шоферу —

лучше.

Я б шофером пошел —
пусть меня научат.

Фырчит машина скорая,
летит, скользя.

Хороший шофер я —
сдержан не буду.

Только скажите
— вам куда надо? —
Без рельсы жителей
доставлю на дом.

Е-
дем,

ду-
дим:

«С пу-
ти

уй-
ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —

лучше.

Я бы в летчики пошел —
пусть меня научат.

Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
чтоб взамен низин
рядом
птицы пели».
Бояться не надо
ни дождя,
ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря,
без разговору
пролетаю гору.
«Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем удалены».
Летчику хорошо,
а матросу
лучше.
Я б в матросы пошел —
пусть меня научат.
У меня на шапке лента,
на матроске —
якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете, —
на зависть циркачу,
на реях и по мачте
гуляю, как хочу.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная, —
открою
полюс
Южный,
а Северный —
наверное.

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай

на вкус!

1929

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.
К любым
чертям с матерями катись
любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту
купе
и кают
чиновник
учтивый
движется.
Сдают паспорта,
и я
сдаю
мою
пурпурную книжицу.
К одним паспортам —
улыбка у рта.
К другим
отношение плёвое.
С почтеньем
берут, например,
паспорта
с двухспальным
английским лёвою.
Глазами
доброего дядю выев,
не переставая
кланяться,

берут,
 как будто берут чаевые,
 паспорт
 американца.
 На польский
 глядят,
 как в афишу коза.
 На польский —
 выпяливают глаза
 в тугой
 полицейской слоновости —
 откуда, мол,
 и что это за
 географические новости.
 И не повернув
 головы кочап
 и чувств
 никаких
 не изведав,
 берут,
 не моргнув,
 паспорта датчан
 и разных
 прочих
 шведов.
 И вдруг,
 как будто
 ожогом,
 рот
 скривило
 господину.
 Это
 господин чиновник
 берет
 мою
 краснокожую паспортину.
 Берет —
 как бомбу,
 берет —
 как ежа,
 как бритву
 обоюдоострую,

берет,
 как гремучую
 в 20 жал
 вмею
 двухметроворостую.
 Моргнул
 многозначуще
 глаз носильщика,
 хоть вещи
 снесет задаром вам.
 Жандарм
 вопросительно
 смотрит на сыщика,
 сыщик —
 на жандарма.
 С каким наслаждением
 жандармской кастой
 я был бы
 псхлестан и распят
 за то,
 что в руках у меня
 молоткастый,
 серпастый
 советский паспорт.
 Я волком бы
 выгрыз
 бюрократам.
 К мандатам
 почтения нету.
 К любым
 чертям с матерями
 катись
 любая бумажка.
 Но эту...
 Я достаю
 из широких штанин
 дубликатом
 бесценного груза.
 Читайте,
 завидуйте,
 я —
 гражданин
 Советского Союза.

1929

ЛЮБИТЕЛИ ЗАТРУДНЕНИЙ

Он любит шептаться,
хитер да тих,
во всех
городах и селеньицах:
«Тс-с, господа,
я знаю —
у них
какие-то затрудненьища».
В газету
хихикает,
над цифрой трунив:
«Переборщили,
замашинив денежки.
Тс-с, господа,
порадуйтесь —
у них
какие-то
такие затрудненьишки».
Усы
закручивает,
весел и лих:
«У них
заухудшился день еще.
Тс-с, господа,
подождем —
у них
теперь
огромные затрудненьища».
Собрав
шептунов,
врунов
и вруних,
переговаривается
орава:
«Тс-с-с, господа, говорят,
у них
затруднения.
Замечательно!
Браво!»
Затруднения одолеешь,
сбавляет тон,

переходит
 от веселия
 к грусти.
 На перспективах
 живо
 наживается он —
 он
 своего не упустит.
 Своего не упустит он,
 но зато
 у другого
 выгрызет лишек,
 не упустит
 установиться
 в сто задов
 любой
 из очередишек.
 И вылезем лишь
 из грязи
 и тьмы, —
 он первый
 придет, нахален,
 а, выпитив грудь,
 раззаявит:
 «Мы
 аж на тракторах
 пахали».
 Республика
 одолеет
 хозяйства несчастья,
 догонит
 наган
 врага.
 Счищай
 с путей
 завшивевших в мещанстве,
 путающихся
 у нас
 в ногах!

1930

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Первое вступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем дерьме,
паших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш учепый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипячедой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я вам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —
бабы капризной.
Засаживала садик мило
дочка,
дача,
водь
и гладь.
«Сама садик я сажала,
сама буду поливать».
Кто стихами льет из лейки,
кто кропит,
набравши в рот, —

и через головы
 поэтов и правительств.
 Мой стих дойдет,
 по он дойдет не так, —
 не как стрела
 в амурно-лировой охоте,
 не как доходит
 к нумизмату стершийся пятак
 и не как свет умерших звезд доходит.
 Мой стих
 трудом
 громаду лет прорвет
 и явится
 весомо,
 грубо,
 зримо,
 как в наши дни
 вошел водопровод,
 сработанный
 еще рабами Рима.
 В курганах книг,
 похоронивших стих,
 железки строк случайно обнаруживая,
 вы
 с уважением
 ощупывайте их,
 как старое,
 но грозное оружие.
 Я
 ухо
 словом
 не привык ласкать;
 ушку девическому
 в завиточках-волосках
 с полупохабщины
 не разалеться тронуту.
 Парадом развернув
 моих страниц войска,
 я прохожу
 по строчечному фронту.
 Стихи стоят
 свинцово-тяжело,

готовые и к смерти
и к бессмертной славе.
Поэмы замерли,
к жерлу прижав жерло
нацеленных
вияющих заглавий.
Оружия
любимейшего род,
готовая
рвануться в гике,
застыла
кавалерия острот,
поднявши рифм
отточенные пики.
И все
поверх зубов вооруженные войска,
что двадцать лет в победах
пролетали,
до самого
последнего листка
я отдаю тебе,
планеты пролетарий.
Рабочего
громады класса враг —
он враг и мой,
отъявленный и давний.
Велели нам
итти
под красный флаг
года труда
и дни недоеданий.
Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком итти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.

С хвостом годов
я становлюсь подобием
чудовищ
ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
давай
быстрее протопаем,
протопаем
по пятилетке
дней остаток.
Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.
Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжиг,
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

1930

Александр БЛОК



ДВЕНАДЦАТЬ

1

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете.

Завивает ветер
Белый снежок.
Под снежком — ледок.
Скользко, тяжело,
Всякий ходок
Скользит — ах, бедняжка!

От здания к зданию
Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...

Старушка, как курица,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница!
— Ох, большевики загонят в гроб!

Ветер хлесткий!
Не отстает и мороз!
И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос.

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса:
— Предатели!
— Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития...

А вот и долгополый —
Сторонкой — за сугроб...
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?

Помнишь, как, бывало,
Брюхом шел вперед,
И крестом сияло
Брюхо на народ?

Вот барыня в каракуле
К другой подвернулась:
— Уж мы плакали, плакали...
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

Ай, ай!
Тяни, подымай!

Ветер веселый
И зол, и рад.
Крутит подола,
Прохожих косит,
Рвет, мнет и носит
Большой плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию»...
И слова доносит:

...И у нас было собрание...
...Вот в этом здании...
...Обсудили —
Постановили:
На время — десять, на ночь — двадцать пять...
...И меньше — ни с кого не брать...
...Пойдем спать...

Поздний вечер.
Пустеет улица.

Один бродяга
Сутулится,
Да свищет ветер...

Эй, бедняга!
Подходи —
Поцелуемся...

Хлеба!
Что впереди?
Проходи!

Черное, черное небо.
Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...
Товарищ! Гляди
В оба!

2

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...

В зубах — цыгарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!

Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!
— А Ванька с Катькой — в кабаке...
— У ей керёнки есть в чулке!
— Ванюшка сам теперь богат...
— Был Ванька наш, а стал солдат!
— Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою, попробуй, поцелуй!

Свобода, свобода
Эх, эх, без креста!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?..
Тра-та-та!

Кругом — огни, огни, огни...
Оплечь — ружейные ремни...

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Товарищ, винтовку держи, не трусы!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондовую,
В пазьяную,
В толстозадую!

Эх, эх, без креста!

3

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!

Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

4

Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катюкою летит —
Електрический фонарик
На оглобелях...
Ах, ах, пади!..

Он в шинелишке солдатской
С физиономией дурацкой
Крутит, крутит черный ус,
Да покручивает,
Да пошучивает...

Вот так Ванька — он плечист!
Вот так Ванька — он речист!
Катьку-дуру обнимает,
Заговаривает...

Запрокинулась лицом,
Зубки блещут жемчугом...
Ах, ты, Катя, моя Катя
Толстоморденькая...

5

У тебя на шее, Катя,
Шрам не зажил от ножа.
У тебя под грудью, Катя,
Та царапина свежа!

Эх, эх, попляши!
Больно ножки хороши!

В кружевном белье ходила, —
Походи-ка, походи! —
С офицерами блудила —
Поблуди-ка, поблуди!

Эх, эх, поблуди!
Сердце ёкнуло в груди!

Помнишь, Катя, офицера —
Не ушел он от ножа...
Аль не вспомнила, холера?
Али память не свежа?

Эх, эх, освежи,
Спать с собою положи!

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила —
С солдатьем теперь пошла?

Эх, эх, согреси!
Будет легче для души!

...Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет лихач...

Стой, стой! Андрюха, помогай!
Петруха, сзади забегай!..

Трах-тарарах-тах-тах-тах-тах!
Вскрутился к небу снежный прах!..

Лихач — и с Ванькой — наутек...
Еще разок! Вводи курок!..

Трах-тарарах! Ты будешь знать,
Как с девочкой чужой гулять!..

Утек, подлец! Ужо, постой,
Расправлюсь завтра я с тобой!

А Катька где? — Мертва, мертва!
Простреленная голова!

Что, Катька, рада? — Ни гу-гу...
Лежи ты, падаль, на снегу!..

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!.

И опять идут двенадцать,
За плечами — ружьеца.
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица...

Всё быстрее и быстрее
Уторапливает шаг.
Замотал платок на шее —
Не оправиться никак...

— Что, товарищ, ты не весел?
— Что, дружок, оторопел?

— Что, Петруха, нос повесил,
Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил...
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил...

— Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча... ах!

— Ишь, стервец, завел шарманку,
Что ты, Петька, баба, что ль?

— Верно, душу наизнанку
Вадумал вывернуть? Изволь!

— Поддержи свою осанку!

— Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,
Чтобы нянчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

И Петруха замедляет
Торопливые шаги...

Он головку вскидывает,
Он опять повеселел...

Эх, эх!

Позабавиться не грех!

Запирайте этажи,
Нынче будут грабски!

Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

8

Ох, ты горе-горькое!
Скука скучная,
Смертная!

Ужь я времячко
Проведу, проведу...

Ужь я темячко
Почешу, почешу...

Ужь я семячки
Полущу, полущу...

Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

Ты лети, буржуй, воробышком!
Выпью кровушку
За аазнобушку,
Чернобровушку...

Упокой, господи, душу рабы твоея...
Скучно!

9

Не слышно шуму городского,
Пад невской башней тишина,
И больше нет городского —
Гуляй, ребята, без вина!

Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жметесь шерстью жесткой
Поджавший хвост паршивый пес.

Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.

10

Разыгралась чтой-то вьюга,
Ой, вьюга, ой, вьюга!

Не видать совсем друг друга
За четыре за лага!

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

— Ох, пурга какая, спасе!
— Петька! Эй, не завирайся!
От чего тебя упас
Золотой иконостас?
Бессознательный ты, право,
Рассуди, подумай здраво —
Али руки не в крови
Из-за Катькиной любви?
— Шаг держи революционный!
Близок враг неугомонный!
Вперед, вперед, вперед,
Рабочий народ!

11

...И идут без имени святого
Все двенадцать — вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

Их винтовочки стальные
На незримого врага...
В переулочки глухие,
Где одна пылит пурга...
Да в сугробы пуховые —
Не утянешь сапога...

В очи бьется
Красный флаг.
Раздается
Мерный шаг.

Вот — проснется
Лютый враг...

И вьюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

...Вдаль идут державным шагом...
 — Кто еще там? выходи!
 Это — ветер с красным флагом
 Разыгрался впереди...

Впереди — сугроб холодный,
 — Кто в сугробе — выходи!..
 Только нищий пес голодный
 Ковыляет позади...

— Отвяжись ты, шелудивый,
 Я штыком пощечочу!
 Старый мир, как пес паршивый,
 Провалился — поколочу!

...Скалит зубы — волк голодный —
 Хвост поджал — не отстает —
 Пес холодный — пес безродный...
 — Эй, откликнись, кто идет?

— Кто там машет красным флагом?
 — Приглядишься-ка, эка тьма!
 — Кто там ходит беглым шагом,
 Хоронясь за все дома?

— Всё равно, тебя добуду,
 Лучше сдайся мне живьем!
 — Эй, товарищ, будет худо,
 Выходи, стрелять начнем!

Трах-тах-тах! — И только эхо
 Откликается в домах...
 Только выюга долгим смехом
 Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
 Трах-тах-тах!..

...Так идут державным шагом —
 Позади — голодный пес,
 Впереди — с кровавым флагом,
 И за выюгой невидим,
 И от пули неведим,

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

1918

СКИФЫ

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Владимир Соловьев

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас —
Монголов и Европы!

Века, века ваш старый горн ковал
И заглушал грома лавины,
И дикой сказкой был для вас прсвал
И Лиссабона, и Мессины!

Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!

Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
И каждый день обиды множит,
И день придет — не будет и следа
От ваших Пестумов, быть может!

О старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!..

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,

Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет, и губит!

Мы любим всё — и жар холодных числ —
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый галльский смысл
И сумрачный германский гений...

Мы помним всё — парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кёльна дымные громады...

Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?

Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы,
И умирять рабынь строптивых...

Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятия!
Пока не поздно — старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем — братья!

А если нет, — нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века — вас будет проклинять
Больное позднее потомство!

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Но сами мы — отныне — вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!

Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
В карманах трупов будет шарить,
Жечь города, и в церковь гнать табун,
И мясо белых братьев жарить!..

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз — на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

1918

ПУШКИНСКОМУ ДОМУ

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!

Это — звоны ледохода
На торжественной реке,
Перекличка парохода
С пароходом вдалеке.

Это — древний Сфинкс, глядящий
Вслед медлительной волне,
Всадник бронзовый, летящий
На недвижимом скакуне.

Наши страстные печали
Над таинственной Невой,
Как мы черный день встречали
Белой ночью огневой.

Что за пламенные дали
Открывала нам река!
Но не эти дни мы звали,
А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих
Кратковременный обман,
Прозревали дней грядущих
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

1921

Валерий БРЮСОВ



МИРОВАЯ ВОЙНА XX ВЕКА

Не заглушить стремленья к высшей сфере
И буре той, что днесь шумит кругом!
Пусть вновь все люди — злобный враг с врагом,
Пусть в новых душах вновь воскресли звери.

На суше, в море, в вольной атмосфере,
Везде — война, кровь, выстрелы и гром...
Рок ныне судит неземным судом
Позор республик лживых и империй!

Сквозь эту бурю истина пройдет,
Народ свободу полно обретет
И сам найдет пути к мечте столетий!

Пройдут бессильно ужасы и эти!
И Мысль взлетит размахом мощных крыл
Над буйным хаосом стихийных сил!

1918



РОССИИ

В стозарном зареве пожара,
Под ярый вопль вражды всемирной,
В дыму неукротенных бурь, —
Твой облик реет властной чарой:
Венец рубинный и сапфирный
Превыше туч пронзил лазури!

Россия! в злые дни Батыя,
Кто, кто монгольскому потоку

Возвел плотину, как не ты?
Чья, в напряженной воле, выя,
За плату рабств, спасла Европу
От чингисхановой пяты?

Но из глухих глубин позора,
Из тьмы бессменных унижений,
Вдруг, ярким выкриком костра, —
Не ты ль, с палящей сталью взора,
Взнеслась к державности велений
В дни революции Петра?

И вновь, в час мировой расплаты,
Дыша сквозь пушечные дула,
Огня твоя хлебнула грудь, —
Всех впереди, страна-вожатый,
Над мраком факел ты взметнула,
Народам озаряя путь.

Что ж нам пред этой страшной силой?
Где ты, кто смеет прекословить?
Где ты, кто может ведать страх?
Нам — лишь вершить, что ты решила,
Нам — быть с тобой, нам — славословить
Твое величие в веках!

1979

НАМ ПРОБА

Крестят нас огненной купелью,
Нам проба — голод, холод, тьма,
Жизнь вокруг свистит ледяной метелью,
День к дню — жмет горло, как тесьма.

Что ж! Ставка — мир, вселенной судьбы!
Наш век с веками в бой вступил.
Тот враг, кто скажет: «Отдохнуть бы!»
Лжец, кто, дрожа, вздохнет: «Нет сил!»

Кто слаб, в работе грозной гибни!
В прах, в кровь топчи любовь свою!
Чем крепче ветер, тем многозыбней
Понт в пристань пронесет ладью.

В час бури ропот — вопль измены,
Где смерч, там ядра кажут путь.
Стань как гранит, влей пламя в вены,
Вдвинь сталь пружин, как сердце в груди!

Строг выбор: строй, рази — иль падай!
Нам нужен — воин, кормчий, страж.
В ком жажда нег, тех нам не надо,
Кто дремлет, медлит, тот не наш!

Гордись, хоть миги жгли б, как плети,
Будь рад, хоть в снах ты изнемог,
Что, в свете молний, мир столетий
Иных ты, смертный, видеть мог!

1919

ТОЛЬКО РУССКИЙ

Только русский, знавший с детства
Тяжесть вечной духоты,
С жутью взявший, как наследство,
Дедов страстные мечты;

Тот, кто выпил полной чашей
Нашей прошлой правды муть, —
Без притворства может к нашей
Новой вольности примкнуть.

Мы пугаем. Да, мы — дики,
Тесан грубо наш народ:
Ведь века над ним владыки
Простирали тяжкий гнет,

Но когда в толпе шумливой
Слышишь брань и буйный крик, —
Вникни думой терпеливой
В новый, пламенный язык.

Ты расслышишь в нем, что прежде
Не звучало нам вовек:
В нем теперь — простор надежде,
В нем — свободный человек!

Чьи-то цепи где-то пали,
Что-то взято навсегда,
Люди новые восстали
Здесь, в республике труда.

Полюби ж в толпе вседневной
Шум ее, и гул, и гам,
Даже грубый, даже гневный,
Даже с бранью пополам!

1919

✓ ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА

Есть месяцы, отмеченные Роком
В календаре столетий. Кто сотрет
На мировых скрижалях иды марта,
Когда последний римский вольнолюбец
Тирану в грудь направил свой клинок?
Как позабыть, в холодно-мглистом полдне,
Строй дерзких, град картечи, все, что слито
С глухим четырнадцатым декабря?
Как знамена, кровавым блеском реют
Над морем Революции Великой
Двадцатое июня, и десятый
День августа, и скорбный день брюмера.
Та ж Франция явила два пыланья —
Февральской и июльской новизны.
Но выше всех над датами святыми,
Над декабрем, чем светел пятый год,
Над февралем семнадцатого года,
Сверкаешь ты, слепительный октябрь,
Преобразивший сумрачную осень
В ликующую силами весну,
Зажегший новый день над дряхлой жизнью
И, заревом немеркнувшим, победно
Нам озаривший правый путь в веках!

1920

* * *

Я вырастал в глухое время,
Когда весь мир был глух и тих,
И людям жить казалось в бремя,
А слуху был ненужен стих.

Но смутно слышались мне в безднах
Невнятный гул, далекий гром,
И топоты копыт железных,
И льдов тысячелетних валом.

И я гадал: мне суждено ли
Увидеть новую лазурь,
Дохнуть однажды ветром воли
И грохотом весенних бурь.

Шли дни, ряды десятилетий.
Я наблюдал, как падал плен.
И вот предстали в рдяном свете,
Горя, Цусима и Мукден.

Год пятый прошумел, далекий,
Свободе открывая даль.
И после гроз войны жестокой
Был Октябрем сменен Февраль.

Мне видеть не дано, быть может,
Конца, чуть блещущий вдали,
Но счастлив я, что был мной прожит
Торжественнейший день земли.

1920

ПАРКИ В МОСКВЕ

Ты постиг ли, ты почувствовал ли,
Что, как звезды на заре,
Парки древние присутствовали
В день крестильный, в Октябре?

Нити длинные, свивавшиеся
От Ивана Калиты,
В тьме столетий затерявшиеся,
Были в узел завиты.

И, когда в Москве трагические
Залпы радовали слух,
Были жутки в ней — классические
Силуэты трех старух.

То народными пирожницами,
То крестьянками в лаптях,
Пробегали всюду — с ножницами
В дряхлых, скорченных руках.

Их толкали, грубо стискивали,
Им пришлось и брань испить,
Но они в толпе выскивали
Всей народной жизни нить.

И на площади, — мне сказывали, —
Там, где Кремль стоял, как цель,
Нить разрезав, цепко связывали
К пряже — свежую кудель;

Чтоб страна, борьбой измученная,
Встать могла, бодра, легка,
И тянулась нить, рассученная
Вновь на долгие века!

1920

ЛЕНИН

Кто был он? — Вождь, земной Вожатый
Народных воль, кем изменен
Путь человечества, кем сжаты
В один поток волны времен.

Октябрь лег в жизни новой эрой,
Властей века разгородил,
Чем все эпохи, чем все меры,
Чем Ренессанс и дни Атилл,

Мир прежний сякнет, слаб и тленен;
Мир новый, — общий океан, —
Растет из бурь октябрьских: Ленин
На рубеже, как великан.

Земля! зеленая планета!
Ничтожный шар в семье планет!

Твое величье — имя это,
Меж слав твоих — прекрасней нет!

Он умер; был одно мгновенье
В веках; но дел его объем
Превысил жизнь, и откровенья
Его — мирам мы понесем!

1924

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ



П О Э Т

В ямах прошлого могильных
Кем ты был, поэт, всеильный
Над звенящей влагой слов?
Бунтарем ты был бескрылым,
Каторжанином унылым
Или худшим из рабов.

Ты орлом в темнице бился,
Буревестником носился
Или чайкою рыдал.
И в ответ лишь стон бессонный
Под землей закабаленной
Клокотал: — Когда? Когда?

Птице-песне крылья мяли,
Птице-песне горло рвали
И давили грудь пятой.
Слово чахло и ссыхалось,
Слово с мыслью расставалось,
Слово сделалось мечтой.

В горнах наших дней плавильных
Кем ты стал, поэт, бессильный
В старом мире мертвецов?
Созидателем стросенья,
Дирижером вдохновенья
И товарищем творцов!

Пред тобой необозримый,
В первый раз людьми творимый
Мир свободы и добра.
И к тебе многомиллионный
Зов земли раскрепощенной
Обращен: — Пора! Пора!

Птицы-песни взлет свободен.
Птицы-песни голос годен
И в бою и за трудом.
Слово чувством накалилось,
Слово мыслью утвердилось,
Слово стало рычагом.

1935

ГОРЮШКО

Без призора ходит Горе
От одной избы к другой
И стучит в окно к Федоре,
Старой сватье дорогой:

— Отвори, Федорушка,
Отвори скорей!
Это я тут, Горюшко,
Плачу у дверей.

— Нет с Федорой разговора,
Ты мне, Горе, не родня!
Хлеба горы, денег ворох
Получила с трудодня.

Горе шаст в другую хату,
Где в окошках шум и свет,
И стучится в двери к свату,
Другу прежних, горьких лет.

— Приюти, Егорушка,
Сватьюшку свою!
Это я тут, Горюшко,
У дверей стою!

У Егора с Горем ссора:
— Уходи от хаты прочь!
За колхозного шофера
Выдаю я замуж дочь.

Горе плачет, пот струится
По костлявому лицу,

И в окно оно стучится
К многодетному отцу:

— Отвори, Сидорупка,
Пропусти в жилье!
Ты ведь помнишь Горюшко
Вечное свое!

— В Красной Армии три сына.
В школу отдал дочек трех.
Тут седьмые октябрины!
Не марай ты мой порог!

— Что с народом приключилось?
Не видало отродясь!.. —
Горе лужицей расплылось,
Солнце высушило грязь.

1937

Велемир ХЛЕБНИКОВ



НОЧЬ ПЕРЕД СОВЕТАМИ

I

Сумрак серый, сумрак серый,
Образ дедушки подарок.
Огарок скатерть серую закапал.
Кто-то мешком упал на кровать,
Усталый до смерти, без меры.
В белых волосах, дико всклокоченных,
Видна на подушке большая седая голова.
Одеяло тепло падает на пол.
Воздух скучен и жуток.
Некто притаился,
Кто-то ждет добычи.
Здесь не будет шуток,
Древней мести кличи!
И туда вошло
Видение зловещее.
Согнуто крючком,
Одето, как нищая,
Хитрая смотрит,
Смотрит хитрая!
«Только пыли вытру я.
Тряпки-то нет!»
Время! Скажи, сколько старухе
Минуло лет?
В зеркало смогрится — гробы.
Но зачем эти морщины злобы?
Встала над постелью
С образком девичьим,
Точно над добычей
Стоит и молчит.
— Барыня, а барыня!
— Что тебе? Ключи?
Лоб большой и широкий,

В глазах голубые лучи,
И на виски волосы белые дико упали,
Красивый своей мощью лоб окружая, обвизан.

— Барыня, а барыня!

— Ну, что тебе?

— Вас завтра повесят!

Повисить ты, белая.

Раненым зверем вскочила с кровати:

— Ты с ума сходишь? Что с тобой делается?

Тебе надо лечиться.

— Я за мукой пришла, мучицы...

Буду делать лепешки..

А времени, чай, будет скоро десять.

Дай барыню разбуду.

— Иди спать! Уходи спать ложиться!

Это ведьма, а не старуха.

Я барину скажу!

Я устала, ну, что это такое?

Житья от нее нет,

Нет от нее покоя.

Опустилась на локоть, и град слез побежал.

— Пора спать ложиться!

Радостный хохот

В лице пробежал,

Темные глазки сделались сладки.

— Это так... Это верно... Кровь у меня мужичья.

В Смольном не была,

А держала вилы да веник...

Ходила да смотрела за кобылами.

Барыня, на завтра мне выдайте денег.

Барыня, вас завтра,

Наверно, повесят...

Шопот зловещий

Стоит над кроватью

Птицею мести далеких полей.

Вся темнота крови засохшей цвета.

И тихо уходит,

Неясно шамкая:

— На скотном дворе работала,

Да у разных господ пыль выметала,

Так и умру я,

Слягу в могилу

Окаянною хамкою.

В Смольном девицей была, белый носила передник.
 И на доске золотой имя записано: первую шла.
 И с государем раза два или три, тогда был наследник,
 На балу плясала в общей паре.
 После сестрой милосердия спасала больных
 В предсмертном паре, в огне,
 В русско-турецкой войне.
 Ходила за ранеными, дать им немного ласки и нег.
 Терпеливой смерти призрак, исчезни!
 И заболела брюшною болезнью,
 Лежала в бреду и жажде.
 Ссылным потом помогала, сделалась красной,
 Была раз на собраньи прославленной «Воли Народной» —
 опасно как!

На котором все участники позже
 Качались удушены
 Шеями в царские вожжи.
 Бились насмерть, боролись
 Лучшие люди с неволей.
 После ушла корнями в семью.
 Возилась с детьми, детей обучала
 И переселилась на юг.
 Дети росли странные, дикие,
 Безвольные, как дитя,
 Вольные на все,
 Ничего не хотя:
 Художники, писатели,
 Изобретатели.
 Отец ее был со звездой старик,
 Бритый, высокий, холодный.
 Теперь в друг друга, рукой книги и ржи,
 Вонзали обе ножи:
 Исчадь деревни голодной и сама столица на Неве, ее
 благородие.
 Мучения пожик и наслаждения порхал, муки и мести.
 Глаза голубые и глаза темной жести.
 Баба и барыня —
 Обе седые, в лохматых седых волосах.
 Да у барыни губы в белых усах.
 Радовались неге мести и муки.
 Потом долго ломала барыня руки
 На грязной постели.

— Это навет!
А на кухне угли самовара
Уж засвистели.
Скоро барин придет.
Пусть согреет живот.

3

Старуха снова пришла, но другая.
— Слухай, барыня, слухай,
Побалакай с старухой!
Бабуся моя,
Как молодкой была,
Дородной была.
И дородна и бела,
Чернобровая,
Что калач из печи! Что пирог!
Славная девка была,
Бела и здорова.
Другую такую сыщи!
И прослыла коровой.
Парни-хлыщи!
Да глаза голубые веселухи закаянной!
А певунья какая!
Лесной птицы
Глотка звонче ее.
Заведет, запоеет и с ума всех сведет.
Утром ходит в лесу,
Свою чешет косу
И запоеет!
Бредят борзые и гончие,
Барин коня своего остановит,
Рубль серебряный девке подорит.
Барин лихой, седые усы...
А барин наш был собачар,
Псарню большую имел.
И на псарне его
Были черные псы, да курчавые,
Были белые все,
Только чуточку ржавые.
Скачут, как бесы, лижут лицо,
Гнутся и вьются, как угри, в кольцо.
А сколько визга, а сколько лая!
Охота была удалая.

Барыня милая! Воют в рога,
Скачут и ищут зайца-врага.
Белый снежок.
Скачет комочек —
Заячьи сны,
Белый на белом,
Уши черны.
Вот и начался по полю скок!
Тонут в пыли
Черные кони и бобыли!
Тонут в сугробах и тонут,
Гончие воют и стонут!
Друг через друга
Псы перескакивают,
Кроет их вьюга,
Кого-то оплакивают,
Стонут и плачут.
А барин-то наш скачет... и скачет,
Сбруей серебряной блещет,
Черным арапником молотит и хлещет.
Зайчиха дрожит уже вдовушка.
Людам любя заячья кровушка!
Зайца к седлу приторочит,
Снежного зайца, нового хочет,
Или ревет, заливается в рог.
Лютые псы скачут у ног.
Скачут поодаль холопы любимые,
Поле белехонько, только кусточки,
Свищут да рыщут,
Свеженьких ищут собачие роточки.
С песней в зубах, в зенках огонь!
Заячий кончится гон,
Барин удалый к бабе приедет,
Даст ей щеночка:
«Эй, красота!
Вот тебе сын али дочка,
Будь ему matka родимая.
Барскому псу дай воспитание».
Барину псы дорогая утеха, а бабе они — испытание!
Бабонька плачет,
Слезками волосы русые вымоет,
Песик весь махонький — что голубок!
Барская милость — рубль на зубск.
«Холи и люби, корми молоком!

Будет тебе богоданным сынком».
Что же поделает бабонька бедная?
Встанет у притолки бледная
И закатит большие глаза — в них синева.
Отшатнется назад,
Схватит рукою за грудь
И заохает и заохает!
Вся дрожит. Слезка бежит,
Точно ножом овцу полоснули.
Ночь. Все уснули.
Плачет и кормит щеночка-сыночка
Всю ночь.
Барская хамка — песика мамка!
— Чужие ведь санки!
Барин был строгий, правдивой осанки,
С навесом суровым нависших бровей,
И княжеских, верно, кровей.
Был норовитый,
Резкий, сердитый,
Кудри носил серебристые —
Помещик был истый,
Длинные к шее спускались усы.
— Теперь он давно на небеси,
Батюшка-барин!
Будь земля ему лухом!
Арапник шуршал: шу да шу! полз ровно змей.
Как я заслышу,
Девчонка, застыну и не дышу,
Спрячуся в лен или под крышу.
Шепчет, как змей: «Не свищу, а шкуру спущу».
А барин арапником
Вдруг как шарахнет
Холопа по морде!
Помещик был истый да гордый.
И к бабке пришел: «На, воспитай!
Славный мальчик, крови хорошей,
А имя — Летай!
Щенка стерегись, не души!
Немилость знаешь барской души!
Эй, гайдуки!
Дайте с руки!
Из полы в полу!»
И вот у бабуся щеночек веселый.
А от деда у ней остался мальчишка,

Толстый да белый, ну, словно пышка, глаза голубые.
Взять бы и скушать!
Дед-то, вишь, помер, зачах,
Хоть жили оба на барских харчах!
Сидит на скамейке,
Ерошит спросонку
Свои волосенки.
Такой кучеривый, такой синеглазый,
Игры да смех, любит проказы!
Бабка заплакала. Вся побледнела.
И зашаталась,
Бросилась в ноги,
Серьгою звеня!
«Барин, а барин! Спасите меня!»
Ломит, ломает белые руки!
Кукиш! Матушка-барыня, кукиш!
«Арапником будет Спаситель,
Ты ему matka,
Кабыздох был родитель».
Вот и вся взятка!
Кукиш. Щеночек сыночком остался.
Хлопнулась о пол, забилась в падучей,
Барин затопал,
Стукнул палкою.
Угрюмый ушел, не прощаясь, без ласки!
Брови, как тучи.

4

И истощала же бабка!
Как щепка.
Задумалась крепко!
Стала худеть!
Бела, как снежок,
Стала белей горностаюшки.
В чем осталась душа?
Да глазами молодка больно хороша!
Мамка Летая
Как зимою по воду пойдет да ведра возьмет —
Великомученица ровно ходит святая!
В черной шубе прозрачною стала, да темны глаза.
Свечкою тает и тает.
Лишь глаза ее светят, как звезды,
Если выйдет зимою на воздух.
Не жилец на белом свете —

Порешили суседи!
А Летай вырос хорош,
День ото дня хорошея!
Всегда беспокойный,
Статный, поджарый, высокий, стройный!
Скажут Летаю, прыгнет на шею
И целует тебя по-собачьи!
Быстрых зайцев давил, как мышей,
Лаял,
Барин в нем души не чаял!
«Орлик, цуцик! цуцик!»
И кормит цыплятами из барских ручек.
Всех наш Летай удивил.
А умный! Даром собачьих книг нет!
Вечно то скачет, то прыгнет!
Только папаня, в темный денек,
Раз подстерег
И на удавке и удавил,
И повесил
Перед барскими окнами.
У барины перед окнами
Отродье песье
Висит. Где его скок удалой, прыты!
«Чтобы с ним господа передохнули,
Пора им могилу рыть!»
Утром барин встает,
А на дворе вой!
Смотрит: пес любимый,
Удавленный папой,
Висит, как живой,
Кружится,
Машет лапой.
Как осерчал!
Да железной палкой в пол застучал:
— Гайдук!
Эй!
Плетей!
Да плетьми, да плетьми!
Так и папаню
Засек до чахотки,
Кашель красный пошел. На скамейке лежит —
В гробу лежат краше!
А бабу деревня
Прозвала Собакевной.

Сохнуть она начала, задушевная!
Нет, не уйти ей от барского чиха!
Рябиною стала она вянуть и сохнуть!
Первая красавица, а теперь собачиха.
Встанет и охнет:
«Где вы, мои золотые
Дни и денечки?
Красные дни и годочки,
Желтые косы крутые?»
Худая, как жердь,
Смотрит, как смерть,
Все уплыло и прошло!
И вырвет седеющий клочок.
И стала тянуть стаканами водку,
Распухшее рыло.
Вот как оно, барыня, было!
Чорта ли?
Женскую грудь собачонкою портили!
Бабам давали псов в сыновья,
Чтобы кумились с собаками.
Мы от господ не знали житья!
Правду скажу:
Когда были господские,
Были мы ровно не люди, а скотские!
Ровно корова!
Бают, неволю снова
Вернуть хотят господу?
Барыня, да?
Будет беда,
Гляди, будет большая беда!
Что говорить!
Больше не будем с барскими свиньями есть из корыт!..

6

Пришла и шепчет:
— Барыня, а барыня!
— Ну что тебе, я спать хочу!
— Вас скоро повесят!
Хи-их-хи! их-хи-хи!
За отцов за грехи!
Лицо ее серо, точно мешок,
И на нем ползал тихо смешок!
— Старуха, слушай, пора спать!
Иди к себе!

Ну что это такое,
Я спать хочу!
Белым львом трясется большая седая голова.
— Ведьма какая-то,
Она и святого взбесит.
— Барыня, а барыня!
— Что тебе?
— Вас скоро повесят!
Барин пришел. Часы скрипят.
Белый исчерченный круг.
— Что у вас такое. Опять?
— Барин мой миленький,
Я на часы смотрю,
Наверное, скоро будет десять!
— Прямо покоя нет.
Ну что это такое:
Приходит и говорит,
Что меня завтра повесят.

* * *

Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове!
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве!
Не затем высока
Воля правды у нас,
В соболях-рысаках
Чтоб катались глумясь.

Не затем у врага
Кровь лилась по дешевке,
Чтоб несли жемчуга
Руки каждой торговли.
Не зубами скрипеть
Ночью долгою,
Буду плыть — буду петь
Доном-Волгою!
Я пошлю вперед
Вечеровые устрugi,
Кто со мною — в полет?
А со мной — мои други!

Василий КАМЕНСКИЙ



САРЫНЬ НА КИЧКУ!

(Из поэмы «Степан Разин»)

А ну, вставайте,
 Поднимайте паруса,
Зачинайте
 Даль окружную,
Звонким ветром
 Раздувайте голоса,
Затевайте
 Песню дружную.
Эй, кудрявые,
На весла налегай —

разом
ухнем,
духом
бухнем.

Наворачивай на гай!
Держи
Май —
Разливье
Май, —
 Дело свое делаем —

пуше,
гуше
нажимай,

Нажимай на левую!
На струг вышел Степан,
 Сердцем яростным пьян.
Волга — синь-океан.
 Заорал атаман:
 Са рынь на кичку!
Ядреный лапоть

Пошел шататься

По берегам.

Сарынь на кичку!
 В Казань!
 В Саратов!
 В дружину дружную
 На перекличку,
 На лихо лишное
 Врагам!
 Сарынь на кичку!
 Бочонок с брагой
 Мы разопьём
 У трех костров,
 И на привольи
 Волжском вагой
 Зарядим пир
 У островов.
 С а р ы н ь
 н а
 к и ч к у!
 Ядреный лапоть,
 Чеши затылок
 У подлеца.
 Начнем
 С низовья
 Хватать,
 Царапать
 И шкуру драть —
 Парчу с купца.
 Сарынь
 на кичку!
 Кистень за пояс.
 В башке зудит
 Разгул до дна.
 Свисти!
 Глуши!
 Зевай!
 Раздайся!
 Слепая стерва,
 Не попадайся! Вва!

В ПЕРСИДСКОМ САДУ АПЕЛЬСИНОВОМ

Струги-стаи
 налетали —
 брали города.

Други стаи
 помогали
 битву коротать.
 Третьи стаи
 набегали —
 ва ордой орда.
 А вся стая —
 Русь босая —
 скоро та
 Одолела,
 Завладела
 Волгой сирота.
 Вольница шумела:
 «Волги мало нам, —
 Мы из Астрахани двинем
 В море по волнам,
 Двинем в Персию — туда,
 Где восточная звезда
 Нам сулит
 Ковры-дары.
 Айда!
 Айда!
 Айда-а-а-а-а-а!»
 Будь что будь!
 Снарядились да грянули
 В путь да путь.
 Ветер морской
 Паруса раздул, —
 Возле берега
 Чайками мчал.
 Не думал персидский
 Султан Абдул,
 Какой его
 Ждет причал.
 Ветер морской —
 Лихой борец,
 Но смелей голытьба
 И густей.
 В Реште султанский
 Принял дворец —
 Разинских
 Буйных гостей.

И в заморском,
Персидском краю —
Огневее пожара
В ночь

Полюбилась
Степану в раю
Птица Мейран —
Принца Аджара
Дочь.

При янтарной
Игре полумесяца
Атаман,
Под туман,
Только как очи
Принцессы засветятся,
Пел Мейран:

«Сад твой зеленый,
Сад апельсиновый.
Полюбил персиянку за тишь.
Я парень —

ядреный,
дубовый,
осиновый,

А вот тоскую,
Поди ж.

Видно, принцесса
Чаруйным огнем
Пришлась по путру.

С сердцем,
Пьяным любовным вином,
Встаю поутру
И пою:

Сад твой зеленый,
Сад апельсиновый.

И в этом саду
Я — туман.

Хмельной
Да мудреный,
Ядреный,
Осиновый,

Сам не свой,
И зову:
«Эй, Мейран,

Чуду приспело
Родиться недолго —
Струги легки
И быстры.
Со славой победной
Увезу я на Волгу
Зажигать удалые
Костры».
При янтарной игре
Полумесеца,
Когда звезды любви
Поднебесятся,
Отвечала Мейран:

«Ай,
Хяль бура беп.
Аббас,
Селям, селям,
Степан».
Затуманился парень...
А султан
Сдвинул брови:

Захотелось ему
Изведать
Ушкуйничьей крови.

Стража султанская
Решила врасплох
Загубить понизовых гостей.
Да не тут-то было.
Крепка голова атаманская,
Глаз дозорный не плох,
Да за поясом верен кистень.
И знакомо султаново рыло:
Не объедешь на кривой,
С князем встреча не впервой.
С князем встреча —
Это рвани смертный вой.
А раз так —
Са рынь на кичку!
Не жалей
Врагов костей.
А раз так —

Вали на стычку!
Опи да в лоб!

Просвистел кистень гостей.

Ну, и пир!

Не пир — гора.

Реки льются серебра:

Сабли — востры,

Персы — пестры,

Кровь — узорнее

Ковра.

Ну, и пир!

Не пир — гора.

Разгулялась больница

Во дворе султана,

Нагрузилась гольница

Золотом-добром,

И снялась застольница

Соколиным станом, —

Пронеслась раздольница,

Как весенний гром.

Из заморских тех стран

Победитель-чудесник

Степан вывез Мейран

Под гусярские песни.

КАМНЕМ ЛЮБОВЬ ЗАЛЕГЛА

Ветер морской

Паруса раздул,

Возле берега

Чайками мчал.

Прощай ты, персидский

Султан Абдул,

Да запомни

Сермяжий причал.

Ветер морской

Паруса вскрылил.

Залетным вином

Разлились разговоры.

Лихо неслись

По волнам корабли

Домой —

В Жигулевские горы.

А на ковре атаманском,

На тегеранском ковре,
На заре,
Шею Степана обвив,
Пела Мейран о любви:

«Ай,
Хяль бура бен,
Аббас,
Селям,
Джам-аманай.
Джам-аманай.

Ай,
Пестритесь, ковры —
Моя Персия.

Ай,
Чернитесь, брови мои,
Губы-кораллы,
Чарн-чаллы.

Ай,
Падайте на тахту
С ног браслеты.
Я ищу —
Где ты.

Ай,
Золотая, звездная
Персия.
Кальяном душистым
Опьянилась душа,
Под одеялом шурша.

Ай,
В полумесяце жгучая —
Моя вера — коран.
Я вся —

Змея гремучая —
Твоя Мейран.

Ай,
Все пройдет,
Все умрут.
С знойноголых ног
Сами спадут
Бирюза — изумруд.

Ай,
Ночь —
В синем разливная
А в сердце ало вино.

Грудь моя — спелая, дивная.

Я вся

Раскрытое окно.

Ай,
Мой Зарем,
Мой гарем,
Моя Персия».

Слушал Степан
Зачаруйный дурман,
Слушал Степан
Эту песню Мейран,
Слушал, как пьян
От любви, атаман.
Хмурился:

Персиянка
Хвалена —
Любовница
Смелая.

Две любви:

Мейран
да
Алена, —

Лебедь черная,
Лебедь белая.

Не много ль любви?

Алена — донская,

А эта — заморская.

Не много ль любви?

Да и след ли —

Атаману
В тумане бродить?

Будто глаза

Ослепли

И камнем любовь

Залегла в груди.

Будто впрямь

Потерял высоту, —

Заблудился

На склоне осиновом

Да запел:

«Не живать мне в саду,

Не бывать в апельсинах.

Волга для вольницы

Счастьем течет, —

Отцу Тимофеичу
Знатный почет:
От края до края
Холопская голь
Власть свою правит
По Волге в раздоль.
Победы разгулом —
Бесельями дразнятся,
Да только огулом
Ругаются разинцы:
«А ну ее к рожну,
Персидскую княжну!
В Волгу дунь ее,
Колдунью.
Не до баб нам, атаман,
Когда с войском караван
От царя идет в заимку.
А ты с бабой спишь в обнимку.
Слышь?
Дунь!
Кинь!
Брось!
А то
сердце
с нами
врозь.
Брось!»

УТОПИЛ КНЯЖНУ

И вот,
Грудь гордые выправив
В ожидающем трепете,
Струги стали на выплави,
Как на озере лебеди.
Тишь.
Жигулевские горы
Солнце вечера режет.
Устремились гор взоры
На густеющий стрелень.
Ждали.
На струг вышел Степан
Из патровой завесы, —

В руках гибкий стан
 Извивался принцессы.
 Взмах!
 И брызги алмазные
 Ослепили глаза.
 Песни бражьи, праздные
 Разлила бирюза.
 Прощай!
 Степан, как в бреду
 Воем был псиновым:
 Не живать мне в саду,
 Не бывать в апельсиновом.
 Там,
 На зыбкой стрежени,
 Затихла песня горская,
 В любви погибли две жены —
 Донская да заморская.
 Ой, Мейранушка,
 Ой, Аленушка,
 Болит ранушка
 У дитенышка.
 Да болит не столь —
 Не кричи, не лась, —
 Лишь бы серая голь
 Не кручинилась.
 Васька Ус — есаул —
 На помин затынул:
 «Катись ее имячко
 На высоких облаках,
 Вспоминай ее вымячко
 За брагой в кабаках.
 Ой, да взгорю я на гору,
 Взлезу на ель высоченную,
 Раскачаю вершину,
 Раздую брюшину,
 Засвищу, заору,
 Испарапанной мордой
 Зачураю свою нареченную:
 Чур,
 Чур,
 Чур,
 Последнее дело —
 Возиться с бабьем.

Первое дело —
Дубасить дубьем.
Я — Васька Ус,
Охотник до царских пуз,
Дрался множество раз,
А вырвали только
Ус да глаз.
Вот и зеваю
Голодным медведем,
Будто за коровами
Едем.
Натерпелся по барским
Острожным мешкам, —
Эх, дать бы им всем!
Кистенем по башкам!..»

1918

Демьян БЕДНЫЙ



МОЙ СТИХ

Пою. Но разве я «пою»?
Мой голос огрубел в бою,
И стих мой... блеску нет в его простом наряде.
Не на сверкающей эстраде
Пред «чистой публикой», восторженно-немой,
И не под скрипок стон чарующе-напевный
Я возвышаю голос мой —
Глухой, надтреснутый, насмешливый и гневный.
Наследья тяжкого неся проклятый груз,
Я не служитель муз:
Мой твердый, четкий стих — мой подвиг ежедневный.
Родной народ, страдалец трудовой,
Мне важен суд лишь твой,
Ты мне один судья прямой, нелицемерный,
Ты, чьих надежд и дум я — выразитель верный,
Ты, темных чьих углов я — «пес сторожевой»!

1917

ПРОВОДЫ

Красноармейская песня

Как родная мать меня
Провожала,
Как тут вся моя родня
Набежала:

«А куда ж ты, паренек?
А куда ты?
Не ходил бы ты, Ванек,
Да в солдаты!»

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся.

Без тебя большевики
Обойдутся.

Поневоле ты идешь?
Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь
Ни за что ты.

Мать, страдая по тебе,
Поседела;
Эвон в поле и в избе
Сколько дела!

Как дела теперь пошли:
Любо-милост
Сколько сразу нам земли
Привалило!

Утеснений прежних нет
И в помине.
Лучше б ты женился, свет,
На Арине.

С молодой бы жил женой,
Не лежился!»
Тут я матери родной
Поклонился.

Поклонился всей родне
У порога:
«Не скулите вы по мне,
Ради бога.

Будь такие все, как вы,
Ротозей,
Чтоб осталось от Москвы,
От Расей?

Все пошло б на старый лад,
На недолю.
Взяли б вновь от нас назад
Землю, волю;

Сел бы барин на земле
Злым Малютой.

Мы б завыли в кабале
Самой лютой.

А иду я не на пляс,
На пирушку,
Покпдаючи на вас
Мать-старушку:

С Красной Армией пойду
Я походом,
Смертный бой я поведу
С барским сбродом,

Что с попом, что с кулаком —
Вся беседа:
В брюхо толстое штыком
Мироеда!

Не сдаешься? Помирай,
Шут с тобою!
Будет нам милее рай,
Взятый с бою, —

Не кровавый, пьяный рай
Мироедский, —
Русь родная, вольный край,
Край советский!»

1918

ГЛАВНАЯ УЛИЦА

Поэма

1917—7/XI—1922 г.

Трум-ту-ту-тум!
Трум-ту-ту-тум!
Движутся, движутся, движутся, движутся,
В цепи железными звеньями нижутся,
Поступью гулкою грозно идут,
Грозно идут,
Идут,
Идут,
На последний, на главный редут.

Главная Улица в панике бешеной.
Бледный, трясущийся, словно помешанный,
Страхом смертельным внезапно ужаленный,
Мечется клубный делец накрахмаленный,
Плут-ростовщик и банкир продувной;
Мануфактурщик и модный портной,
Туз меховщик, ювелир патентованный; —
Мечется каждый, тревожно-взволнованный
Гулом и криками, издали слышными,
У помещений с витринами пышными,
Средь облигаций меняльной конторы, —
Русский и немец, француз и еврей
Пробуют петли, сигналы, запоры:
— Эй, опускайте железные шторы!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Скорей!
— Вот их проучат, проклятых зверей,
Чтоб бунтовать зареклися навеки! —
С грохотом падают тяжкие веки
Окон зеркальных; дубовых дверей.
— Скорей!
— Скорей!
— Что же вы топчетесь, будто калек?
Или измена таится и тут!
Духом одним с этой сволочью дышите?
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Слышите?..
— Вот они!.. Видите?.. Вот они, тут!
— Идут!
— Идут!..
С силами, зревшими в нем, необъятными,
С волей единой и сердцем одним,
С общею болью, с кровавыми пятнами
Алых знамен, полыхавших над ним,
Из закоулков, из переулков
Темных, размытых, разрытых, извилистых,
Гневно заметнув свои тысячи жилистых,
Черных, корявых, моволистых рук,
Тысячелетьями связанный, скованный,
Бурным порывом прорвав заколдованный

Каторжный круг,
Из закоптелых фабричных окраин
Вышел на Улицу Новый Хозяин,
Вышел — и все изменилось вдруг:
Дрогнула, замерла Улица Главная,
В смутно-тревожное впав забытье, —
Воля стальная, рабоче-державная,
Властной угрозой сковала её:
— Это — мое!!
Улица эта, дворцы и каналы,
Банки, пассажи, витрины, подвалы,
Золото, ткани, и снедь, и питье, —
Это — мое!!
Библиотеки, театры, музеи;
Скверы, бульвары, сады и аллеи,
Мрамор и бронзовых статуй литье, —
Это — мое!!

Воем ответила Улица Главная.
Стал богатырь. Загражден ему путь.
Хищных стервятников стая бесславная
Когти вонзила в рабочую грудь.
Вмиг ошетинаясь штыками и пиками,
Главная Улица — страх позабыть! —
Вся огласилась воплями дикими,
Гиком и руганью, стонами, криками,
Фырканием конским и дробью копыт.
Прыгнули злобные, пьяные шайки
Из полицейских жандармских засад.
— Р-рысью... в атаку!

— Бери их в нагайки!

— Бей их прикладом!

— Гони их назад!

— Шашкою, шашкой, которые с флагами.
Чтобы вперед не сбирались ватагами,
Знали б, ха-ха, свой станок и верстак,
Мать их растак!!.

— В мире подобного нет безобразия!

— Темная масса...

— Татарщина...

— Азия!..

— Хамы!..

— Мерзавцы!..

— Скоты!..

— Подлецы!..

— Вышла на Главную, рожка сукопная!

— Всыпала им жандармерия конная!

— Славно работали тоже донцы!

— Видели лозунги?

— Да, ядовитые!

— Чернь отступала, заметьте, грова.

— Правда ль, что есть среди рабочих убитые?

— Жертвы... Без жертв; моя прелесть; нельзя!..

— Впрок ли пойдут им уроки печальные?

— Что же, дорвутся до горшей беды!

Вновь засверкали витрины зеркальные,
Всюду кровавые смыты следы.
Улица злого полна ликования,
Залита светом вечерних огней.
Чистая публика всякого звания
Шаркает, чавкает снова на ней,
Чавкает с пошло-тупою беспечностью,
Меряя срок своих чавканий вечностью,
Веруя твердо, что с рабской судьбой
Стерпится, свыкнется «хам огорошенный»,
Что не вернется разбитый, отброшенный,
Глухо рокошующий где-то прибор!

Снова...

Снова...

Бьет роковая волна...

Гнется гнилая основа...

Падает грузно стена.

— На!..

— На!..

— Раз-два,

Сильно!!

— Раз-два,

Дружно!!

— Раз-два,

В ход?!

Грянул семнадцатый год!

— Кто там?

Кто там

Хнычет испуганно: «Стой!»
— Кто по лихим живооглотам
Выстрел дает холостой?
— Кто там виляет умильно?
К чорту господских пролаз!
— Раз-два,
Сильно!!
— Е-ще
Раз!!.

— Нам подхалимов, не нужно!
Власть — весь рабочий народ!
— Раз-два,
Дружно!!
— Раз-два,
В ход!!
— Кто нас отсюдова тронет?
Силы не сыщется той!

.
Главная Улица стонет
Под пролетарской пятой!!

1922

С Н Е Ж И Н К И

Засыпала звериные тропинки
Вчерашняя разгульная метель,
И падают, и падают снежинки
На тихую, задумчивую ель.

Заковано тоскою ледяною
Безмолвие убогих деревень.
И снова он встает передо мною —
Смертельною тоской пронзенный день.

Казалось: земля с пути свернула.
Казалось: весь мир покрыла тьма.
И холодом отчаянья дохнула
Испуганно-суровая зима.

Забуду ли народный плач у Горок¹,
И проводы вождя, и скорбь, и жуть,
И тысячи лаптишек и опорок,
За Лениным утаптывавших путь!

Шли лентою с пригорка до ложбинки,
Со снежного сугроба на сугроб.
И падали, и падали снежинки
На ленинский — от снега белый — гроб.

1925

Я ВЕРЮ В СВОЙ НАРОД

Пусть приняла борьба опасный оборот,
Пусть немцы тешатся фашистскою химерой,
Мы отразим врагов. Я верю в свой народ
Несокрушимою тысячелетней верой.

Он много испытал. Был путь его тернист.
Но не затем зовет он родину святою;
Чтоб попирал ее фашист
Своею грязною пятою.

За всю историю суровую свою
Какую стойкую он выявил живучесть,
Какую в грозный час он показал могучесть,
Громя лихих врагов в решающем бою!
Остервенелую фашистскую змею
Идет та же злая вражья участь!

Да, нелегка борьба. Но мы ведь не одни.
Во вражеском тылу тревожные огни.
Борьба кипит. Она в разгаре.
Мы разгромим врагов. Не за горами дни,
Когда подвергнутся они
Заслуженной и неизбежной каре.

Она напишется отточенным штыком
Перед разгромленной фашистскою оравой:
«Покончить навсегда с проклятым гнойником,
Мир отравляющим смертельною отравой!»

1941

¹ Горки — подмосковная деревня, где скончался В. И. Ленин.

Сергей Есенин



* * *

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть.

Золотою лягушкой луна
Распласталась на тихой воде.
Словно яблонный цвет, седина
У отца пролилась в бороде.

Я не скоро, не скоро вернусь!
Долго петь и звенеть пурге.
Стережет голубую Русь
Старый клен на одной ноге.

И я знаю, есть радость в нем
Тем, кто листьев целует дождь,
Оттого, что тот старый клен
Головой на меня похож.

1918

* * *

О край дождей и непогоды,
Кочующая тишина,
Ковригой хлебною под сводом
Надломлена твоя луна.

За перепаханною нивой
Малиновая лебеда.
На ветке облака, как слива,
Златится спелая звезда.

Опять дорогой верстовою,
Наперекор твоей беде,
Бреду и чую яровое
По голубеющей воде.

Клубит и пляшет дым болотный...
Но и в кошме певучей тьмы
Неизреченностью животной
Напоены твои холмы.

1918

* * *

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая, —
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

1918

* * *

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая словесная грудя,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг...
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

1919

* * *

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст.
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвести и умереть.

1921

* * *

Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.

Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.

Не искал я ни славы, ни покоя, —
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.

Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.

Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,
Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.

Голос громкий и всхлипень вычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюд кирпичный,
В завывании дождевом?

Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.

Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь,
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.

Но угасла та нежная дрема,
Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,
Мир тебе — деревянный дом!

1923

* * *

Мне грустно на тебя смотреть,
Какая боль, какая жалость!
Знать, только ивовая медь
Нам в сентябре с тобой осталась.

Чужие губы равнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну, что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
Ведь не осталось ничего,
Как только желтый тлен и сырость.

Ведь и себя я не сберег
Для тихой жизни, для улыбок.
Так мало пройдено дорог,
Так много сделано ошибок.

Смешная жизнь, смешной разлад.
Так было и так будет после.
Как кладбище, усеян сад
В берез изглоданные кости.

Вот так же отцветем и мы,
И отшумим, как гости сада...
Коль нет цветов среди зимы,
Так и грустить о них не надо.

1923

✓ ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж —
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож...

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я попрежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, —
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

1924

* * *

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.
Мир осинам, что, раскинув ветви,
Загляделись в розовую воду.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.

Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле.
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

1924

ЛЕНИН

(Из поэмы)

Еще закон не отвердел,
Страна шумит, как непогода.
Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Россия! Сердцу милый край,
Душа сжимается от боли; —
Уж сколько лет не слышу боле
Петушье пенье, песий лай.

Уж сколько лет наш тихий быт
Утратил мирные глаголы.
Как оспой, ямами копыт
Изрыты пастбища и доли.

Немолчный топот, громкий стон,
Визжат тачанки и телеги.
Ужель я сплю и вижу сон,
Что с копьями со всех сторон
Нас окружают печенеги?
Не сон, не сон, я вижу въявь
Ничем не усыпленным взглядом,
Как, лошадей пуская вплавь,
Отряды скачут за отрядом.
Куда они? И где война?
Степная водь не внемлет слову.
Не знаю светит, ли луна,
Иль всадник обронил подкову?
Все спуталось...

По понял взор:
Страну родную в край из края,
Огнем и саблями сверкая,
Междоусобный рвет раздор.

.
Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
С плеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, кто в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...
Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного народа
Позор острогов и церквей.

.
Была пора жестоких лет,
Нас пестовали злые лапы.
На попрание крестьянских бед
Цвели имперские сатрапы.

.
Монархия! Зловещий смрад!
Веками шли пиры за пиром.

И продал власть аристократ
Промышленникам и банкирам.
Народ стонал, и в эту жуть
Страна ждала кого-нибудь...
И он пришел.

.
Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: чтоб кончить муки,
Берите все в рабочие руки.
Для нас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет...

.
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели;
Пошли туда, где видел он
Освобождение всех племен.

.
И вот он умер...
Плач досажен.
Не славят музы голос бед.
Из медно лающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковыдать в бетон.
Для них не скажешь:
Ленин умер.
Их смерть к тоске не привела.

.
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

1924

РУСЬ СОВЕТСКАЯ

Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.
На переключке дружбы многих нет.
Я вновь вернулся в край осиротелый,
В котором не был восемь лет.

Кого позвать мне? С кем мне поделиться
Той грустной радостью, что я остался жив?
Здесь даже мельница — бревенчатая птица
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли.
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

А жизнь кипит.
Вокруг меня снуют
И старые и молодые лица.
Но некому мне шляпой поклониться,
Ни в чьих глазах не пахоту приют.

И в голове моей проходят росы думы:
Что родина?
Ужели это сны?
Ведь я почти для всех здесь пилигрим угрюмый
Бог весть с какой далекой стороны.

И это я!
Я, гражданин села,
Которое лишь тем и будет знаменито,
Что здесь когда-то баба родила
Российского скандального пиита.

Но голос мысли сердцу говорит:
«Опомнись! Чем же ты обижен?
Ведь это только новый свет горит
Другого поколения у хижин.

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать».

Ах, родина! Какой я стал смешной.
На щеки впалые летит сухой румянец,
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец.

Вот вижу я:
Воскресные сельчане
У волости, как в церковь, собрались.
Корявыми, немытыми речами
Они свою обсуживают «жись».

Уж вечер. Жидкой позолотой
Закат обрызгал серые поля,
И ноги босые, как телки под ворота,
Уткнули по канавам тополя.
Хромой красноармеец с ликом сонным,
В воспоминаниях морщина лоб,
Рассказывает важно о Буденном,
О том, как красные отбили Перекоп.
«Уж мы его — и этак и разэтак,
Бурикуя энтото... которого... в Крыму...»
И клены морщатся ушами длинных веток,
И бабы охают в немую полутьму.

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику, наяривая рьяно,
Поют агитки Бедного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

Вот так страна!
Какого ж я рожна
Орал в стихах, что я с народом дружен?
Моя поэзия здесь больше не нужна,
Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен.

Ну, что ж!
Прости, родной приют.
Чем сослужил тебе — и тем уж я доволен.
Пушай меня сегодня не поют, —
Я пел тогда, когда был край мой болен.

Приемлю все.
Как есть все принимаю.
Готов итти по выбитым следам.
Отдам всю душу Октябрю и Маю,
Но только лиры милой не отдам.

Я не отдам ее в чужие руки —
Ни матери, ни другу, ни жене.

Лишь только мне она свои вверяла звуки
И песни нежные лишь только пела мне.

Цветите, юные! И здоровейте телом!
У вас иная жизнь; у вас другой напев.
А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

1924

* * *

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник—
Пройдет, зайдет и вновь оставит дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль.
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растроченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.

Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

1924

* * *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю:
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра; тише ванских струй:
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое «поцелуй»?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая:
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она «моя»?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуй веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
«Ты моя» — сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

Свет шафранный вечернего края.
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен.
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женищин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце.
Ведь и так коротка наша жизнь.
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеньет твоя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям,
Тихо розы бегут по полям.

1924

Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся.
Хорошо с любимой в поле затеряться.

Ветерок веселый робок и застенчив,
По равнине голой катится бубенчик.

Эх, вы, сани, сани! Конь ты мой буланный!
Где-то на поляне клен танцует пьяный.

Мы к нему подъедем, спросим — что такое?
И станцуем вместе под тальянку трое.

1925

АННА СНЕГИНА

(Из поэмы)

Иду голубою дорожкой.
И вижу — навстречу мне
Несется мой мельник на дрожках
По рыхлой еще целине.
— Сергуха! За милую душу!
Постой, я тебе расскажу!
Сейчас! Дай поправить вожжу,
Потом и тебя оглоушу.
Чего ж ты мне утром ни слова?
Я Снегиным так и бряк!
Приехал ко мне, мол, веселый
Один молодой чудак.
(Они ко мне очень желанны,
Я знаю их десять лет.)
А дочь их замужня Анна
Спросила:
— Не тот ли, поэт?
— Ну, да, — говорю, — он самый.
— Блондин?
— Ну, конечно, блондин!
— С кудрявыми волосами?
— Забавный такой господин!
— Когда он приехал?
— Недавно.
— Ах, мамочка, это он!
Ты знаешь,
Он был забавно
Когда-то в меня влюблен.
Был скромный такой мальчишка,

А ныне...
Поди же ты...
Вот...
Писатель...
Известная шишка...
Без просьбы уж к нам не придет.

И мельник, как будто с победы,
Лукаво прищурил глаз.
— Ну, ладно. Прощай до обеда!
Другое сдержу про запас.

Я шел по дороге в Криушу
И тростью слибал зелены.
Ничто не пробилось мне в душу,
Ничто не смутило меня.
Струилися запахи сладко,
И в мыслях был пьяный туман...
Теперь бы с красивой солдаткой
Завесть хорошо бы роман.

Но вот и Криуша...
Три года
Не зрел я знакомых крыш.
Сиреневая погода
Сиренью обрызгала тишь.
Не слышно собачьего лая,
Здесь нечего, видно, стеречь, —
У каждого хата гнилая,
А в хате ухваты да печь.
Гляжу на крыльце у Прона
Горластый мужицкий галдеж.
Толкуют о новых законах,
О ценах на скот и рожь.
— Здорово, друзья!
— Э, охотник!
— Здорово, здорово!
Садись!
Послушай-ка ты, беззаботник,
Про нашу крестьянскую жисть.
Но все ж мы тебя не порочим,
Ты — свойский, мужицкий, наш,
Бахвалишься славой не очень
И сердце свое не продашь.

Бывал ты к нам зорким и рьяным,
Себя вынимал на испод...

Скажи:

Отойдут ли крестьянам
Без выкупа пашни господ?
Кричат нам,
Что землю не троньте,
Еще не настал, мол, миг.
За что же тогда на фронте
Мы губим себя и других? —
И каждый с улыбкой угрюмой
Смотрел мне в лицо и в глаза,
А я, отягченный думой,
Не мог ничего сказать.
Дрожали, качались ступени,
Но помню

Под звон головы:

— Скажи,

Кто такое Ленин?

Я тихо ответил:

— Он — вы.

.
И вот я опять в дороге.
Ночная июльская хмарь.
Бегут говорливые дроги
Ии шатко, ни валко, как встарь.
Дорога довольно хорошая,
Равнинная тихая звень.
Луна золотою порошею
Осыпала даль деревень.
Мелькают часовни, колодцы,
Околицы и плетни.
И сердце по-старому бьется,
Как билось в далекие дни.

Я снова на мельнице...

Ельник

Усыпан свечьми светляков.

По-старому старый мельник

Не может связать двух слов.

— Голубчик! Вот радости! Сергуха!

Озяб, чай? Поди, продрог?

Да ставь ты скорее, старуха,

На стол самовар и пирог!

Сергуны! Золотой! Послушай!

.

И ты уж старик по годам...

Сейчас я за милую душу

Подарок тебе передам.

— Подарок?

— Нет...

Просто письмишко.

Да ты не спеши, голубок!

Почти что два месяца с лишком

Я с почты его приволок.

Вскрываю... читаю... Конечно!

Откуда же больше и ждаты!

И почерк такой беспечный,

И лондонская печать.

«Вы живы... Я очень рада...

Я тоже, как вы, жива.

Так часто мне снится ограда,

Калитка и ваши слова.

Теперь я от вас далеко...

В России теперь апрель,

И синею заволокой

Покрыта берега и ель.

Сейчас вот, когда бумаге

Вверяю я грусть моих слов,

Вы с мельником, может, на тяге

Подслушиваете тетеревов.

Я часто хожу на пристань

И, то ли на радость, то ль в страх,

Гляжу среди судов все пристальней

На красный советский флаг.

Теперь там достигли силы.

Дорога моя ясна...

Но вы мне попрежнему милы,

Как родина и как весна...»

.

Письмо, как письмо.

Беспричинно.

Я в жисть бы таких не писал.

Попрежнему с шубой овчинной

Иду я на свой сеновал.

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Погорбившийся плетень.
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет,
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: «Нет!»

Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.

Мы все в эти годы любили.
Но, значит,
Любили и нас.

1925

СОБАКЕ КАЧАЛОВА

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, беспшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил, и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою, доверчивой приятцей,
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и не всяких было.

Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

1925

* * *

Каждый труд благослови удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Воду пьют из кружек и стаканов,
Из кувшинок также можно пить —
Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

Хорошо лежать в траве зеленой
И, впиваясь в призрачную гладь,
Чей-то взгляд, ревнивый и влюбленный,
На себе, уставшем, вспоминать.

Коростели свищут... коростели...
Потому так и светлы всегда
Те; что в жизни сердцем опростели
Под веселой ношею труда.

Только я забыл, что я — крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.

Словно жаль кому-то и кого-то,
Словно кто-то к родине отвык,
И с того, поднявшись над болотом,
В душу плачут чибис и кулик.

1925

Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь,
Как ласку новую приемлю.

И потому, что я постиг
Всю жизнь, пройдя с улыбкой мимо, —
Я говорю на каждый миг,
Что все на свете повторимо.

Не все ль равно — придет другой,
Печаль ушедшего не сгложет,
Оставленной и дорогой
Пришедший лучше песню сложит.

И, песне внемля в тишине,
Любимая, с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.

1925

Спит ковыль. Равнина дорогая
И свинцовой свежести полынь.
Никакая родина другая
Не волеет мне в грудь мою теплынь.

Знать, у всех у нас такая участь,
И, пожалуй, всякого спроси, —
Радуюсь, свирепствуя и мучась,
Хорошо живется на Руси.

Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.

И теперь, когда вот новым светом
И моей коснулась жизнь судьбы,
Все равно остался я поэтом
Золотой бревенчатой избы.

По ночам, прижавшись к изголовью,
Вижу я, как сильного врага,
Как чужая юность брызжет новью
На мои поляны и луга.

Но и все же, новью той теснимый,
Я могу прочувственно пропеть:
Дайте мне на родине любимой,
Все любя, спокойно умереть!

1925

* * *

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, —
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

По дорогам усохшие вербы
И тележная песня колес...
Ни за что не хотел я теперь бы,
Чтоб мне слушать ее привелось.

Гавнодушен я стал к лачугам,
И очажный огонь мне не мил.
Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Мне теперь по душе иное...
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны.

Полевая Русь! Довольно
Волочиться сохой по полям!
Нищету твою видеть больно
И березам, и тополям.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гоюсь,
Но и все же хочу стальною
Видеть бедную; нищую Русь.

И, внимая моторному лаю
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

1925

Борис ПАСТЕРНАК



КРЕМЛЬ В БУРАН КОНЦА 1918 ГОДА

Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам,
Бредущий через силу в валяных,

Как пред концом в упаде сил
С тоски взывающий к метелице,
Чтоб вихрь души не угасил.
К поре, как тьмою, все застелется.

Как схваченный за обшлага
Хохочущею вьюгой нарочный,
Ловящей кисти башлыка,
Здороваящуюся в наручнях.

А иногда! — А иногда,
Как пригнанный канатом накороть
Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
Срывающийся чудом с якоря,

Последней ночью, несравним
Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
На нынешней срывает ненависть.

И грандиозный, весь в былом,
Как визионера дивинация,
Несется, грозный, напролом,
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

Под сумерки к тебе в окно
Он всею медью звонниц ломится.
Бойтся, видно, — год мелькнет, —
Упустит и не познакомится.

Остаток дней, остаток вьюг,
Сужденных башням в восемнадцатом,
Бушует, прядает вокруг, —
Видать, не наигрались насыто.

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнова воспитывать.
1919

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД

(Из поэмы)

В напу прозу с ее безобразьем
С октября забредает зима.
Небеса опускаются наземь,
Точно занавеса бахрома.

Еще спутан и свеж первоуток,
Еще чуток и жуток, как весть;
В неземной новизне этих суток,
Революция, вся ты, как есть.

Жанна д'Арк из сибирских колодниц,
Каторжанка в вождах, ты из тех,
Что бросались в житейский колодец,
Не успев соразмерить разбег.

Ты из сумерек социалистка,
Секла свет, как из груди огнив,
Ты рыдала, лицом василиска
Озарив нас и оледенив.

Отвлеченная грохотом стрельбищ,
Оживающих там, вдалеке,
Ты огни в отчуждении колеблешь,
Точно улицу вертишь в руке.

И в блуждании хлопьев кутежных
Тот же гордый, уклончивый жест:
Как собой недовольный художник,
Отстраняешься ты от торжеств.

Как поэт, отпылав и отдумав,
Ты рассеянья ищешь в ходьбе.
Ты бежишь не одних толстосумов:
Все ничтожное мерзко тебе.

О Т Ц Ы

Это было при нас,
Это с нами вошло в поговорку.
И уйдет.
И, однако,
За быстрою сменой лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.
Еще ночь под ружьем,
И заря не взялась за винтовку.
И, однако,
Вглядимся:
На деле гораздо светлей.
Этот мрак под ружьем
Погружен
В полусон
Забастовкой.
Эта ночь —
Наше детство
И молодость учителей.
Ей предшествует вечер
Крушений,
Кружков и героев,
Динамитчиков,
Дагерротипов,
Горенья души.
Ездят тройки по трактам,
Но, фабрик по трактам настроив,
Подымаются Саввы,
И зреют Викулы в глуши.

Барабанную дробь
Заглушают сигналы чугулки.

Гром позорных телег —
Громыхание первых платформ.
Крепостная Россия
Выходит
С короткой приструнки
На пустырь
И зовется
Россиєю после реформ.

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится,
Точно во сне.

Да и ближе нельзя:
Двадцатипятилетье — в подпольи.
Клад — в земле.
На земле —
Обездушенный калейдоскоп.
Чтобы клад отконать,
Мы глаза
Напрягаем до боли.
Покорясь его воле,
Спускаемся сами в подкоп.
Тут бывал Достоевский.
Затворницы ж эти,
Не чаяв,
Что у них
Что ни обыск,
То вывоз реликвий в музей,
Шли на казнь
И на то,
Чтоб красу их подпольщик Нечаев
Скрыл в земле,
Утаил
От времен и врагов и друзей.

Это было вчера.
И, родись мы лет на тридцать раньше,
Подойди со двора, —
В керосиновой мигле фонарей,
Средь мерцанья реторт
Мы нашли бы,
Что те лаборантши —
Наши матери
Или
Приятельницы матерей.

Моросит на дворе.
Во дворце улеглась суматоха.
Тухнут плошки.
Теплынь.
Город вымер и словно оглох.
Облетевшим листом
И кладбищенским чертополохом
Дышит ночь.
Ни души.
Дремлет площадь,
И сон ее плох.

Но положенным слогом
Писались и нынче доклады,
И в неведеньи бед
За Невою пролетка гремит.
А сентябрьская ночь
Задыхается
Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.

Эта ночь простоит
В забытии
До времен Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в вояки эшафот.
Шопот жертв и депеш,
Участясь,
Усыпит агентуру,
И тогда-то придет
Та зима,
Когда все оживет.
Мы родимся на свет.

Как-нибудь
Подвечернее солнце
Подзовет нас к окну.
Мы одухотворим наугад
Непривычный закат,
И при зрелище труб
Потрясемся,
Как потрясся,
Кто б мог
Оглянуться лет на сто назад.
Точно Лаокоон
Будет дым
На трескучем морозе,
Оголясь,
Как атлет,
Обнимать и валить облака.
Ускользящий день
Будет плыть
На железных полозьях
Телеграфных сетей,
Открывающихся с чердака.
А немного спустя,
И светя, точно блудному сыну,
Чтобы шею себе
Этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь
И с небес
Будут бить ему в спину
Фонари корпусов
Сквозь туман,
Полоса к полосе.

ДЕТСТВО

Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще — школа ваянья.
В том крыле, где рабфак,
Наверху, —
Мастерская отца.
В расстоянья версты,
Где столетняя пыль на Диане
И холсты, —
Наша дверь.

Пол из плит,
И на плитах грязца.
Это — дебри зимы.
С декабря воцаряются лампы.
Порт-Артур уже сдан.
Но идут в океан крейсера,
Шлют войска,
Ждут эскадр,
И на старое зданье почтамта
Смотрят сумерки,
Краски
Палитры
И профессора.

Сколько типов и лиц
Вот душевнобольной.
Вот тупица.
В этом теплится что-то.
А вот совершенный щенок.
В классах яблоку негде упасть.
И жара, как в теплице.
Звон у Флора и Лавра
Сливается с шарканьем ног.

Как-то раз,
Когда шум за стеной,
Как прибой, неослабен,
Омут комнат недвижим
И улица газом жива, —
Раздается звонок,
Голоса приближаются:
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!
Близость праздничных дней.
Четвертные.
Конец полугодья.
Искрясь струнным нутром,
Дни и ночи
Открыт инструмент.
Сочиняй хоть с утра.
Дни идут,
Рождество на исходе.
Сколько отдано елкам!
И хоть бы вот столько взамен.

Петербургская ночь.
Воздух пучится черною льдиной
От иглистых шагов.
Никому не чинится препон.
Кто в пальто, кто в тулупе.
Луна холодеет полтиной.
Это в Нарвском отделе.
Толпа раздается:
Гапон.

В зале гул.
Духота.
Тысяч пять сосчитали деревья.
Сеясь с улицы в сени,
По лестнице лепится снег.
Здесь родильный приют.
И в некрашеном сводчатом чреве
Бьется об стены комнат,
Комком неприкрашенным,
Век.

Пресловутый рассвет.
Облака в куманике и клюкбе.
Слышен скрип галлерей,
И клубится дыханье помой.
Выбегают, идут
С галлерей к воротам,
Под хоругви,
От ворот — на мороз,
На простор,
Подожженный зимой.

Восемь громких валов,
И девятый,
Как даль, величавый.
Шапки смыты с голов.
Спаси, господи, люди твоя.
Слева — мост и канава,
Направо — погост и застава,
Сзади — лес,
Впереди —
Передаточная колея.
На Каменноостровском.
Панели стоят на ходулях.
Смотрят с тумб и киосков.

За шествием плещется хвост
Разорвавших затвор
Перекрестков
И льющихся улиц.
Демонстранты у парка.
Выходят на Троицкий мост.
Восемь залпов с Невы,
И девятый,
Усталый, как слава.
Это...
(Слева и справа
Несутся уже на рысях.)
Это...
(Дали орут:
Мы сочтемся еще за расправу.)
Это рвутся
Суставы
Династии данных
Присяг.

Тротуары в бегущих.
Смеркается.
Дню не подняться.
Перекату пальбы
Отвечают
Пальбой с баррикад.
Мне четырнадцать лет.
Через месяц мне будет пятнадцать.
Это дни, как дневник.
В них читаешь,
Открыв наугад.

Мы играем в снежки,
Мы их мнем из валяющихся с неба
Единиц
И снежинок,
И толков, присущих поре.
Этот оползень царств,
Это пьяное падение снега: —
Гимназический двор
На углу Поварской
В январе.

Что ни день, то метель.
Те, что в партии,

Смотрят орлами.
Это в старших.
А мы:
Безнаказанно греку дерзим,
Ставим парты к стене,
На уроках играем в парламент
И витаем в мечтах
В нелегальном районе Грузин.

Снег идет третий день.
Он идет еще под вечер.
За ночь
Проясняется.
Утром —
Громовой раскат из Кремля!
Попечитель училища...
Насмерть...
Сергей Александрыч...
Я грозу полюбил
В эти первые дни февраля.

1926

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

(Из поэмы)

Октябрь. Кольцо забастовок.
О ветер! О ада исчадь!
И моря, и грузов, и клад
Летающие пряди.
О буря брошюр и листовок!
О слякоть! О темень! О зовы
Сирен, и замки, и засовы
В начале шестого.

От тюрем — к брошюрам и бурям.
О ночи! О вольные речи!
И залпам навстречу — увечья
Отвесные свечи!

О кладбище в день погребенья!
И в лад лейтенантовой клятве
Заплаканных взглядов и платьев

Кивки и обьятъя!
О лестницы в крепе! О пенье!
И хором, в ответ незнакомцу,
Стотысячной бронзой о бронзу:
«Клянитесь!» — «Клянемся!»

О вихрь, обрывающий фразы,
Как клены и вязы! О ветер,
Щадающий из связей на свете
Одни междометья!
Ты носишь бушующей гладью:
«Потомства и памяти ради,
Ни пяди обратно! Клянитесь!..» —
«Клянемся. Ни пяди...»

Вырываясь с моря из-за почты,
Ветер прет наощупь, как слепой,
К повороту, несмотря на то, что
Тотчас же сшибается с толпой.
Он приперт к стене ацетиленом,
Взоптан в грязь, и, несмотря на то,
Трын-трава и — море по колено:
Дует дальше с той же прямотой.
Вот он бьется, обваривши харю,
За косою рамой фонаря
И уходит, вынырнув на паре
Торопливых крыл нетопыря.

У матросов, несмотря на пору
И порывы ветра с пустыря,
На дворе казармы — шум и споры
Этой темной ночью ноября.
Их галдит за тысячу, и каждым,
Точно в бурю вешний буерак,
Разворочен, взрыт и взбудоражен
И буграми поднят этот мрак.
Пахнет волей, мокрою картошкой,
Пахнет почвой, норками кротов,
Пахнет штормом, несмотря на то, что
Это шторм в открытом море ртов.
Тары-бары, шутки балагура,
Слухи, толки, шарканье подошв

Так и ходят вокруг одной фигуры,
Как распространившийся падёж.
Ходит слух, что он у депутатов,
Ходит слух, что едет в комитет,
Ходит слух, — и вот как раз тогда-то
Нарастает что-то в темноте,
И, глуша раскатами догадки
И сметая со всего двора
Караулки, будки и рогатки,
Катится и катится ура.

С первого же сказанного слова
Радость покидает берега.
Он дает улечься ей, и снова
Удесятерляет ураган.
Долго с бурей борется оратор.
Обожанье рвется на простор.
Не словами, — полной их утратой
Хочет жить и дышит их восторг.
Это объяснение исполинов.
Он и двор обходятся без слов.
Если с ними флаг, то он — малинов.
Если мрак за них, то он — лилов.
Все же раз доносится: эскадра.
Это с тем, чтоб братья, да с умом.
И потом другое слово: завтра.
Это, верно, о себе самом...

В видимой призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт
И купаясь, как в росе,
Оторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебезит
Утренняя зыбь.
Каждый еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.
Он скрылся, как от колотушек,
В молочно-белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья.
Но чем он с панталыку сбит?

С утра на суше — муравейник.
В тумане тащатся войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.
Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатою полевой
Артиллерийскою бригадой
И — проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег,
И — грохот, грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.
На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом бывлых аварий, —
Донцы и Крымский дивизион.

И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.
Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах,
И ковш Приморского бульвара,
И спуска каменный черпак.
Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птпц,
Копящих силы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.

Когда сбежали испаренья,
И солнце, колыхнувши флот,

Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,
В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара — крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как залп, стегнул
Трехверстовой гранит,
И откатился с плит.
Ура — ударом в борт, в штурвал,
В бушприт!
Ура навеки, наповал,
Навзрыд!
Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. Ш М И Д Т.

Он вырвался, как вздох
Со дна души рядом,
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.
Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. Ш М И Д Т.

И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И перехвачен второпях
На двух — на трех — на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков
И облетает лес флажков,

И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползающий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский — томящ,
Как рок...

Скамьи, пашки, выпускка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм.
Чтение, чтение, чтение, несмотря на
Головокружение; несмотря
На пары нашатыря и приный
Пьяный запах слез и валерьяны,
Чтение без пенья тропаря,
Рама, и жандармы-ветераны,
Шаровары и кушак царя,
И под люстрой зайчик восьмигранный.

Чтение, несмотря на то; что рано
Или поздно, сами, будет день,
Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капли внешней дребедень.
Будут схватки астмы. Будет чтение,
Чтение, чтение без конца и пауз.

Версты обвинительного акта.
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль Нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы, — да минуй озноб!
Мысль о казни — топи непролазней:
С лавки съедешь, с головой увязнешь,
Двинешься, чтоб вырваться, и — хлоп.
Тормошат повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах — таска на гауптвахту
Плотной кучей, в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осадил
Утки — крякать, курицы — кудахтать,
Свист нагаек, — взбрызги колеи.
Это небо, пахнущее как-то
Так, как будто день, как масло, спаштан!
Эти лица, и в толпе — свои!
Эти бабы, плачущие в плахтах!
Пики, гики, крики: осадил!

Кому-то стало дурно.
Казалось, жуть минуты
Простерлась от Кинбурна
До хуторов и фольварков
За мысом Тарканхутом.
Послышалось сморканье
Жандармов и охранников,
И жилы вздулись жолвями
На лбах у караульных.
Забывши об уставе,
Конвойные отставили
Полуживые ружья
И терли кулаками
Трясущиеся скулы.

При виде этой вольности
Кто-то безотчетно
Полез уж за револьвером,
Но так и замер в позе
Предчувствия чего-то,
Похожего на бурю,
С рукой на кобуре.
Волнение предгрозя
Окуталось удушьем,
Давно уже идущим
Откуда-то от Ольвии.

И вот он поднялся.
Слепой порыв безмолвия
Стянул гусиной кожей

Тапы и пояса,
И, протавившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За паузы и шапки,
Заполз под волоса.

И точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!» — крикнул кто-то,
Не вынеси тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я — часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, — мученики догмата,
Вы тоже — жертва века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду и не теряю.

В те дни, — а вы их видели
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.
Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории,
И радуюсь избранью».

Двум из осужденных, а всех их было четверо,—
Думалось еще — из четырех двоим.
Ветер гладил звезды горячо и жертвенно
Вечным чем-то, чем-то зияющим своим.

Распростившись с ними, жизнь брела по дамбе,
Удаляясь к людям в сиящий городок.
Неизвестность вздрагивала плавниками камбалы.
Тихо, миг за мигом, рос ее приток.

Близился конец, и не спалось тюремщикам.
Быть в тот миг могло, примерно, два часа.
Зыбь переминалась, пожирая жемчуг.
Так, чем свет, в конюшнях дремлет хруст овса.

Остальных пьянила ширь весны и каторги.
Люки были настезь, и, точно у миног,
Округлясь, дышали рты иллюминаторов.
Транспорт колыхался, как сонный осьминог.

Вдруг по тьме мурашками пробежал прожектор.
«Прут» зевнул, втянув тысячеперстье лап.
Свет повел ноздрями, пробираясь к жертвам.
Заскрипели петли. Упал железный трап.

Это канонерка пристала к люку угольному.
Свет всадил с шипеньем внутрь свою иглу.
Клетку ослепила. Отпрянули испуганно.
Путанься костями в цепях, забились вглубь.

Но затем, не в силах более креститься,
Бросились к решетке, коясь о сноп лучей
И крича: «Не мучьте! Кончайте, кровопийцы!» —
Потянулись с дрожью в руки палачей.

Счет пошел на миги. Крик: «Прощай, товарищи!»
Породил содом. Прожектор побегал,
Окунаясь в вопли, по люкам, лбам и наручням,
И пропал, потушенный рыданьем каторжан.

«ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ»

(Из поэмы)

Чем мне закончить мой отрывок?
Я помню, говорок его
Пронзил мне искрами загривок,
Как шорох молнии шаровой.
Все встали с мест, глазами втуне
Обшаривая крайний стол,
Как вдруг он вырос на трибуне
И вырос раньше, чем вошел.
Он проскользнул неуследимо
Сквозь строй препятствий и подмог,
Как этот, в комнату без дыма
Грозы влетающий комок.

Тогда раздался гул оваций,
Как облегченье, как разряд
Ядра, не властного не рваться
В кольцо поддержек и преград.
И он заговорил. Мы помним
И памятники павшим чтим.
Но я о мимолетном. Что в нем
В тот миг связалось с ним одним?

Он был, как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет.
Слова могли быть о мазуте,
Но корпуса его изгиб
Дышал полетом голой сути,
Прорвавшей глупый слой лузги.
И эта голая картавость
Отчитывалась вслух во всем,
Что кровью былей начерталось:
Он был их звуковым лицом.
Когда он обращался к фактам,
То знал, что, полоща им рот
Его голосовым экстрактом,
Сквозь них история орет.
И вот, хоть и без панибратства,
Но и вольней, чем перед кем,
Всегда готовый к ней придраться,
Лишь с ней он был накоротке.

Столетний завистью завистлив,
Ревнив их ревностью одной,
Он управлял теченьем мыслей
И только потому — страной.

1928

ВОЛНЫ
(Отрывки)

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в обраа
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей, —
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома,
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень, просто страсть!
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять, опавшей сердца мышцей,
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты, как стих, меня зазубришь,
Как быль, запомнишь наизусть...

.

Зовите это, как хотите,
Но все кругом одевший лес
Бежал, как повести развитие,
И сознавал свой интерес.

Он брал не фауной фазаньей,
Не сказочной осанкой скал, —
Он сам пленял, как описание,
Он что-то знал и сообщал.

Он сам повествовал о плене
Вещей, вводимых не на час,
Он плыл отчетом поколений,
Служивших за сто лет до нас.

Шли дни, шли тучи, били зорю,
Седлали, повскакавши с тахт,
И в горы рощами предгорья
И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,
Тьмы крепостных и тьмы служак,
Тьмы ссыльных — имена и семьи,
За родом род, за шагом шаг.

За годом год, за родом племя,
К горам во мгле, к горам под стать,
Горянкам за чадрой в гареме,
За родом род, за пядью пядь.

И в неизбывное насилье
Колонны, шедшие извне,
На той войне черту вносили,
Невиданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,
Что кто-то посылал их в бой?
Или, влюбляясь в эту землю,
Он дальше влекся сам собой?

Страны не знали в Петербурге,
И, влясь, как на сноху свекровь,
Жалели сына в глупой бурке
За чортову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,
Как ревность в матери, — но тут
Овладевали ей, как жизнью,
Или как женщину берут.

.

Мы были в Грузии. Помножим
Нужду на нежность, ад на рай,
Теплицу льдам возьмем подножьем,
И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах
С землей и небом входят в смесь
Успех, и труд, и долг, и воздух,
Чтоб вышел человек, как здесь.

Чтобы, сложившись средь бескормиц,
И поражений, и неволь,
Он стал образчиком, оформясь
Во что-то прочное, как соль.

Кавказ был весь, как на ладони,
И весь, как смятая постель,
И лед голов синел бездонней
Тепла нагретых пропастей.

Туманный, не в своей тарелке,
Он правильно, как автомат,
Вздыхал, как залпы перестрелки,
Злорадство ледяных громад.

И в эту красоту уставясь
Глазами бравших край бригад,
Какую ощутил я зависть
К наглядности таких преград!

О, если б нам подобный случай.
И из времен, как сквозь туман,
На нас смотрел такой же кручей
Наш день, наш генеральный план!

Передо мною днем и ночью
Шагала бы его пята.
Он мjal бы дождь моих пророчеств
Подожвой своего хребта.

Ни с кем не надо было б грызться,
Незаподозренный никем,
Я вместо жизни виршеписца
Повел бы жизнь самих поэм.

.

Ты рядом, даль социализма,
Ты скажешь — близь? Средь тесноты,
Во имя жизни, где сошлись мы, —
Переправляй, но только ты.

Ты куришься сквозь дым теорий,
Страна вне сплетен и клевет.
Как выход в свет и выход к морю,
И выход в Грузию из Млет.

Ты край, где женщины в Путивле
Зегзицами не плачут впредь,
И я всей правдой их счастливлю,
И ей не надо прочь смотреть.

Где дышат рядом эти обе,
А крючья страсти не скрипят
И не дают в остатке дробь,
К беде родивших и ребят.

Где я не получаю сдачи
Разменным бытом с бытия,
Но значу только то, что трачу,
А трачу все, что знаю я.

Где голос, посланный вдогонку
Необоримой новизне,
Весельем моего ребенка
Из будущего вторит мне.

1931

* * *

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом — и убьют!

От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.

Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

1931

* * *

Всчерело. Повсюду ретиво
Рос орешник. Мы вышли на скат.
Нам открылась картина на диво.
Отдышась, мы взглянули назад.

По краям пропастей куролеса,
Там, как прежде, при нас, напролом
Совершало подъем мелкоколесье,
Попирая гнилой бурелом.

Там, как прежде, в фарфоровых гнездах
Колченого хромал телеграф,
И дышал, и карабкался воздух,
Грабов головы кверху задрав.

Под прорешливой сенью орехов,
Там, как прежде, в петливой красе
По заре вечеревшей проехав,
Колесило и рдело шоссе.

Каждый спуск и подъем что-то чуял,
Каждый столб вспоминал про разбей,
И, все тулово вытянув, буйвол
Голым дьяволом плыл под арбой.

А вдали, где, как змеи на яйцах,
Тучи в кольца свивались, — грозней,
Чем бывшие набеги нагайцев,
Стлались цепи китайских теней.

То был ряд усыпальниц в завесе
Заметенных снегами путей,
Закулисы того поднебесья,
Где томился и мерк Прометей.

Как усонших представшие души,
Были все ледники налицо.
Солнце тут же японскою тушью
Переписывало мертвецов.

И тогда, вчетвером на отвесе,
Как один, заглянули мы вниз.
Мельтеша, точно чернь на эфесе,
В глубине шевелился Тифлис.

Он так полно осмеивал сферу
Глазомера и все естество,
Что возник и остался химерой,
Точно град не от мира сего.

Точно там, откупаяся данью,
Длился век, когда жизнь замерла
И горячие серные бани
Из-за гор воевал Тамерлан.

Будто вечер, как встарь, его вывел
На равнину, под персов обстрел,
Он малиною кровель червивел
И, как древнее войско, пестрел.

1931

СТРАШНАЯ СКАЗКА

Все переменится вокруг,
Отстроится столица.
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться страх,
Изборождавший лица.
Сторицей должен будет враг
За это поплатиться.

Когда-нибудь его приход
Сочтут за небылицу.
За вдов, увечных и сирот
Заплатит он сторицей.

Запомнится его обстрел,
Сполна зачтется время,
Когда он делал, что хотел,
Как Ирод в Вифлееме.

Настанет новый лучший век,
Исчезнут очевидцы.
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

1941

Николай АСЕЕВ



МАРШ БУДЕННОГО

С неба полуденного
жара не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Все, что мелкой пташкою
вьется на пути,
перед острой пташкою
в сторону лети.

Не сынки у маменек
в помещичьем дому,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

И не древней славою
наш выводок богат, —
сами литься лавою
учились на врага.

Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку, —
смеем рысью частою
их эскадрон в муку.

Будет белым помниться,
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.

Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним обоймы
для белых черепов.

Пусть уздечки звякают
памятью о нем,
так растопчем всякую
гадину конем.

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного
армия — вперед!

1922

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

1

Читатель, стой!

Здесь часового будка...
Здесь штык и крик.

И лозунг. И пароль.
А прежде —

здесь синела незабудка
веселою мальчишеской порой!
Не двигайся!

Ты, может быть,
лазутчик,
из тех, кто руку жмет,
кто маслит глаз,
кто лагерь наш
разделит и разучит,

а после
бьет свинцом враждебных фраз.

Кто,
лаковым предательством играя,
по виду — покровительствует нам,
чья наглая уступчивость — без края,
чье злобное презрение — без дна.
Вот он идет,

уверенно шагая,
с подглазьями, опухшими во сне,
и думает, что песнь моя нагая
его должна стесняться и краснеть!..
Скопцы, скопцы!

Куда вам песни слушать!

Вы думаете,
 это так легко,
 когда
 до плеч пузырястые уши
 разбухли золотухою веков!
 Вот он идет...
 Кружи его без счета!
 Гони его по лабиринту рифм!
 Глуши его,
 громи огнем чечеток,
 травни его,
 чтоб стал он глух и крив!..
 А если друг —
 возьми его за локоть
 и медленной походкой проведи,
 без выкупа, без всякого залога,
 туда, где мы
 томимся, победив!
 Отсюда вот —
 с лирических позиций,
 не изменив,
 но изменясь в лице, —
 мне выгодней тревожить, и грозиться,
 и обходить раскинутую цепь.
 Мы здесь стоим
 против шестидюймовых,
 отпрыгивающих, визжа, назад,
 мы здесь стоим
 против шеститомовых,
 петитом
 ослепляющих глаза.
 Читатель, стой!
 Здесь окрик и граница:
 здесь вход и форт,
 не конченный еще;
 со следующей он открыт страницы.
 И только — грудью защищен!

2

Ни сердцем,
 ни силою —
 не хвастай...
 Об этом лишь в книгах умно!

А встретясь с такой вот, бровастой,
И станешь ходить, как чумной.
От этой улыбки суровой,
от павшей

до полу

косы

порывами ветра сырого
задышит апрельская синь.

От этой беды

тонколицей,

где

жизни глухая игра,
дождям и громам перелиться
через горизонтовый край.

И вскинет

от слова простого,
прямившего вкось ковыли,
курьерская ночь до Ростова
и слесами звезд шевелить.

Ничем —

ни стихом,

ни рассказом,

ни самой судьбой ветровой —
не будешь так скомкан

и разом

распластан вровень с травой.

Тебе бы — не повесть,

а поезд.

Тебе б —

не рассказ,

а раскат,

чтоб

мчать, навивая

на пояс,

и стран

и событий каскад.

Вот так

на крутом виадуке,
завидевши дальний дымок,
бровей загудевшие дуги
понять

и запомнить я б смог.

Без горечи, зависти, злобы
следил бы
 издалека,
как в черную ночь
 унесло бы
порывы паровика!
А что мне вокзальный порядок,
на миг
 вас сковавший со мной
припадками всех лихорадок,
когда я
 и сам
 как чумной?!

3

Скажешь:
 Вона!
 Заныл опять!
Ты глумишься,
а мне не совестно.
Можно с каждой жепициной спать,
не для каждой — встаешь в бессоннице.
Хочешь, вновь я тебе расскажу
по порядку,
 как это водится?
Ведь каким я теперь брожу,
и тебе как-нибудь забродится!
Все вокруг
 зацветет, грустя,
словно в дальние страны едучи,
станет явен .
 всякий пустяк
каждой поры в лице и клеточки.
Руку тронешь —
 она одна
отзовется
 за всех и каждого,
выжмет с самого сердца дна
дрожь удара
 самого важного.
Станешь таять,
 как снег в воде, —
не качай головой, пожалуйста, —

даже если б ты был злодей,
все равно — затрясет от жалости.
Тьма ресниц и предгрозы губ,
запылавших цветами в Фаусте...
Дальше —

даже и я не смогу
разобраться в летящем хаосе;
низко-низко к земле присев,
видишь, — вновь завываю кликушей;
я б с размера не сбился при всех,
да язык

досиня прикушен!

4

За эту вот площадь жилую,
за этот унылый уют
и мучат тебя, и целуют,
и шагу ступить не дают?!
Проклятая тихая клетка
с пейзажем,

примерзшим к окну,
где полною грудью

так редко,
так медленно

можно вздохнуть.
Проклятая черная яма
и двор с пожелтевшей стеной!
Ответь же, как другу,

мне
прямо, —
какой тебя взяли ценой?

Молчи! Все равно не ответишь,
не сложишь заученных слов,
не мало

за это на свете
потеряно буйных голов.
Молчи!

Ты не сломишь обычай,
пока не сойдешься с одним —
не ляжешь покорной добычей
хрустеть, выгибаясь под ним!
Да разве тебе растолкуешь,

что это —

в стотысячный раз
придумали муку такую,
чтоб цвел полосатый матрас.

Чтоб ныло усталое тело,
распластанное поперек,
чтоб тусклая маска хрипела
того, кто тебя изберет!

И некого тут виноватить:
как горы, —

встают этажи,
как громы, —
пружины кроватей,

и —
надобно ж как-нибудь жить!

Так, значит —
вся молодость басней
была,

и помочь не придут,
и день ожидания сгаснет
в неясном рассветном бреду?

Но кто-нибудь сразу,
вчистую
расплатится ж

блеском ножа
за эту вот

косу густую,
за губ остывающий жар?

5

От двенадцати до часу
мне всю жизнь к тебе стучаться!
Не по жиле телефона,
не по кодексу закона,
не по силе,

не по праву,
сквозь железную оправу.

Даль весенняя, сквозная,
я тебя другую знаю:
я тебя видал такую,
что не двинуться рукою,

Он забьет,
измучит,
изранит
и сживет со света,
в жизни или на экране, —
все равно мне это!
И она загрустит,
закрутит,
переменит званье,
разбазарит глаза и груди
и в старуху свянет!

7

Нет,
ты мне совсем не дорогая;
милые такими не бывают...
Сердце от тоски оберегая,
зубы сжав,
их молча забывают.
Ты глядишь —
меня не понимая,
слушаешь —
не видя и не веря,
даже в этой дикой сини мая
видя жизнь —
как смену киносерий.
Целый день лукавя и фальшивя,
грустные выдумывая штуки,
вдруг —
взметнешь ресницами большими,
вдруг —
сведешь в стыде и страхе руки.
Если я такой тебя забуду,
если зубом прокушу я память —
никогда
к сиреневому гуду
не итти сырыми мне тропами.
«Я люблю, когда темнеет рано!» —
скажешь ты
и станешь как сквозная,
и на мертвой зелени экрана
только я тебя и распознаю.
И, веселье призраком пугая,
про тебя скажу, смеясь с другими:

— Эта —

мне совсем не дорогая!
Милые бывают не такими.

8

Убегая от слова прямого
и рассчитывая
каждый шаг,
сколько мы продержались зимовок,
так называемая

душа?

Ты училась юлить
и лизаться,
норовила прожить без вреда,
ты во время мобилизаций
притворялась

идушей в рядах...

И когда колыхавшимся газом
плыли беды,

ты, так же ловча,
опрокинув и волю и разум,
залегала в дорожный ровчак.
В ряд с тобою был так благороден,
так прозрачен и виден на свет
даже серый, тупой оборотень,
изменяющий в непогодь цвет.
Где же взять тебе плавного хода,
вид уверенный,

явственный шаг,
ты, измятый, изломанный кодак,
так называемая душа?
Вот смешались поля и пейзажи,
все, что блеск твоих дней добывал,
и теперь —

ты засыпана заживо,
в черной страсти упавший обвал.
Что ж,

попробуй, поди, прояви-ка,
в этой пленке нельзя различить,
чьи глаза, чьи слова там навькат,
чьих планет пересеклись лучи.
Как узнать там твой верный, любимый

облик жизни —

большой и цветной?

Горя хлористым золотом вымой
расплывающееся пятно.

Если песни бессильны, —

то прочь их,

слепорожденных жалких котят.

Видишь:

спрыгнуть с нависнувших строчек,
как с карниза лепного, хотят.

Если делаешь все вполовину, —

разрывайся ж и сам пополам!

О горячая лет пуповина,

о гремящая

губ кабала!

1924

НЕ ЗА СИЛУ, НЕ ЗА КАЧЕСТВО

Не за силу, не за качество

золотых твоих волос

сердце враз однажды начисто

от других оторвалось.

Я тебя запомнил докрепка,

ту, что много лет назад

без упрека и без окрика

загляделась мне в глаза.

Я люблю тебя, — ту самую, —

все нежней и все тесней,

что, назвавшись мне Оксаною,

шла ветрами по весне.

Ту, что шла со мной и мучилась,

шла и радовалась дням

в те года, как вьюга вьючила

груз снегов на плечи нам.

В том краю, где сизой заметию

песня с губ летит, скользя,

где нельзя любить без памяти

и запеть о том нельзя,

где весна, схватившись за ворот,

от тоски такой устав,

хочет в землю лечь у явора,

у ракитова куста.

Нет, не сила и не качество
молодых твоих волос —
ты всему была заказчица,
что в строке отозвалось.

1925

ДЕКАБРИСТЫ

1

Раненым медведем
мороз дерет.
Санки по Фонтанке
летят вперед.
Полоз остер —
полосатит снег.
Чьи это там
голоса и смех?
— Руку на сердце
свое положи,
я тебе скажу:
— Ты не тронь палаша!
Силе такой
становясь поперек,
ты б хоть других —
не себя — поберег!

2

Белыми копытами
лед колотя,
тени по Литейному
дальше летят.
— Я тебе отвечу,
друг дорогой,
гибель не страшная
в петле тугой!
Позорней и гибельней
в рабстве таком
голову выбелив,
стать стариком.
Пора нам состукнуть
клинок о клинок:
в свободу — сердце
мое влюблено.

3

Розовые губы,
 витой чубук,
 синие гусары —
 пытай
 судьбу!
 Вот они, не сгинув,
 не умираю,
 снова
 собираются
 в номерах.
 Скинуты ментики,
 ночь глубока,
 ну-ка, запеньте-ка
 полный бокал!
 Пальцем и осуним,
 и станем трезвей:
 — За Южное братство,
 за юных друзей.

4

Глухие гитары,
 высокая речь...
 Кого им бояться
 и что им беречь?
 В них страсть закипает,
 как в пене стакан:
 впервые читаются
 строфы «Цыган».
 Тени по Литейному
 летят назад.
 Брови из-под кивера
 дворцам грозят.
 Кончена беседа,
 гони коней,
 утро вечера
 мудреней.

5

Что ж это,
 что ж это,
 что ж это за песнь?
 Голову на руки
 белые свесь.

Тихие гитары,
стыньте, дрожа;
синие гусары
под снегом лежат!

1926

РУССКАЯ СКАЗКА

1

Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава:
— Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с былью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаеть другие зори.

2

Люди чинно живут на свете,
расселясь на века, на версты,
только ты, схватившись за ветер,
головою в бурю уперся,
только ты, ни на что не схоже,
называешь сукно рогожей.

3

Отвечал я моей забаве,
моей ладе, любви и славе:
— Мне слова твои не по мерке
и не в пору упрек твой лстивый,
еще зори мои не смеркли,
еще ими я жив, счастливый.

4

Мне ль повадку не знать людскую,
обведешь меня словом ты ли?
Люди больше меня тоскуют,
видишь — ветер винтом схватили,
видишь — в воздух уперлись пяткой,
на машине качаясь шаткой.

Только тем и живут и дышат —
 довести до конца уменье:
 как такие вздумать снаряды,
 чтоб не падать вниз на коленья;
 чтобы каждый — вольный и дошлый —
 наступал на облак подошвой.

И я знаю такую сказку,
 что начать, так дух захолонет!
 Мне ее под вагона тряску
 рассказали в том эшелоне,
 что, как пойманный в клетку, рыскал
 по отрезанной Уссурийской.

Есть у многих рваные раны,
 да своя болит на погоду;
 есть на свете разные страны,
 только к той, что узнал, — нет ходу.
 Если все их смешаю в кучу —
 то и то тебе не наскучу.

Оглянись на страну большую —
 полоснет пестротой по глазу.
 Люди в ней не живут — бушуют,
 только шума не слышно сразу, —
 от ее голубого вала
 и меня кипеть подмывало.

Вот расплакалась мать над сыном
 в том краю, что со мною рядом;
 в этом — пахнет пот керосином,
 рыбий жир в другом — виноградом;
 и сбежались к уральской круче
 горностаевым мехом тучи.

Вот идет верблюд, колыхаем
барханами песен плачевных,
и на нем, клонясь малахаем,
выплывает древний кочевник;
среди зарев степных и марев
он улиткою льнет к Самаре.

А из вятских лесов дремучих,
из болот и ключей гремучих,
из глухих углов Керемети,
по деревьям путь переметив,
верст за сотню, а то и за пять —
пробирается легкий лапоть.

Вон из дымного Дагестана,
избочась на коне потливом,
вьется всадник осиным станом,
синеватым щеки отливом.
А другой, разомчась из Чечни,
ликом врезался в ветер встречный.

А еще — в глухом отдаленьи,
где морская глыба посинела,
тупотят копыта олени
под луною окоченелой:
медный остров, выселок хмурый,
шлет покрытых звериной шкурой

Отовсюду летят и мчатся,
звонит повод, скрипит подпруга,
это стягиваются домочадцы,
что не знали в лицо друг друга.
Из становий и из урочищ
собирает их старший родич.

Он лежит под стеною кремлевской,
не велик и не грозен с виду,
но к нему — всех слез переплески,
всех окраин людских обиды,
не забывая времени тратой,
поспешают вдогон за правдой.

Он своею силой не хвастал,
не носил одежды парчевой,
но до льдов, до снежного наста
им вконец весь край раскорчеван.
В Бухаре и в Нижнем Тагиле
говорят о его могиле.

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!
Если рада слушать такое —
не проси от меня покоя.

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,
если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше —
ты ее, пригорюнясь, слушай.

1926

ПАРТИЗАНЫ

(Из поэмы «Семен Проскаков»)

I

Можно написать —
«...тропка вела
не то на небеса,
не то на елань».

Мы ж хотим—
 без выдумок,
 что жизнь нам
 дала,
 рассказать
 о видимых
 людях и делах.
 Чтобы,
 к правде лицом,
 пути не терял
 сух
 и весом —
 наш материал,
 чтоб
 не теплых цыплят
 холить
 нежненько,
 чтоб
 ноге не цеплять
 по валежнику.
 Ти-
 ше,
 ти-
 ше,
 ти-
 ши-
 на.
 Спи же,
 спи же,
 спи, жена!
 Не шуми,
 луга,
 не дрожи,
 осин-
 ник!
 Нет
 у
 ми-
 ло-
 го
 черных,
 серых,
 синих!

Мерцай,
сто
штуки,
темноту
царя-
пай.
Сердце
стук,
стук:
отдохнуть
пора бы.
Настоящими,
топкими тропками
шел отряд партизан
потрепанный.
Не герои — орлы
бессменные, —
шли
рабочие люди
семейные.
Шли
без регалий,
шли
без патронов,
шли
и ругались,
хвою затронув.
Шли по весенней
хрусткой капели,
шли
и, вроде вот этого,
цели:
«Что ты невеселый,
наш товарищ-командир,
скоро ль паши села
завиднеют впереди?
Шагу
не наступишь:
натрудилася нога.
Ты ли
нас погубишь,
распроклятая тайга».
Отвечал печально
наш товарищ-командир:

«Я вам —

не начальник, —

кто куда хочишь, иди.

Много троп

наслежено,

да кончены пути,

вот она —

Тележина,

да к ней не подойти.

Стоит вам

послушать,

бойцы,

мои слова:

нечего нам кушать

и нечем воевать.

Сосны

еле шепчутся,

обстигла

нас беда.

Обнимемся покрепче,

разойдемся

кто куда».

«Мы тебе

ответили,

товарищ-командир, —

встретиться

на свете

суждено нам

впереди.

Слушайся приказу,

голодная братва,

расходись не сразу,

по одному, по два.

Тихий шорох,

раскатись

по тревожной ночи,

расходись,

расходись

в темь

поодиночке.

Разравняй,

траву, наш след

по зеленой улице;

ночью были —
 утром нет,
лишь
 туманы курятся!

2

Горемычно
 одному в лесу,
тьма ведет
 суконкой по лицу;
хоть и вспомнишь
 после —
 это ветвь,
на минуту
 сердцу — помертветь.
Одиноко
 ночью без костра,
мягкой лапой
 выступает страх,
подползает
 оползнем когтей,
начинает
 тысячу затей.
То ли
 шум несется от реки,
то ли
 сумрак низут светляки
и другие
 сорок сороков
поднимают
 шорох широко.
Горемычно
 в сумрачном лесу...
Звезды тлеют
 неба на весу.
И идет толпа
 ветров тугих
по деревьям
 вздыбленной тайги.
Горемычно
 одному в лесу...
Солнце,
 встань
 и высуши росу,

принес
 из сонного села
 дым еды
 и заглушенный лай!
 Стой ночь!
 Мне с тобою страшно
 наедине —
 ты такой
 тишиной
 окрашена,
 оледенев,
 ты такой
 тишины
 ответчица,
 вплоть до могил...
 Если сердце
 со страху мечется,
 ты — помоги!
 Видишь:
 спавший
 с камнями ветхими
 береговой, —
 вновь
 заводит
 с верхними ветками
 переговор.
 Звякни, звякни
 звездой хоть изредка
 и урони, от безлюдья
 страшного
 призрака
 оборони...
 Шел Проскаков
 мимо заимок.
 Гнус бросался
 в глаза ему,
 гнусь лесная
 да мошкара,
 вместо хлеба
 еловая кора.
 Ноги нагие
 разбиты в кость.
 Всюду враги,
 напрямик и вкось.

По всей
по Сибири,
вблизи и далеко,
порки,
пожары
и паника;
слева Семенов,
сзади Калмыков,
слева
и спереди
Анненков.
Черные гусары,
синие уланы,
желтые лампасы
уссурийские
в криках
да в свистах,
да в шапек пыланьи
всюду мелькают
и рыскают.
А в тайге,
заедены гнусом,
партизаньи головы
гнутся.
Эй, Семен,
бросай,
перестань-ка,
выходи
из дебри
с повинной!
Вот они —
огни полустанка,
теплые хлева
да овины.
Нет, не брошу,
не перестану,
не скули,
шахтерское сердце,
оползи
кругом полустанок,
погляди
на то офицерство.

Тишь —
 темна;
 бурелом не треснет,
 ляг и слушай,
 дух захолонув,
 разговор,
 бормотню
 и песни
 из открытых
 окон салонов:
 ...Здоровье его величества
 ...обожяемого монарха!
 ...Какое угодно количество
 ...любая марка!
 ...Тише, поручик,
 не вскидывать ручек!
 Это вам
 не российский простор!
 Без интеллигентских
 штучек!
 Если пьяны —
 ползите под стол!
 ...под Тюменью
 было именье
 и семнадцать тысяч душ...
 ...Туш, туш, туш!
 Чего расклеились?
 Чего раскисли?
 Ждете,
 чтоб мамка соску дала?
 Выбросить к чорту
 кислые мысли!
 ...Я ммучительный
 талант!
 Стойте, хорунжий!
 В вопросах чести...
 — Снимаю дамблэ!
 В банке двести...
 Пьем за здравие
 адмирала.
 ...марало!
 Тише, оратель!
 Вы — овечка.

Где вам
 большевиков свергать?!
 Вы —
 ни господу богу свечка
 и ни дьяволу
 кочерга.
 ...Предлагаю:
 в банке сорок!
 Ваня, уйдем,
 начинается ссора.
 ...Сла-а-а-авен
 выпивкой
 и пляской
 ...чудный полк
 ингерманландский!
 В ночь,
 когда стали
 все кошки серы,
 в дикую ночь
 над несчастной страной
 вы записались —
 я знаю —
 в эсеры,
 вы к офицерству
 стали спиной!
 Но,
 большевизию
 быстро покинув,
 пальцы от злости
 грызя,
 вновь повернули
 гибкую спину
 к вашим
 вшивым друзьям!
 Что ж?
 Вас опять потянуло к онуче?
 Тьму
 пожаром усадеб
 просветлять?..
 Только
 здесь
 вам не место канючить,
 демократическая тля!

...Это оскорбление,
 за это ответишь!
 ...Румяной зарею
 покрылся восток...
 Полно,
 все условно на свете!
 ...В банке
 четыре тысячи сто.
 Впрочем,
 если вам нужен воздух,
 выйдем
 поговорить
 при звездах!
 И если то, что на вас —
 мундир,
 можно прибавить
 несколько дыр!
 Отползай, Проскаков,
 отползай:
 выстрел
 пламенем тебе в глаза,
 на тебя,
 приникшего в траве,
 валится убитый
 человек.
 Снова тишь,
 и в салонах-вагонах
 снова крики,
 песни и говор:
 ...Вот последняя
 сводка реляций:
 двое
 непримиримых врагов —
 хорунжий с поручиком —
 вышли стреляться.
 Один — наповал
 на двадцать шагов.
 ...Это уж хуже.
 ...Вот он — хорунжий!
 ...Что случилось?
 ...Идите сюда!
 — Все в порядке;
 прошу, господа.

Ставлю
 дюжину свежих бутылок.
Адъютантские шпоры
 слишком звенят:
красный шпион
 застрелен в затылок,
так как шел
 впереди меня! —
Отползай, Проскаков,
 отползай.
Зыбкий сумрак
 от рассвета сер.
Не успел подсумка
 отвязать
стрелянный
 в затылок офицер.
Хороши для
 раненой ноги
мягкого опойка
 сапоги,
хорошо,
 свернувшись
 тихо, лечь,
на плечи
 напялив
 плотный френч.
Лес,
 гори
 разливами зари,
не до дремы тут,
 не до спанья:
сухари в подсумке,
 сухари!
И горячий,
 смоляной
 коньяк.

1926

ЯСНОМУ СОКОЛУ

Холод!
Землю на части раскалывай,
на лету
слезу ледяни.
Нету нашего славного Чкалова
меж большой, боевой родни.
Ни сказать,
ни придумать тут нечего,
с утешеньем
притти не посметь:
загляделась на широкоплечего
темным глазом
старуха-смерть.
Сбила-смяла,
с пути высокого
повернуть не сумевши вспять,
быстрокрылого зоркого сокола, —
уложила с собою спать!
Только зря
она к гробу тянется...
В нашей памяти — невредим —
все равно он ей не достанется,
не уступим,
не отдадим!
От дедов ко внукам передано
будет имя его на века:
жив народ!
И ему поведано
о бесстрашии большевика.
И опять и вновь обнаружиться
не забвенью,
не тьме теней, —
он отдал
боевое мужество
самой памятной стране.
Нет, не смерть,
не глухая печать ее
крышку гроба за ним забьет —
молодое
страны объятие
навсегда его обоймет!

1938

МАЯКОВСКИЙ РЯДОМ

(И я поэмы «Маяковский начинается»)

Не в приступе сожалений поздних
и не для того,
чтоб умаслить молву, —
боясь,
чтоб не вышел — великопостник, —
я начинаю эту главу.
Мне в Маяковском
важны — не мощи,
не взор, горящий бесплотным огнем,
страшусь,
чтоб не вышел он
суше
и плоче,
чем жизнь —
всегда клокотавшая в нем.

Теперь,
на стене,
застеклен и обрамлен,
глядит он с портретов,
хмур и угрюм.
А где ж его яростный темперамент,
везде поднимавший
движение и шум?
Разве
из этого матерьяла
он сделан,
что тащат биографы в Гихл?
В нем каждая жилка
жизнью играла
и жизнью играть
вызывала других!
Но мало было игроков:
один — хоть смел, да бестолков;
другой —
хоть и толков,
да скуп.
Навар —
на свой снимает суп...
Обычный вид:

соратник
тыщенок сто царапнет
и мчит, зажав подмышку,
запихивать на книжку.

Устроились все
от велика до мала;
общились, отъелись,
важили на дачах.
Такая ли участь
его занимала —
зарытых костей
да зажатых подачек?
Он все продувал
с быстротою ветра;
ни денег,
ни силы своей не жалел.
Он — сердца валюту
растрачивал щедро,
сердца — а не желе!

Не с тем, чтоб пополнить
прорехи бюджета,
в заре,
наклоня вихор к вихру,
мы с ним заигрывались
до рассвета
в разную карту,
в любую игру.
Он играл
на все, что
мнилось,
пелось —
сердцу человеческому сродни.
Он играл
на радость и на смелость,
на большого будущего дни.
Ветерком рассветным обвеваем,
заполняя улицу собой,
затевал он игры
и с трамваем,
с солнцем, с башней, с площадью,
с судьбой.
Город спал,

тащились в гору клячи,
падал редкий,
сухонький снежок;
он сказал мне:
— После неудачи
пишется особенно свежо!

Вкруг его фигуры
прочной,
ладной
воздух накалялся до жары,
и летели в празелень
бильярдной
лунами мелькавшие шары.
Вкруг него
болельщики,
арапы,
мазчики, маркеры и жучки
горбились,
теснились — подарапать,
оборвать червончиков клочки.
Ну и шла ж игра!
Кии сгибались,
фонари мигали с потолка —
на огромно выпяленный палец,
на овал
тяжелого белка.
Все огнем текло:
партнеры, ставки
разной масти и величины;
разгорался
самый тугоплавкий,
были все
в игру вовлечены.
Кто-то
кофе пил в соседнем зале,
чьей-то рыбы
блекла чешуя...
— Вы вдвойне идете!
Заказали?
Не платите:
отвечаю я!
Суется
один краснобай несвежий,

по брюшку
золотой цепочкой обвит...
Маяковский
в угол
крупного режет,
а тот ему под руку
говорит:
— Опускайся на дно,
понапрасну сил,
дорогуша моя, не трать!
Маяковский плечом его отстранил
и продолжает играть.
— Ну, такого не сделать ему
нипочем!
Это вам — не стишки писать!
Маяковский оттер его вновь
плечом
и опять продолжает играть.
Наконец,
когда случилось рядом
стать, —
как будто видя в первый раз,
Маяковский кинул сверху взглядом,
за цепочку взял его,
потряс...
Застыл остряк
с открытым ртом:
— Златая цепь на дубе том!

Пишут,
бодрясь от вздыбленных слов,
усилием морща лоб,
и мелких статей
небогатый улов
бумажным венком — на гроб.
Что есть, что нету их —
все равно:
любительское дрянцо.
А лучше всех его помнит
Арнольд
бывший эстрадный танцор.
Он вежлив, смугл, высок,
худощав,
в глазах — и грусть и задор.

Закинь ему за спину
край плаща —
совсем бы тореадор.
Он был ему спутником
в дальних ночах;
бывают такие —
неведомы
в людской телескоп,
а небесный рычаг
их движет
вровень с планетами.
Он помнит каждое слово и жест,
живого лица выражение.
Планета погасла,
а спутник — не лжец —
еще повторяет движение.

— Собрались однажды
любители карт
под вечер на воле
в Крыму.
И ветер, как будто входя в азарт,
сдувал
все ставки
к нему.
Как будто бы ветром
счастья посыл
в большую его ладонь;
и Маяковский,
довольный, басил:
— Бабочки на огонь.
Азарта остыл каленый нагрев,
на море и тишь, и гладь;
партнеры
ушли во тьму, озверев...
— Пойдем, Арнольд, погулять!
— Пошли!
— Давай засучим штаны,
пошлепаем по волне?
— Идет! — И в даль уходят они
навстречу тяжелой луне.
Один — высок и другой высок,
бредут — у самой воды,
и море,

наплескиваясь на песок,
зализывает следы.
Вдруг Маяковский
стал, застыв,
голову поднял вверх.
В глазах его
спутники с высоты
отсвечивают пересверк.
Арнольд задержался в пяти шагах:
спит берег,
и ветер стих.
Стоит, наблюдает,
решает: — Ага!
наверное — новый стих?

Вдруг до них
из дальней дали,
лунной ленью залитой:
«Мы на лодочке катались,
золоти-и-стый, золотой!»
Где-то лодка
в море чалит;
с лодки — голос
молодой,
и тревожит, и печалит
эта песня над водой.
И сама влетает в уши:
«Золотистый-золотой!»
и окутывает душу
в свежий вечер теплотой.
И молчим мы
или спорим,
замирая вдалеке,
все плывет она над морем,
не записана никем.
Маяковский
шел под звездным светом,
море отражало небеса.
— Я б считал себя
законченным поэтом,
если б смог
т а к у ю
написать.

Все так же поют
соловьи в Крыму,
которых
не услышать ему.
Все те же горы
в сизом дыму,
которых не оглядеть ему.
Иудино дерево цветет,
розовое от пен.
А он под ним никогда не пройдет,
отгрохотав, отпев.
И столько новых людей родилось,
что всех их взглядом не охватить,
с которыми в жизни
не удалось
ни познакомиться, ни пошутить.
А он —
с самым Ай-Петри шутил,
гудки пароходные понимал
и с самым жарким из наших светил
густой настой земли распивал.
И столько новых событий
и дел
построилось в мировой парад,
и без него,
крутясь, прогудел
над Барселоной первый снаряд.
И новые пчелы
несут свой мед,
и новые змеи
копят свой яд.
Но знает Земля,
что свое возьмет
над счетом горечей
и утрат.
Над синевой углубленных рек,
над глубиной плодоносных руд
настанет он,
непреложный век,
где будет
сладок
и пот и труд!
Наступит он
со всей полнотой,

чей облик
нам лишь по песне знаком,
кого мы звали:
«Приди, золотой!»
своим пересохнувшим языком.
И голос-сокол
сойдет на низы,
неискореним и непобедим.
И мы его снова услышим вблизи
совсем нерастраченным
и молодым.

1939

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО С НАМИ

Слушай веское слово,
Слушай верную речь:
Нужно снова и снова
Всем плечом приналечь.
Мы с тсбою в ответе
За большие дела:
Чтобы — правда на свете,
Чтобы наша взяла.
Не затем пробивались
Мы сквозь тучи беды,
Чтоб от нас не остались
Нашей правды следы.
Четверть века трудились.
Дедом выращен внук;
Четверть века гордились
Делом собственных рук.
Так неужто теперь ты,
Ознобясь до подошв,
Перед призраком смерти
На колени падешь!
Нет! Не будет такого.
Чтобы смерть отогнать,
Есть народное слово:
«Двум смертям — не бывать!»
А с одною — своею
Мы сшибемся в размах,
Чтоб с отвергнутой с нею
Раньше встретился — враг!

Со своею одною
Будет встреча грозна:
За твоею спиною
Вся земная стена.
Человечество слышит
Шаг походки твоей;
Человечество дышит
Все грозней и грозней.
Не робеть, не сдаваться,
Стать к врагу — острием.
На своем оставаться
И стоять на своем!
Дунут ветры победы,
В них дыханье вложи.
Будут песни пропеты
Без бахвальства и лжи.
Наше вечное пламя
Не погаснет века,
Наше красное знамя
Не надломит древка.
Через горя отроги,
Через кровь, через дым
На великой дороге —
Все равно — победим
Человечество с нами
Навсегда, на века!
Наше славное знамя
Не опустит древка.

1942

Николай ТИХОНОВ



САМИ

Мариэтте Шагинян

1

Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только больно дерется стаком.
Хороший Сагиб у Сами и умный,
Только Сами не считает человеком.
Смотрит он на него одним глазом,
Никогда не скажет спасибо.
Сами греет для бритья ему тазик
И седлает пони для Сагиба.
На пылинку ошибется Сами, —
Сагиб всеведущ, как Вишну,
Бьют по пяткам тогда тростниками
Очень больно и очень слышно.
Но отец у Сами недаром
В Беджапуре был скороходом,
Ноги мальчика бегут по базарам
Все уверенней год от году.

2

Этот год был очень недобрым:
Круглоухого мышастого пони
Укусила черная кобра,
И злой дух кричал в телефоне.
Раз проснулся Сагиб с рассветом,
Захотел он читать газету,
Гонг надменно сказал об этом,
Только Сами с газетою нету.
И пришлось для бритья ему тазик
Поручить разогреть другому,
И, чего не случалось ни разу, —
Мул не кормлен вышел из дому.

Через семь дней вернулся Сами,
 Как отбитый от стада козленок,
 С исцарапанными ногами,
 Весь в лохмотьях, от голода тонок.
 Синяка круглолобая глыба
 Сияла, как на золоте проба.
 Один глаз он видел Сагиба,
 А теперь он увидел оба.
 «Где ты был, павиан бесхвостый?»
 Сагиб раскачался в качалке.
 Отвечал ему Сами просто:
 «Я боялся зубов твоей палки
 И хотел уйти к властелину,
 Что браминов и раджей выше,
 Без дорог заблудился в долинах,
 Как котенок слепой на крыше». —
 «Ты рожден, чтобы быть послушным:
 Греть мне воду, вставая рано,
 Бегать с почтой, следить за конюшней.
 Я — властитель твой, обезьяна!»

4

«Тот, далекий, живет за снегами,
 Что к небу ведут, как ступени,
 В городе с большими домами,
 И зовут его люди — Ленни.
 Он дает голодным корочку хлеба,
 Даже волка может сделать человеком,
 Он большой Сагиб перед небом
 И совсем не дерется стаком.
 Сами из магратского рода,
 Но свой род для него уронит,
 Для бритья будет греть ему воду,
 Бегать с почтой, чистить ему пони.
 И за службу даст ему Ленни
 Столько мудрых советов и рупий,
 Как никто не давал во вселенной:
 Сами всех сагибов погубит».

5

«Где слышал ты все это, несчастный?»
 Усмехнулся Сами лукаво:

«Там, где белым бывать опасно,
В глубине амритсарских лавок.
У купцов весь мир на ладони,
Они знают все мысли судра,
И почему в Рохилькэнде кони,
И какой этот Ленни мудрый». —
«Уходи!» — сказал англичанин.
И Сами ушел с победой,
А Сагиб заперся в своей спальне
И не вышел даже к обеду.

6

А Сами стоял на коленях,
Маленький, тихий и строгий,
И молился далекому Ленни,
Непонятному, как йоги,
Что услышал его малые просьбы
В своем городе, до которого птице
Долететь не всегда удалось бы,
Даже птице быстрее зарницы,
И она б от дождей размокла.
Слон бежал бы и сдох от бега,
И разбилась бы в бурях, как стекла,
Огненная сагибов телега.

7

Так далеко был этот Ленни,
А услышал тотчас же Сами,
И мальчик стоял на коленях
С мокрыми большими глазами.
А вскочил легко и проворно,
Точно маслом намазали бедра,
Вечер пролил на стан его черный
Благовоний полные ведра,
Будто снова он родился в Амритсаре —
И на этот раз человеком, —
Никогда его больше не ударит
Злой Сагиб своим жестким стёком.

1920

ПЕСНЯ ОБ ОТПУСКНОМ СОЛДАТЕ

Батальонный встал и сухой рукой
Согнул пополам камыш:
«Так отпустить проститься с женой,
Она умирает, говоришь?»

Без тебя винтовкой меньше одной, —
Не могу отпустить. Погоди,
Сегодня ночью последний бой.
Налево кругом — иди!»

...Пулемет задыхался, хрипел, бил,
И с флангов летел трезвон,
Одиннадцать раз в атаку ходил
Отчаянный батальон.

Под ногами утренних лип
Уложили сто двадцать в ряд.
И табак от крови прилип
К рукам усталых солдат.

У батальонного по лицу
Красные пятна горят,
Но каждому мертвецу
Сказал он: «Спасибо, брат!»

Рукою, острее ножа,
Видели все егеря,
Он каждому руку пожал,
За службу благодаря.

Пускай гремел их ушам
На другом языке отбой,
Но мертвых руки по швам
Равнялись сами собой.

«Слушай, Денисов Иван!
Хоть ты уже не егерь мой,
Но приказ по роте дан,
Можешь идти домой».

Умолкли все, под горой
Ветер, как пес, дрожал.

Сто девятнадцать держали строй,
А сто двадцатый встал.

Ворон сорвался, царапая лоб,
Крича, как человек.
И дымно смотрели глаза в сугроб
Из-под опущенных век.

И лошади стали трястись и ржать,
Как будто их гнали с гор,
И глаз ни один не смел поднять,
Чтобы взглянуть в упор.

Уже тот далеко ушел на восток,
Не оставив на льду следа,
Сказал батальонный, коснувшись щек:
«Я, кажется, ранен. Да».

1919—1922

БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ

Спокойно трубку докурил до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.

«Команда, во фронт! Офицеры, вперед!»
Сухими шагами командир идет.

И снова равняются в полный рост:
«С якоря — в восемь. Курс — ост.

У кого жена, дети, брат, —
Пишите, мы не придем назад.

Зато будет знатный кегельбан».
И старший в ответ: «Есть, капитан!»

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.

«Не все ли равно, — сказал он, — где?
Еще спокойней лежать в воде».

Адмиральским ушам простукал рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных нет».

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.

1919—1922

* * *

Огонь, веревка, пули и топор,
Как слуги, кланялись и шли за нами,
И в каждой капле спал потоп,
Сквозь малый камень прорастали горы,
И в прутике, раздавленном ногою,
Шумели чернорукие леса.

Неправда с нами ела и пила,
Колокола гудели по привычке,
Монеты вес утратили и звон,
И дети не пугались мертвецов.
Тогда впервые выучились мы
Словам прекрасным, горьким и жестоким.

1921

* * *

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать
За медный мусор золото лимонов.

Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз проносят по привычке,
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в переключке!

Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным, сломанным ножом
Разрезаны бессмертные страницы.

1921

ПЕРЕКОП

Катятся звезды, к алмазу алмаз,
В кипарисовых рощах ветер затих,
Винтовка, подсумок, противогаз
И хлеба — фунт на троих.

Тонким кружевом голубым
Туман обвил виноградный сад.
Четвертый год мы ночей не спим,
Нас голод глодал и огонь и дым,
Но приказу верен солдат.

Красным волкам —
За капканом капкан,
Захлебнулся штык, приклад пополам,
На шее свищет аркан.

За море, за горы, за звезды спор,
Каждый шаг — наш и не наш,
Волкодавы крылатые бросились с гор,
Живыми мостами мостят Сиваш!

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед —
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступать черед.

За нами ведь дети без глаз, без ног,
Дети большой беды;
За нами — города на обломках дорог,
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.

За горами же солнце, и отдых, и рай,
Пусть это мираж — все равно!
Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» —
Урагана сильней оно.

И когда луна за облака
Покатилась, как рыбий глаз,
По сломанном, рожим от крови штыкам
Солнце сошло на нас.

Дельфины играли вдали,
Чаек качал простор,
И длинные, серые корабли
Поворачивали на Босфор.

Мы легли под деревья, под камни, в траву,
Мы ждали, что сон придет —
Первый раз не в крови и не наяву,
Первый раз за четвертый год...

Нам снилось, если сто лет прожить, —
Того не увидят глаза,
Но об этом нельзя ни песен сложить,
Ни просто так рассказать!

1922

БАЛЛАДА О СИНЕМ ПАКЕТЕ

Локти резали ветер, за полем — лог,
Человек добежал, почернел, лег.

Лег у огня, прохрипел: «Коня!»
И стало холодно у огня.

А конь ударил, закусил мундштук,
Четыре копыта и пара рук.

Озеро — в озеро, в карьер луга,
Небо согнулось, как дуга.

Как телеграмма, летит земля,
Ровным звоном звенят поля,

Но не птица сердце коня, не весы, —
Оно заводится на часы.

Два шага — прыжок, и шаг хромал,
Человек один пришел на вокзал,

Он дышал, как дырявый мешок.
Вокзал сказал ему: «Хорошо».

«Хорошо», — прошумел ему паровоз
И синий пакет на север повез.

Повез, раскачиваясь на весу,
Колесо к колесу, колесо к колесу.

Шестьдесят верст, семьдесят верст,
На семьдесят третьей — река и мост,

Динамит и бикфордов шнур — его брат,
И вагон за вагоном в ад летят.

Кануста, подсолнечник, шпалы, пост,
Комендант прост и пакет прост,

А летчик упрям и на четверть пьян,
И зеленою кровью пьян биплан.

Ударили в небо четыре крыла,
И мгла зашаталась, и мгла поплыла.

Ни прожектора, ни луны,
Ни шороха поля, ни шума волны.

От плеч уж отваливается голова,
Тула мелькнула, плывет Москва...

По рули заснули на лету,
И руль высоты проспал высоту,

С размаху земля навстречу бьет,
Путая ноги, сбежался народ.

Сказал, с землею набитым ртом:
«Сначала пакет — нога потом».

Улицы пусты, тиха Москва.
Город просыпается едва-едва.

И Кремль еще спит, как старший брат,
Но люди в Кремле никогда не спят.

Письмо в грязи и в крови запеклось,
И человек разорвал его вкось,

Прочел, о френч руки обтер,
Скомкал и бросил за ковер:

«Оно опоздало на полчаса,
Не нужно, я все уже знаю сам».

1922

НОЧНОЙ ПРАЗДНИК В АЛЛА-ВЕРДЫ

За Гомборами скитаясь, миновал Телав вечерний,
Аллавердской ночью синей схвачен праздника кольцом,
Чихиртмой, очажным дымом пахли жаркие харчевни,
Над стенами баранов, с перепуганным лицом,

Люди чавкали и пели с кахетинской истомой
И шумели по-хевсурски под навесами в кустах.
Мчались всадники с шестами, и горящая солома
Освещала все сучки нам на танцующих шестах.

И, скользя в крови бараньей, шел, на шкуры
наступал я,
И волнение очень смутно стало шириться во мне,
Было поднято гуденьем, и в гуденьи уплывало
Мое тело, словно рыба, оглушенная во сне.

Больше не было покоя в дымах, пахнувших металлом,
Ни в навесах сумасшедших, ни в ударах черных пог,
Это старый бурый бубен бесновался, клекотал он,
Бормотал, гудел, он бурю бурным волоком волок.

И упал я в этот бубен, что, владычествуя, выплыл,
И забыл другие ночи, мысли дымные клубя,
И руками рвал я мясо, пил из рога, пел я хрипло,
Сел я рядом с тамадою, не похожий на себя.

Словно горец в шапке черной,
И в горах остался дом,
Но в такой трущобе горной,
Что найдешь его с трудом.

Проходил я через клочья
Пен речных, леса и лед,

Бурый бубен этой ночи
Мне всю память отобьет.

Чтоб забыл я все потоки,
Все пути в ночи и днем.
Чтоб смотрел я лишь на щеки,
Окрыленные огнем;

Чтоб свои свихнул я плечи
Среди каменных могил,
Чтобы, ночь очеловечив,
С ней, как с другом, говорил,

В этой роще поредевшей,
Этот праздник не вина —
О не пившей и не евшей,
Не смотревшей на меня.

Вдруг людей в одеждах серых породила темнота,
Скромность их почти пугала среди праздничной орды,
Даже голос был особый, даже поступь их не та,
Будто вышли рыболовы в край, где не было воды.

То слепые музыканты разом подняли смычки,
Заиграли и запели, разевая узко рот,
Точно вдруг из трав зеленых встали жесткие сверчки,
Я читал на лицах знаки непонятных нам забот.

Тут слепые музыканты затянули тонкий стих,
Ночь стояла в этих людях, как высокая вода,
Но прошел, как зрячий, бубен сквозь мелодию слепых,
И увидел я: на шлеме след оставила звезда,

На линиялом, нищем шлеме у слепого одного,
Что сидел совсем поодаль, пояс тихо тербя.
И на шлем я загляделся, непонятно отчего,
Встал я рядом с тамадою, не похожий на себя.

Словно был я партизаном
В Алазанской стороне
И теперь увидел заново
Этот край, знакомый мне.

Как, ломая хрупкий иней
И над пропастью скользя,
К аллавердской ночи синей
С гор спускаются друзья.

За хевсурскими быками
Кони пшавов на гребне,
С Алазани рыбаками
Гор охотники в родне.

Словно шел я убедиться,
Что измятый старый шлем
Был воинственной птицей,
Приносившей счастье всем.

Что, храни теперь слепого
В Алазанской стороне,
Он, как дружеское слово,
Сквозь года кивает мне.

Подходил рассвет, и роща отгремела и погасла,
Мир вставал седым и хмурым, бубен умер на заре,
Запах пота и полыни, в угли пролитого масла,
Птицы крик и в роще сизый след поводьев на коре.

Обнажились вмиг вершины, словно их несли на блюде,
И закрыли облаками от обжествившихся гостей,
А под бурками вповалку непробудно спали люди,
Как орехи, волей вихря послетавшие с ветвей;

Ниже, в сторону Телава, спали лошади, упавши,
Спали угли, в синь свернувшись, спали арбы и шатры,
Спали буйволы, как будто были сделаны из замши,
Немудреные игрушки кахетинской детворы.

За Гомборами скитаясь, миновав Телав вечерний,
Я ночные Алла-Верды видел в пышности во всей,
Дождь накрапывал холодный, серебром и старой чернью
Отчечаненные, спали лица добрые друзей.

Я наткнулся на барапа с посиневшими щеками,
Весь в репейнике предсмертном, грязным боком терся он
О забытую попону, о кусты, о ржавый камень,
И зари клинок тончайший был над шеей занесен.

ПРОТИВОГАЗ

Я на руке держу противогаз,
Мне хочется сказать ему два слова.
Мы в той стране, которая сурова,
Но у которой разум не погас.

Противогаз!

Твоей резиной липкой
Обтянута Европы голова,
И больше нет ни смеха, ни улыбки,
Лес не шумит и не шуршит трава.

Лишь рыбий глаз томится, озирая
Стальную муть дневных глубин,
Какой актер увлек тебя, играя?
Какой тебя любовник погубил?

Так вот зачем ты пела и трудилась
По городам копила старину,
Чтобы тебе, как состраданья милость,
Белесый холод щеки обтянул?

Как с облаков приходят нежность, жалость...
Тебя липили волей хитреца
Последнего, что все же оставалось:
Простого человеческого лица!

Живого человеческого обличья,
Не жить, шумя, шепча, вопя, ворча, —
Та голова, не рыба и не птичья,
Без языка маячит на плечах.

Ты даже не услышишь сквозь резину,
Когда, поднявши грохота пласты,
Такая гибель пасть свою разинет,
Чтоб все сожрать, чем так гордилась ты.

Но на бульварах буйного Парижа
Не для того шел в битву человек,
Чтобы его растущий воли век
Был пулею случайно подстрижен.

Не для того шахтеры старых шахт
Земли английской приносили клятвы,

Не для того в испанских шалашах
Был динамит под рубищем запрятан.

Не для того всех казематов строй
Пытал людей Германии во мраке,
Не для того в Астурии герой
Так умирал, как умирает факел.

Не для того в лучах, острее сабли,
Там — абиссинец — в скалах далеко
Делился вдруг воды последней каплей
С обманутым Италией стрелком.

Противогаз!

Не верю я, чтоб ты —
Мешок, чьей мерой будут мерить ужас, —
Украд людей прекрасные черты,
Торжествовал, навязываясь в дружбу!

Но облик твой печальный тербя,
Земли земель я ставлю рядом имя!
Бессонной ночью выдумал тебя
Затравленный рычаньем века химик.

Но будет день, и мы тебя прибьем
К своим домам, набив соломой просто,
Вот так у входа в ассирийский дом
Висели рожи пестрою коростой,

Чтоб отгонять болезни и чертей, —
Полночных вьюг и ветра собеседник, —
Повиснешь ты мишенью для детей,
Невольником жестокости последней.

Я буду стар, и я приду к тебе,
И за Невой садиться будет солнце,
А рядом песня станет пламенеть
И наших щек обветренных коснется.

1936

* * *

Женщина в дверях стояла,
В закате с головы до ног,
И пряжу черную мотала
На черный свой челнок.

Рука блеснет и снова ляжет,
Темнея у виска,
Мотала жизнь мою, как пряжу,
Горянки той рука.

И бык, с травой во рту шагая,
Шел снизу в этот дом,
Увидел красные рога я
Под черным челноком.

Заката уголь предпоследний
Весь раскален дрожал,
Между рогов — аул соседний
Весь целиком лежал.

И сизый пар, всползая кручей,
Домов лизал бока,
И не было оправы лучше
Косых рогов быка.

Но дунет ветер, леденя,
И кончится челнок,
Мелькнет последний взмах, чернея,
Последний шерсти клочок...

Вот торжество неодолимых
Простых высот.
А песни что? Их тонким дымом
В ущелье унесет.

1941

НАШ ГОРОД

Пусть тянет руку дерзкий враг
К нам в ленинградские пределы, —
Их было много, тех вояк,
Чья рать войти сюда хотела.
На неприступном берегу
Обрубим руку мы врагу.

На крыльях черные кресты
Грозят нам нынче с высоты,

Мы стаи звезд на них пошлем,
Мы их таранить в небе будем,
Мы те кресты перечеркнем
Зенитным росчерком орудий.

Стой, ленинградец, на посту,
Смотри в ночную высоту,
Ищи врага на небосклоне, —
С тобой на вахте боевой
Стоит великий город твой
И дни и ночи в обороне!

Проверь и крышу, и подвал,
Забудь, как мирно ночевал,
Забудь беспечность и веселье.
Пускай, как крепость, темен дом,
Он вспыхнет радостью потом —
В победы нашей новоселье.

Наш город! В нем увидишь ты
Закалки ленинской черты,
Неиссякаемую волю.
Вглядишься — в нем сталинская статья,
Не может в битве он устать,
Врага он к бегству приневолит!

1941

КИРОВ С НАМИ

1

Домов затемненных громады
В зловещем подбоя сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина.
Но тишь разрывается боем,
Сирены зовут на посты,
И бомбы свистят над Невой,
Огнем обжигая мосты.
Под грохот полночных снарядов,
В полночный воздушный налет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.

В шинели армейской походной,
Как будто полков впереди,
Идет он тем шагом свободным,
Каким он в сражении ходил.
Звезда на фуражке алеет,
Горит его взор огневой,
Идет, ленинградцев жалея,
Гордясь их красой боевой.

2

Стоит часовой над водою,
Моряк Ленинград сторожит.
И это лицо молодое
О многом ему говорит.
И он вспоминает матросов
Каспийских своих кораблей,
Что дрались на волжских откосах,
Среди астраханских полей.
И в этом юнце крепкожилом
Такая ж пригожая стать,
Такая ж геройская сила,
Такой же огонь неспроста.
Прожектор из сумрака вырыл
Его бескозырку в огне,
Название победное «Киров»
Грозой заблестало на ней...

3

Разбиты дома и ограды,
Зияет разрушенный свод.
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
Боец, справедливый и грозный,
По городу тихо идет.
Час поздний, глухой и морозный...
Суровый, как крепость, завод.
Здесь нет перерывов в работе,
Здесь отдых забыли и сон,
Здесь люди в великой заботе,
Лишь в капельках пота висок.
Пусть красное пламя снаряда
Не раз полыхало в цехах,

Работай на совесть, как надо,
Гони и усталость, и страх.
Мгновенная оторопь свяжет
Людей, но выходит старик, —
Послушай, что дед этот скажет,
Его неподкупен язык.
— Пусть наши супы водяные,
Пусть хлеб на вес золота стал, —
Мы будем стоять, как стальные,
Потом мы успеем устать.
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу,
Рабочие русские люди
Умрут — не сдадутся врагу!
Мы выкуем фронту обновы,
Мы вражье кольцо разорвем.
Недаром завод наш суровый
Мы кировским гордо зовем.

4

В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.
И сердце прегордое радо,
Что так непреклонен народ,
Что крепки советские люди.
На страже родимой земли...
Все ближе удары орудий,
И рядом разрывы легли.
И бомбы ударили рядом,
Дом падает, дымом обвит,
И девушка вместе с отрядом
Бесстрашно на помощь спешит.
Пусть рушатся стены и балки,
Кирпич мимо уха свистит,
Здесь собственной жизни не жалко,
Чтоб жизнь тех, зарытых, спасти.
Вот юность — гроза и отрада,
Такую ничто не берет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет...

Глашатай советского века,
 Трибуном и воином был
 На снежных предгорьях Казбека,
 Во мраке подпольной борьбы.
 Он помнит кровавые, злые
 В огне астраханские дни
 И ночи степные, — кривые,
 Как сабли, сверкали они.
 Так сердцем, железным и нежным,
 Осилил он много дорог,
 Сражений, просторов безбрежных,
 Опасностей, горя, тревог.
 Но всей большевистской душою
 Любил он громады громад,
 Любовью последней большою —
 Большой трудовой Ленинград.
 ...Но черные дни набежали,
 Ударили свистом свинца,
 Здесь люди его провожали
 Как друга, вождя и отца.
 И Киров остался меж нами,
 Сражаясь, в работе спеша,
 Лишь вспомнят могучее имя,
 И мужеством крепнет душа.

На улицах рвы, баррикады,
 Окопы у самых ворот.
 В железных ночах Ленинграда
 Он за город тихо идет.
 И видит: взлетают ракеты,
 Пожаров ночная заря,
 Там вражьи таятся пикеты,
 Немецких зверей лагеря.
 Там глухо стучат автоматы,
 Там вспышки, как всплески ножа,
 Там, тускло мерцая, как латы,
 Подбитые танки лежат.
 Враг к городу рвется со злобой, —
 Давай ему дом и уют,
 Набей пирогами утробу,
 Отдай ему дочку свою.

Оружьем обвешан и страшен,
В награбленных жепских мехах,
Он рвется с затоптанных пашен
К огням на твоих очагах.
Но путь преградить супостату
Идет наш народ боевой,
Выходит, сжимая гранату,
Старик на сражение с ордой.
И танки с оснеженной пашни
Уходят тяжелые в бой.
«За родину» — надпись на башне,
И «Киров» — на башне другой.

7

И в ярости злой канонады
Немецкую гробить орду —
В железных ночах Ленинграда
На бой ленинградцы идут.
И красное знамя над ними
Как знамя победы встает.
И Кирова грозное имя
Полки ленинградцев ведет!

1941

* * *

Растет, шумит тот вихрь народной славы,
Что славные подымлет имена —
Таким он был в свинцовый час Полтавы
И в раскаленный день Бородина.

Все тот же он под Тулой и Москвою,
Под Ленинградом, в сумрачных лесах.
Бойцы идут. У них над головою
Родные звезды в снежных небесах.

Нет, рано враг торжествовал победу,
И сквозь пожаров дымные рога
Бойцы идут по вражескому следу,
Врезая шаг в скрипучие снега.

И враг бежит, смятенный и голодный,
Кляня судьбу проклятую свою.
Как завершение веры всенародной,
Слова вождя исполнились в бою!

Бойцы идут среди родимых пашен
Победным шагом, грозны и легки,
А их народ зовет: гвардейцы наши,
Любимые, желанные — сынки!..

1941



ПУТНИК

Покрыты серой пылью гетры,
Еще немного — и привал;
Ни облаков, ни рек, ни ветра
Сегодня путник не встречал...

Усталость связывает ноги,
Отяжелела голова.
Уснуть бы на краю дороги,
Где спит сожженная трава.

Но степь упрямо гонит тело
Туда, где синий небосклон
Одел безбрежность дымкой белой
И погрузился в долгий сон...

Туда, где за степным покровом
Простерся город-исполин,
Где жизнь иным сжигает зноем
Попадавших под ярмо машин.

Туда, где бури ежедневны,
Где стяг раскинула борьба,
Где из настойчивой царевны
Служанкой сделалась судьба.

Вот и курган. Взойдя на гребень,
Устроит путник здесь привал
И будет наблюдать, как в небе
Клубится дымный карнавал.

Как город, близкий и далекий,
Воткнул в высоты пасти труб,
И вспыхнут вновь румянцем щеки,
Улыбка тронет складки губ.

Здесь его родина. Здесь скоро
Он будет брошен в жаркий бой...
О огнеликий, гордый город,
Богат ты жертвами. Он — твой.

1918

* * *

Душа, кричи громче,
Ударь по нервам спящих!
Время — опытный кормчий —
Правит к высотам горящим.

Рви, барабан, пространство,
Дробите камни, ноги, —
В мире нет постоянства,
Нет повторной дороги.

Мы подняли смерч крылатый,
Взрыли поля чугоном;
Мы требуем полной платы
За столетья, убитые сном.

Мы временно смерть призвали
Гниющее прошлое сжечь...
Наш меч и руки — из стали,
Земля — пепелящая печь.

Вымаливать стыдно пощаду.
Кто мир не приемлет иным,
От жизни уйди за ограду,
Укройся покровом земным.

Душа, кричи громче,
Ударь по нервам спящих!
Время — опытный кормчий —
Правит к высотам горящим.

1919

* * *

Верю я — мы грядущее вынянчим
На своем трудовом горбу;
Не беда, если солнце не нынче
Защует в золотую трубу.

Не беда, что на сердце ссадины,
Что расшиблено много лбов,
Скоро к чорту слетят перекладыны
Под напором с последних столбов.

Да, еще очень много старого,
Еще голод трясет за плечо,
Но не наше ли вспыхнуло варево
Над Европой кровавым мечом!

Что ж бояться, что зубы оскалены
Побежденною ночью на нас? —
Перед нами сияют проталины,
Перед нами смеется Весна.

Напрягайте же разум и мускулы,
Закаляйтесь огнем трудовым,
Чтоб могло Воскресение русское
Воскресением стать мировым.

Мы возьмемся за труд не со стенами, —
В каждом есть сокровенное масс;
Будут звезды веселыми звонами
Перед утром приветствовать нас.

И когда перед нами открытая
Заалет дорога к весне,
Будет каждым достаточно выпито
Солицепесенной радости дней...

Верю я — мы грядущее вынянчим
На своем трудовом горбу;
Не беда, если солнце не нынче
Запоет в золотую трубу.

1921

Николай ПОЛЕТАЕВ



КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Знамен кровавых колыханье
На бледносиних небесах,
Их слов серебряных блистанье
В холодных и косых лучах.

Рядов сплоченных шаг размерный,
И строгость бледносерых лиц,
И в высоте неимоверной
Гудение железных птиц.

Не торжество, не ликование,
Не смехом брызжущий восторг, —
Во всем холодное сознанье,
Железный, непреложный долг.

1918

ПЕСНИ О СОЛОВЬЯХ

Апрель окреп и потонул в лучах
И бьется голубем ко мне в подвал;
А я хочу вам спеть о соловьях,
О соловьях, которых не слышал.

Но только двор и синевы кусок, —
И грязь цветет, и в золоте ручьи, —
По ним мальчишкой гнал я корабли,
Гнал на коленках, не жалея щек.

И ночью плыл большущий мой корабль,
А я в песках, я на коне скакал,
И утром плесень, — солнечная рябь,
И утром не гудок гудел, а выл шакал.

Послушно шли большие на тот вой,
А я к ручьям на двор, на грязь в цветах,
Но это все опять о мостовой,
Ведь я хотел вам спеть о соловьях.

Это раз, но было со мной:
Синева разгорелась кругом,
И под этой под синевой
Только рожь — золотым ковром.

И потом, когда волосы мать
Рассыпала дождем по плечам,
Золотилась рожью кровать
И подвал обливался в лучах.

Вырос я и послушен гудку,
Только ночью жгут губы дня маяту,
Да вверху по тому же кусту
Звезды горсткой сверлят темноту.

На дворе я? Нет, в темном пахучем саду.
Полон он соловьев и гремящего сна.
Я в доспехах сверкаю, я рыцарем с нею пройду.
Не помойкой — розами душит весна.

Вот почему, когда окошка сеть
Втянула голубя ко мне в подвал,
Мне хочется о соловьях вам спеть,
О соловьях, которых не слышал.

1921

* * *

Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Перо, резец и кисть не в силах
Весь мир огромный охватить,
Который бьется в этих жилах
И в этой голове кипит.

Глаза и мысль нерасторжимы,
А кто так мыслию богат,
Чтоб передать непостижимый,
Века пронизывающий взгляд?

1923

Василий КАЗИН



КАМЕНЩИК

В. Александровскому

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичах.

Поет он, как выше, выше
Я с ношей красной лез.
Казалось — до самой крыши,
До синей крыши небес.

Глаза каруселью кружило,
Туманился ветра клич.
Утро — тоже вносило,
Вносило красный кирпич.

Бреду я домой на Пресню,
Сочится усталость в плечах,
А фартук красную песню
Потемкам поет о кирпичах.

1920

ДЯДЯ ИЛИ СОЛНЦЕ?

Цветут глаза, и слух, и дух цветет, впивая
От каждой твари сочный, пестрый звон.
Но кто родней — мой дядя ли Семен
Сергеевич, иль это солнце мая?
Он очень мил, мой дядюшка-портняжка,
Сердечный, вечный самогонки друг,
Зимой и летом пышущий так тяжко,

Что позавидует утюг.
Он шумный пьяница, но великолепен
Теплыню искренней его нелепый шум —
То вкусной руганью ослепит,
То взбрызнет шуточки изюм.
И как чудесны дядюшкины руки,
Когда, жалея мой влюбленный пыл,
Он мне так ревностно разглаживает брюки,
Чтоб я глазам любимой угодил.
И этих рук сердечное движенье
Ложится родинкой в моей груди.
Вдруг — солнце! Солнышко... Звени, гуди,
Малиновое сердцебиенье!

Сочится солнце с картуза,
Стучится искрами в глаза.
И веселится солнце мая,
Красней бубнового туза,
Страстней гармоники играя.
Струится, брызжется весной,
И по губам и по карманам
Струится праздником румяным,
И я глотаю сочный зной.
Ах, дядюшка, скажи, родной,
Не то ли солнце стало мной,
Не то ли сам я солнцем пьяным?
Как много жизни бьет в груди!
Ах, дядюшка, хоть отцеди
На следующее поколение!
Звени, звени, гуди, гуди,
Малиновое сердцебиенье!..

Цветут глаза, и слух, и дух цветет, впивая
От каждой твари сочный, пестрый звон.
Но кто родней — мой дядя ли Семен
Сергеевич, иль это солнце мая?

1922

ГАРМОНИСТ

Было тихо. Было видно дворнику,
Как улегся ветер под забор
И повевывал... И вдруг с гармоникой
Гармонист вошел во двор.

Вскинул на плечо ремень гармоник
И, рассыпав сердце по ладам,
Грянул — и на подоконниках
Все цветы поплыли по лугам.

Закачались здания кирпичные,
Далью, далью опьянясь,
Ягодами земляничными
Стала сладко бредить грязь.

Высыпал народ на подоконники —
И помчался каждый, бодр и бос,
Под трезвонами гармоник
По студеному раздолью рос.

Почтальон пришел и, зачарованный,
Пробежав глазами адреса,
Увидал, что письма адресованы
Только нивам да лесам.

1924

* * *

Я нет-нет — и потемнею бровью,
Виноватой памятью томим...
Ты прости меня своей любовью
И своим величием простым.

Только ты одна меня любила,
Ты — завода кровная родня,
Теплая, заботливая сила
От тебя теснилась на меня.

Жизнь гражданской тяжбой волновалась,
Не склонялась жизнь любовь беречь, —
Тяжких дней отрядами врывалась
В тихие часы любовных встреч.

Эх, бывало, услышав тревогу,
Ты срывала нежности порыв,
И, оставив строгий след порогу,
На ходу винтовку зарядив,
Своему заводу на подмогу
Ты бежала в гневные ряды.

И, дыша пороховым дыханьем,
Путь марая кровью от следа,
Прибегала вновь — и вновь признаньем
Нежила, сердечна и тверда, —
И своим певучим дарованьем
Я вливался в гневный ряд труда.

Эх, и надо ж было так случиться,
Что явилась, чуждая, она...
Жаркая походка... грудь лучится...
Вся — дразнящая страсти целина.

Знай, что был я духом без ответа,
Что не мог я только побороть
Плоть свою, хмельную плоть поэта,
Падкую на сладостную плоть.

И за ней, за чуждой, за красивой,
От тебя я, милая, ушел, —
Были тщетны все твои призывы,
Даже клич борьбы, как сор, отмел,

Словно с ней, в угоду сладострастью,
Пестрый голос прочих чувств затмил...
Ах, силен телесной женской властью
Потерявший силу старый мир!

Что же проку, и смешно, быть может,
Если после, плотью откипев,
Я готов был против самого же
Обратить рядов рабочих гнев.

Полные великого дерзанья,
Улеглись гражданской тяжбы дни.
Кто под лаской твоего признанья
Твоему заводу стал сродни?

Я нет-нет — и потемнею бровью,
Виноватой памятью томим...
Ты прости меня своей любовью
И своим величием простым.

1924

С ПАРОХОДА «РАДИЩЕВ»

Казалось, «Радищева» странно встречали:
На волны, игравшие с гордой кормой,
Все громче катился обвалом печали
С народом, с повозками берег крутой.

Но даже слепая, глухая могла бы
Душа заприметить, поймать наугад:
Толпясь сарафанами, камские бабы
Тут правили проводов тяжкий обряд.

То плакали, сбросив объятий нескладность,
То плакали в мокрых объятьях опять,
Что скорбной войны беспощадная жадность
Мужей их навеки собралась отнять.

Как будто палимы желаньем горячим,
Чтоб им посочувствовал к пристани путь,
Протяжным, прощальным, рыдающим плачем
Старались и берег в их горе втянуть.

И берег — высокий, красный, в суглинке —
Взирал, как толпа сарафанная вся
Бросалась к мужьям и назад, по старинке
Срывалась в беспамятство, вдаль голоса.

Все ширился пропастью ров расставанья,
И, пролитых слез не стирая с лица,
На палубу острое буйство страданья
Врывалось, стучась пассажирам в сердца.

И в каждом взрывалась страшная жалость,
Но, как ее ни были взрывы страшны,
Она виновато, беспомощно жалась
К сознанию твердого долга страны.

Хоть каждая к сердцу была ей кровинка,
Страна приказала, как строгая мать:
И жизни лишиться, но нет, и суглинка
Вот эту немудрость врагу не отдать!

Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ



О ШАПКЕ

Только тот наших дней не мельче,
Только тот на нашем пути,
Кто умеет за каждой мелочью
Революцию мировую найти.

Кто о женщине. Кто о тряпке,
Кто о песнях прошедших дней...
Кто о чем.
А я — о шапке
Котиковой,
Моей.

Почему в ней такой я гордый?
Не глаза ведь под ней, а лучи!
Потому что ее
По ордеру
Получил.

.

В девятнадцатом в Киев на отдых
Я, усталый, приехать смог.
И, покою два дня лишь отдав,
На третий — в окопы лег.

Мы, голодные, жизнь творили!
Но знали: есть голод-волк.
В этот день мы без пуль покорили
Восставший девятый полк...

Да, о шапке...
И вот оттуда
Голодранцем в Москву припер
И в Це Ка получил, как чудо,

Ордер
«На головной убор».
Ордер этот
В охапку.
В распределитель путь.
Получил я там — летом! —
Шапку
Котиковую,
Не какую-нибудь...

.
И теперь вот, сейчас, сегодня,
Мимо салом заплывших витрин.
Я шагаю, знаменем подняв
Шапку военных годин.

И теперь, что-нибудь покупая,
Выбирая ли, роясь в вещах,
Я об ордере прежнем мечтаю
И новых, идущих днях.

И, прочтя бюллетень о банкноте
Или весть о борьбе биржевой,
Я гляжу на встревоженный котик
С думой грозовой:

Пусть катается кто-то на форде,
Проживает в десятках квартир...
Будет день:
Мы предъявим
Ордер
Не на шапку —
На мир.

1923

О ЧЕМ ГОВОРИЛО МОЛЧАНИЕ

Ее допрашивал четвертый день подряд
Фашистский офицер, увешанный крестами.
Ей руки за спиной выкручивал солдат,
Ее хлестала плетью, ее гноили в яме,
Но был упрямо сжат иссохший тонкий рот,
И только иногда

Страдания человечья
Невольно выдавал руки слепой полет,
Глубокий тихий вздох
да вздрогнувшие плечи.
Угрюмый офицер сказал, что больше нет
Терпенья у него,
что это лишь начало
Таких жестоких мук, каких не видел свет...
Но, желтая, как воск,
она в ответ — молчала.
Угрюмый офицер схватил ее ладонь,
Склонился, хохоча,
в насмешливом поклоне
И вдруг
сигару взял,
прижал ее огонь
К бессильной, но тугой
девической ладони.
Прошло минуты две.
Тончайший горький смрад
Наполнил полутьму высокого подвала.
Прижался в уголок растерянный солдат...
Но, бледная, как смерть,
она в ответ — молчала.

...Прошел недолгий час, —
а может, много лет.
Казалось, полутьма от ужаса густела!
Но так же освещал
свечи дрожащий свет
На плитах кирпича распластанное тело...

Фашистский офицер
над скатертью стола
Бессильно уронил измученные руки.
Ни слова не сказав,
она перенесла
Неслыханную боль, невиданные муки.

Он знал, что режет нож.
Он знал, что пламя жжет.
Он взял сюда огонь и острие металла.

Но был все так же сжат
иссохший тонкий
рот...

Выплывавая кровь,
она в ответ — молчала.

От пламени свечи,
рябившего в глазах,
Плясали на стене чудовищные тени.
И вдруг почувял он,
что рядом ходит страх,
Берет его за грудь,
хватает за колени.

Проклятье! Что за бред?
Себе не веря сам,
Он ринулся вперед,
сломив свою усталость,
Оплывшую свечу поднес к ее глазам
И ясно увидал:
она над ним смеялась.

Не в силах отвести дрожащий свет свечки
От жутких черных глаз,
прожегших тьму подвала,
Фашистский офицер присел на кирпичи
И, в бешенстве дрожа,
проговорил устало:
— Все ясно до конца. Я сам тебя убью.
Не скрою: подлый страх
сейчас меня тревожит!

Ведь я в твоих глазах
увидел смерть свою,
И мнится, что она
уйти с тобой не может.

Но, прежде чем поднять
вот этот острый нож,
Я все-таки прошу
сказать одно лишь слово...

Мы давние враги.
Но ты меня поймешь,
Хотя моя мольба бессильна до смешного.

Разведка донесла,
что пламенная речь

С далеких детских лет была твоей стихией,
Что словом ты могла
миллионы в бой увлечь,
Что этим ты была
известна всей России.
А ныне — ты молчишь,
забыв, что льется кровь!
Я пробовал ножи высокого закала,
Я бил тебя в лицо, —
а ты молчала вновь.
Я жег твои ступни, —
а ты опять молчала!
Я взбешен...
потрясен...

и я хотел бы знать:

Кто выучил тебя,
душой твоей владея,
Чудесно говорить
и так, как здесь, молчать?
Скажи мне: кто же он?
Скажи, скажи скорее!

.

Сиянием озарив подвальный черный свод,
Огромные глаза, как солнце, заблестали,
И, в первый раз открыв
иссохший тонкий рот,
Всей силою души
она сказала:

— Сталин!

1942

ПИСЬМО, ВЛОЖЕННОЕ В ПОСЫЛКУ

Я бойцам, хорошим, нашим,
Шлю большой-большой привет!
А зовут меня Наташа,
У которой мамы нет.

Я с бабусяю родною
Очень-очень вас люблю!
Поделите меж собою
Все, что я для вас пошлю.

Покурите папиросов
И покушайте халву.
Мне принес их дядя Носов,
Где в квартире я живу.

Он еще кусочек сала
И варенья нам принес.
Я не трогала, не брала
Ни одной из папирос.

А халвы — взяла немножко...
Подойду — и как стяну!..
А варенья... только ложку,
Только капельку одну!..

Баба варежки связала
И для ручек и для ног.
Я бабусе помогала:
Долго-долго ей держала
Нитков беленький клубок

Баба все четыре штуки
На примерку мне дала.
Я надела их на руки —
Печкой варежка была!

Я их все-таки раздела,
Насовала ваты в них,
Потому что я хотела,
Чтобы всех бойцов согрела
Пара варежков моих.

Папа мой на фронте тоже...
Я открою вам секрет!
Мне, бабусе и Сереже
Он прислал вчера конфет.

Мы с Сережею решаем:
Их не трогать и не брать!
Половину — скушать с чаем,
Половину — вам послать.

И конфеты и рогалик
Разделив напополам,—

Мы с Сережею гадали:
Что еще послать бы вам?

Я его перехитрила,
Мой кукленок мне помог!
Чтобы вам не скучно было,
Я вам куклу положила,
Завернув ее в платок.

Называют куклу — Маней...
Мы с ней ласково живем.
Я ношу ее в кармане,
А она сидит без няни
И не плачет нипочем.

Кукла тихая такая.
Глазки кножки. Носик мал,
А про ухо я не знаю —
Это Жучка оторвал.

Я прошу вас: куклу эту
Не давайте обижать!
Если рядом дочек нету,
Можно куклу дочкой звать.

И меня ведь мама наша
Звала дочкой много лет.
А сегодня я Наташа
У которой мамы нет.

Мама в городе осталась,
Где стреляли восемь дней.
Мама пряталась, кидалась, —
А один бежал за ней,

Весь противный, весь зеленый,
Вроде жабов и гадюк.
На плечах его — погоны,
На руках его — паук.

Наша мамочка схватила
Острый ножик со стола...
Я не помню, что тут было.
Нас бабуся унесла

Мне сказала тетя Ольга,
Что мамусенька больна
И что очень долго-долго
Не приедет к нам она.

И теперь девчонки наши,
Лиля, Нюся, и Анет,
Все зовут меня Наташей,
У которой мамы нет.

Там, где милый дядя Носов,
Я с бабусею живу...
Вы курите папиросов
И покупайте халву.

А когда придете снова
Там, где мамочка моя,
Вы зеленого такого
Застрелите из ружья.

И еще одно желанье
Я скажу в конце письма:
Берегите куклу Маню,
Будто это я сама.

Станет Маня дочкой вашей,
Чтобы много-много лет
Помнить девочку Наташу,
У которой мамы нет.

1942

Александр ЖАРОВ



ГАРМОНЬ

Посифу Уткину

В поздни ноченьки, припевками
На полях пугая сонь,
Баловались парни с девками
И влюблялись под гармонь.

Н. Кузнецов

ВСТУПЛЕНИЕ

Гармонь гармонь!
Гуляют песни звонко
За каждый покачнувшийся плетень...
Гармонь, гармонь!
Родимая сторона!
Поэзия российских деревень!

Рассыпчатые, трельные лады!
Какому парню
Ваша речь не спилась?!
Нет радости такой и нет такой беды,
Которая бы в вас не уместилась!

Гармонь, гармонь!
Протяжные меха...
Жестяных планок потускневший глянец.
Ах, у какой дивчины на щеках
Твой первый всхлип
Не вызывал румянец?!

Счастливые, гульбиные деньки,
Шумливые солдатские наборы —
Под перебой веселья и тоски
Вплелись
В твои хмельные переборы.

Твой шустрый шум,
Цветисто-пестрый гам,
Невунья перестроенных околиц,
Теперь сумел прибрать к своим рукам
Курчавый, развеселый комсомолец.

И с той же задушевною игрой
В простор полей в премудрых переборах
Врастает новых, зычных песен строй —
О тракторе,
О смычке,
О селькорах!..

Полночица, буди и радуй хаты!
Взрывай в полях спокойствие и сонь,
Волнующий понятный агитатор,
Разгульная кудесница — гармонь!

Рыдай и пой
Затейливо и звонко!
Развеселяй разбуженный плетень!
Гармонь, гармонь!
Родимая сторонка!
Поэзия советских деревень!

1

Который день печалится Тимошка:
Принес тоску с зазнобою разлад,
А все она, разлучница-гармошка...
А большие — кто ж? Никто не виноват.

Марусенька, —
Найду ль другую лучше?..
В глазах другой
Блеснет ли тот огонь?
Марусенька!
Не знал я, что разлучит
С тобою нас проклятая гармонь.

Любовь — она, конечно, не картошка.
Ее не выроень в один прием.
Но все ж решил

Комсомолист Тимошка
На этот раз поставить на своем.

Решил он поддержать свою осанку:
Ведь все же — секретарь и вообще...
Не выйдет больше на гулянку
С тяжелой гармонью на плече.
Тили-линь да тили-лень...
В плечи режется ремень.

— Девушки-голубушки,
Писанные любушки.
Вам хиханьки да хаханьки,
Скачете, что махоньки.

Целы ночи на гумне
Пляшете «метелицу».
Не пристало, девки, мне
С вами канительиться!

Девицы-красавицы,
Мне не полагается:
Из-под ног глотая пыль,
Вам наяривать кадрили.

Вы спросите, девицы:
Куда Тимошка денется?
Он не будет петь-плясать,
А будет тезисы писать.

Ну, а вы, что махоньки:
Все хиханьки да хаханьки.
Но мне ль теперь, подумайте, к лицу
Резвиться с вами в песнях перепетых?
Да мне ль теперь звенеть, как бубенцу, —
Секретарю
И члену сельсовета?..

Продам гармонь,
Как старый тарантас,
Пускай она в других руках застонет.
Ах, девушки,

Придумать бы для вас
Что-либо поумней гармонии!

Вот погодите: это все не вдруг —
Я доберусь проведать город дальний.
Я научусь там проводить досуг
Под звуки радио
В избе-читальне!

Мы всколыхнем тогда наш темный край,
По-новому — цветисто и речисто.
Ну, а теперь пока — прости-прощай!
Связал гармонь,
Убрал ее в сарай.
Нет на селе Тимошки-гармониста...

— Не ходить мне под окошко.
Не будить ее гармошкой.
Потерял, видать, Марусю.
На нее я не сержуся.

От Маруси пойду к Тоне:
— Полюби, мол, без гармонии.
Хочешь — любишь, хочешь — нет,
Вот тебе один ответ.

Любовь — она, конечно, не картошка.
Ее не выроешь в один прием.
Но все ж решил
Комсомолист Тимошка
На этот раз
Поставить на своем.

II

Каждый день к избе своей,
Не селом — оврагами,
Ходит важный Тимофей
С важными бумагами.

Будто ветер полевой
Мчит. А ноги — пулями.
За овинами его
Девки караулили...

— Что ж вы мимо тянете,
Тимофей Васильевич?
К нам-то не заглянете,
Тимофей Васильевич?

— Навоз продал? Забурел,
Тимофей Васильевич.
Видно, много разных дел,
Тимофей Васильевич?

— Вам теперь, чай, не до нас,
Тимофей Васильевич?
Оторвались от масс,
Тимофей Васильевич...

День не спали, ночь не ели,
Все сидели — мучились.
Мы об вас, Тимоша-свет,
Скукою соскучились.

Все гляделки проглядели
Через щели и пазы:
Не видать ли вашей шалой,
Разудалой гармозы?

Застоялись голоса,
Отекают ноженьки.
Ах, ужели вам до нас
Не найти дороженьки?

III

Отвечает Тимофей
Коротко и ясно:
— Это очень хорошо,
Хорошо-прекрасно.

Было время — поплясали,
А теперь уж — дудки.
Что такой вообще гармонь?
Просто... предрассудки...

Есть в волкоме мой проект
И в уотнарабе:

Чтоб гулянки отменить
В волостном масштабе.

А замест гулянок всех
Обучать вас надо —
На собраниях посещать
Лекции-доклады.

Там займемся мы всурьез
Мозговым ремонтом.
Каждой девке надо быть
Девкой... с горизонтом.

Это будет хорошо,
Хорошо-отлично,
Заявляю вам конкретно
И категорично...

Среди девок кутерьма:
— Тимофей сошел с ума...

Припустились бежать,
Только пыль клубится.
— Бабку, что ль, к нему позвать
Иль везти в больницу?

Донести в совет — резон,
Он ведь там — начальник...
Намекнул... про горизонт...
Этакий охальник!

IV

Гармонь, гармонь!
Гуляют песни звонко
За каждый покачнувшийся плетень.
Гармонь, гармонь!
Родимая сторона!
Поэзия российских деревень...

— На столе стоит
Чарка с водочкой,
Под гармонь пройдусь
За молодочкой.

В хороход зайду:
Что там деется?
Подходи ко мне,
Красна девица.

Выбирай меня
Своим суженым.
Получай платок
С белым кружевом...

Захлебнулася гармонь
Заунывным хрипом...
У Антипа сапоги —
Сапоги со скрипом.

У Антипа сапоги
С медною подковкой.
У Антипа на плечах
Новая поддевка.

У Антипа сапоги
Огнем пламенелися...
— Эх, не белы снеги
Да в чистом поле забелелися-а-ааа...

— Ну, дивчина, выходи,
Что ж ты, в рот те дышло?
В круг Маруся от подруг
Неторопко вышла.

— Не шути, веселый гость,
Шутками с похмелья,
Может, нам не понутру
Эдако веселье?

Знать, в гармошке у тебя
Много старой плесени?
Может, нам не по душе
Эдакие песни?

Песни девушкам сладки,
Словно чай в прикуску.
Любят девушки гармонь
За веселу музыку.

А платочек — ни к чему —
Прошивное кружево.
За любовь — не за платки —
Выбираем суженых.

Отодвинь сапоги:
Вижу, что не лапоть.
Отчепись, гражданин,
Погоди-ка лапять.

Эй, Марфутка, ну-тка, ну-тка,
Грянем шутку-прибаутку.

— Чорт с тобой, что ты пижон,
Красиво одеваешься...
За девочкой гоняешься...
Чего ж ты добиваешься?

— Гармонь нова.
Крышка стерта.
Гармонист
Похож на чорта!..

Тыра-мана, тыра-мана,
Тыра-мана-на!..
Эх, старая заквасочка
В гармонике видна...

У

Который день печалится Тимошка:
Пришел проект из волости назад.
И надпись на проекте:
«Не гармошка,
А ты, Тимошка, виноват».
И дальше резолюция гласила:
«Пойми, — не зря сидишь в секретарях, —
Что на селе гармонь — большая сила,
Когда гармонь
В своих руках».

Какой конфуз...
Попал я пальцем в небо.
В глазах обида. На щеках огонь.
Какой конфуз..

Так, значит, что же — треба
Итти в сарай откапывать гармонь?

Пошел в сарай. А сердце било дрожью.
По лестнице залез на сеновал...
Марусенька, касаточка, за что же,
За что тогда
Тебя я потерял?..

— Тимофей Васильич, здрасте!
Тимофей Васильич, слазьте!
Вы же все-таки у власти:
Заступитесь за меня!

Наехали супчики,
Купчики-голубчики.
Пристают да лапают,
Чортова родня!

Этакие бабники,
Бабники-похабники!
Гармонист такой жиган...
Прихватите-ка наган!

Грубиян да забияка,
К нашим парням лезет в драку,
Тимофей, что лошадь в мыле.
— Ах, Маруся, это вы ли?
Неужели не забыли?

Мы сейчас покажем пьяным
Кулаковским хулиганам,
Только вовсе не наганом,
А совсем наоборот:

Прихвачу я для порядку
Голосистую трехрядку...
Отцепися, обормот,
Не вяжися в хоровод!

VI

— Жохни, песней изольюся, —
Говорит ему Маруся.

— Эх, ты ли меня, я ли тебя
Иссушила?
Ты ли меня, я ли тебя
Извела?

Ты ли меня, я ли тебя
Из кувшина,
Ты ли меня, я ли тебя
Из ведра?..

...Ты ли меня, я ли тебя,
Я ли тебя, ты ли меня...
Ты ли меня, тырамана,
Тырамана
Па-а!..

Кабы не было беды,
Я бы сердце вынула —
За серебряны лады,
За меха малиновы.

Хрусталки-хрустали,
Песни перламутровы.
Прогуляем до зари,
Песней встретим утро мы.

Колокольцами тревонь:
Динь-дон-лада...
Разлюбезная гармонь —
Девичья отрада...

Я наведалась намени
К заутрене и к обедне.
А теперь — гармонь — беда:
Не пускает шкуда.

Сыпь, Тимоша, поновей!
Не перечу!
Злей, гармошка, злее лей
Девушкам навстречу!

Будем сами сочинять,
Если песен мало.

— Как родная меня мать
Прово-жа-а-ла...

Захлебнулася гармонь,
Разыгралась хлестко.
У Тимоши-гармониста
На пробор прическа.

В куртке — красненький билетик.
Что-то в том билетике?
У Тимоши-то калоши,
Со шнуром штиблетки...

Сыпь, Тимоша, в хоровод!
Собирай вокруг народ.

Только знак подай народу:
Под гармонь —
В огонь и воду.

А хороший гармонист —
Это не утеха ли?

— Антип, садись,
Антип, заткнись...
Слезай,
Приехали...

VII

Не давит прежней тяжестью гармошка.
Не режет плеч истеганный ремень.
На митинг
Молодежь ведет Тимошка
В Международный юношеский день.

Далекий путь — лесами, сжатой рожью —
В цветистом шуме показался мал...
Звенит гармонь,
И вместе с молодежью
Леса поют «Интернационал»...

И даже ветер подпевает тонко,
Лаская свежестью шумящий день...
Гармонь, гармонь!

Родимая сторонка!
Поэзия
Советских
Деревень!..

1926

ВОЛГА ВПАДАЕТ В МОСКВУ

Послушную рифмой
Истории вторю я.
Но надо в виду
Непрерывно иметь:
Когда
Переделывается история,
Нельзя географии не задеть...

Началам истории
Песней потрафили
Ряды
Голосистых певцов заводских,
А вот
Реконструкция географии
Не крепко, не плотно
Затронула их.

Придется проверить,
Планируя, вскоре
Обширного мира
Малейшую пядь.
Вот Волга, —
Впадает в Каспийское море,
А разве ей
Некуда больше впадать?

Века
По ее полнокровным угодьям
К соленому Каспию
Катит вода...
Но грозно нависла
Опасность безводья
Над шумно растущей
Столицей труда.

Столица —
В бетоне, в граните, в железе,
В дыму и в поту,
В напряженной жаре —
Имеет, казалось бы, право погрезить
О водной стихии
Широкой игре?

Но можем ли мы
Отвлеченной плутовке,
Бездельнице-грезе
Часы отдавать?
Нет!
Будем верны боевой установке:
Чтоб строить, мечтая,
И, строя, мечтать!

Ужель не сумеем
И прочно и быстро,
Виденья мечты
Претворив наяву,
По руслам
Сестры, и Сенежа, и Истры
Заставить направиться
Волгу в Москву?..

Работой обводнения
Засушья не допустим,
Да здравствует
Рождение
Ее второго устья!

Каналами в Сенсже,
Плотиною у Старицы
Москве
Доставить свежесть,
Не дать Москве
Состариться!

Напиться и умыться ей,
И вельню одеться ей...
Над красною столицею

Вставай,
Заря Венеции:

Проливами практики
Лейся, теория!
Тебе
В перестроенном мире гудеть.
Когда
Переделывается история,
Нельзя географии
Не задеть.

Победный класс!
Тебе любая глыба
С оружием техники
Окажется с руки..
Нет крепостей таких,
Которых не смогли бы
Взять
Большевики.

1932

ЗВЕЗДА

Моряк с пехотинцем рядом.
Ни шороха по рядам.
Молчаньем не скрыть отрады:
Вручает страна награды
Своим боевым сынам.

Нам родина поручила
Нести сквозь огонь беды,
Как символ чудесной силы,
Исмеркнувший, пятикрылый
Рубиновый знак звезды.

В часы штормовой погоды
Он с башен кремлевских взят.
Спустился он, строгий, четкий,
На каски и на пилотки,
На ленты морских ребят.

Горит он и не погаснет!
На суше и над водой
Кромсан врага на части,
Идем мы вперед, за счастьем
Под красной своей звездой...

Суровой тропой бесстрашья
К победной черте веди, —
Звезда на кремлевской башне,
Звезда на моей фуражке,
Звезда на моей груди!

1942

Иосиф УТКИН



ПОВЕСТЬ О РЫЖЕМ МОТЭЛЕ, ГОСПОДИНЕ ИНСПЕКТОРЕ, РАВВИНЕ ИСАЕ И КОМИССАРЕ БЛОХ

(Отрывки)

«ПРИ ЧЕМ» И «НИ ПРИ ЧЕМ»

Этот день был таким новым,
Молодым, как варя!
Первый раз тогда в Кишиневе
Цели не про царя.

Таких дней немного,
А как тот — один!
Тогда не пришел в синагогу
Господин раввин!

Брюки!
Жилетки!
Смейтесь!
Радуйтесь дню моему!
Господин полицмейстер
Сел
В тюрьму!
Ведь это же очень и очень!
Боже ты мой!
Но почему не хохочет
Господин
Городовой?

Редкое, мудрое слово
Сказал сапожник Илья:
— Мотэле, тут ни при чем Егова:
А при чем ты
И я.

.

И дни затараторили,
Как торговка Мад.

И евреи спорили:
«Да» или «нет»?
Так открыли многое
Мудрые слова,
Стала синагогою
Любая голова.
Прошлым мало в нынешнем:
Только вой да ной.

«Нет», —
Инспектор вы решил:
«Да», —
Сказал портной.

.
А дни кто-то вез и вез,
И в небе
Без толку
Висели пуговицы звезд
И лунная
Ермолка.

И в сонной скупой тиши
Пес кроворотый лаял.
И кто-то
Крепко
Сшил
Тахрихим
Николаю!

Этот день был таким новым,
Молодым, как заря!
Первый раз тогда в Кишиневе
Нели
Не про царя.

«ПЕСНЯ ТЕКУЩИХ ДЕЛ»

И куда они торопятся,
Эти странные часы!
Ой, как сердце в них колотится!
Ой, как косы их усы!
Ша!

За вами ведь не гонятся?
Так немножечко назад...
А часы вперед, как конница,
Все летят.

.
Этот день был небесным громом,
Сотрясением твердынь!
Мэд видала, как вышел из дому
Инспектор — без бороды?!

— Выбрился! Честное слово!
Тысяча слов!
И ахал в Кишиневе
Весь Кишинев.

.
И собаки умеют плакать,
Плакать, как плачем мы.
Ну, попробуйте, скажем, лапу
Ударить, ущемить.

Да, бывает: собака плачет.
А что же тогда человек?
И много текло горячих,
Горьких, соленых рек.

Слезы не в пользу глазу.
И человек сказал: — И-ну!
Так инспектор потерял сразу
И бороду
И жену.

Хоть жену не совсем утратил.
Но курица стала не та.
Ну, скажем,
Стала его Катя
Курица без хвоста.

Счастье — оно игриво!
Счастье — сумасброд!
И ждал он терпеливо:
— Наверно, назад придет.

Но... на морозе голого
Долго не греет дым,

И он опустил голову,
Голову без бороды.

Так, окончательно сломан,
Робок, как никогда,
Инспектор пришел к портному,
Чтобы сказать:
«Да».

.....
Маленький жиденький столик
(Ножка когда-то была).
Инспектор сидит и «колет»
«Текущие дела».

Путь секретарский тяжек:
Столько сурьезных слов!
Столько су-рьез-ных бу-ма-жек —
И на каждой:
Блох, Бобров.

Контроли... контроли... контроли...
Комиссия, вот, была...
Инспектор сидит и «колет»
«Текущие дела».
И он мечтает — не больше
(Что же осталось ему?):
Как бы попасть в Польшу
И не попасть
В тюрьму.

В ОБЩЕМ ФОКУСЕ

Что значит: хочет человек?
Как будто дело в человеке!
Мы все, конечно, целый век
Желаем
Золотые реки.
Все жаждем сахар, так сказать,
А получается иначе;
Да, если хочешь
Хохотать, —
То непременно
Плачешь.

По дайте жизни!..
Новый век —
Иной уют,
Иная крыша, —
И тот же самый человек
Вам будет
На голову выше.

Для птицы главное — гнездо.
Под солнцем всякий угол светел.
Вот Мотале, он «от» и «до»
Сидит в сердитом
Кабинете.

Сидит, как первый человек!
И «нет, так нет», здесь не услышишь.
В чем фокус? Тайна?..
Новый век —
Иной уют,
Иная крыша...

О-о-о, вре-мя!
Плохо... хорошо.
Оно и так и этак вертит.
И если новым
Срок пришел,
То, значит, старым —
Время смерти!..

ПОГРЕБАЛЬНАЯ

Комната... Тихо... Пыльно.
Комната... Вечер... Синь.
Динькает
Будильник
Динь...

Динь...

Динь...

Час кончины — он приходит
Тихо-тихо, не услышишь.
И уходит молча счастье,
И уходят
Мыши.

Только горе неизменно.
Заржавел пасхальный чайник!
И задумываются стены.
И —
Молчанье.

Он заснежит, он завьсяжит, —
В полночь ветер белорукий,
И совсем теперь не нужен
Ни талмуд,
Ни брюки.

Тихо. Сумрак нависает.
Не молитва и не ужин...
Пусть по-новому, Исая,
Стол тебе послужит.
А потом —
К пиному краю.
В рай, конечно, — не иначе...

Тихо!
Свечи догорают,
Тихо!
Сарра плачет...

О-о-о, вре-мя!
Плохо... хорошо, —
Оно и так
И этак
Вертит.

И если новым
Срок пришел,
То, значит,
Старым —
Время смерти...

Да, если новым
Срок пришел,
То, значит, старым —
Фертиг¹.

¹ Фертиг — готово, конц.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

До Кракова — ровно сорок,
И до Варшавы сорок,
Но лучше, чем всякий город,
Свой родной город.
Разве дворцом сломите
Маленькие, заплатанные —
Знаете? — домики,
Где смеялись и плакали?
Вот вам и меньше и больше...
Каждому свой мессия.
Инспектору нужно Польшу,
Портному — Россия.

Сколько с ней было пройдено!
Будет еще пройдено,
Милая, светлая родина!
Свободная родина!

Золото хуже меди,
Если рукам верите...
И Мотэлю
Не уедет —
И даже
В Америку.
Не-ет, он шагал недаром
В ногу с тревожным веком.
И пусть он — не комиссаром,
Достаточно —
Че-ло-ве-ком!

Можно и без галопа
К месту приехать;
И Мотэлю будет штопать
Наши прорехи.

.
Милая, светлая родина!
Свободная родина!
Сколько с ней было пройдено,
Будет еще пройдено.

1925

Не этой песней старой
Растоптанного дня,
Интимная гитара,
Ты трогаешь меня.

В смертельные покосы
Я нежил, строг и юн,
Серебряную косу
Волнующихся струн.

Сквозь боевые бури
Пронес я за собой
И женскую фигуру
Гитары дорогой!..

Всегда смотрю с любовью,
И с нежностью всегда,
На политые кровью,
На бранные года.

Мне за былую муку
Покой теперь хорош.
(Простреленную руку
Сильнее бережешь!)

...Над степью плодоносной
Закат всегда богат,
И бронзовые сосны
Пылают на закат...

Ни сена! И ни хлеба!
И фляги все — до дон!
Под изумрудным небом
Томится эскадрон...

...Что пуля? Пуля — дура.
А пуле смерть — сестра!
И сотник белокурый
Склонился у костра.

Теперь веселым скопом
Не спеть нам, дорогой.
Одни —
Под Перекопом,
Другие —
Под Ургой.

Но стань я самым старым,
Взглянув через плечо,
Военную гитару
Я вспомню горячо.

Сейчас она забыта.
Она ушла в века —
От конского копыта,
От шашки казака.

Но если вновь, бушуя,
Придет пора зари, —
Любимая,
Прошу я—
Гитару подари!

1926

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

— Ну-ка, двери отвори:
Кто стоит там у двери?
— Это нищий, Аннушка.

— Дай краюху старику.
Да ступай-ка на реку.
Кто там стонет,
Будто тонет?
— Это лебедь, Аннушка.

— Так поди-ка за плетень:
Почему такая тень?!
— Это ружья, Аннушка.

— Ну, так выйди за ворота, —
Расспроси, какая рота:

Что? Какого, мол, полка?
Не хотят ли молока?
— Не пойду я, Аннушка!

Это белые идут,
Это красного ведут,
Это... муж твой, Аннушка...

1939

КРАСНОАРМЕЙЦУ

Я видел девочку убитую.
Цветы стояли у стола.
С глазами, навсегда закрытыми,
Казалось, девочка спала.

И сон ее, казалось, тонок,
И вся она напряжена,
Как будто что-то ждал ребенок...
Спроси, чего ждала она?

Она ждала, товарищ, вести,
Тобою вырванной в бою, —
О страшной, беспощадной мести
За смерть невинную свою!

1941

СОЛДАТСКАЯ

С песней, с дробью барабанною
Мы, друзья, в ряды построимся
И, ступив на поле бранное,
Славной смерти удостоимся.

Подвиг, мужественно пройденный,
Не забудется потомками.
Будет петь веками родина
Нашей славы песни громкие!

...Черный ворон в небе кружится,
Нам грозит зрачками тусклыми,

Но, испытанное в мужестве,
Не поддастся сердце русское.

Наши деды, наши прадеды
Не служили кривде слугами;
Мы земли не ищем краденой,
Чести ищем непоруганной!

Мы на ветер слов не тратили,
Мы клялись родным околицам.
Наши жены, наши матери
За победы наши молятся.

Слово храбрых — слово твердое.
И земли родной не выдадим;
Русских можно видеть мертвыми,
Но рабами их не видели!

С песней, с дробью барабанною
Мы, друзья, в ряды построимся
И, ступив на поле бранное,
Славной смерти удостоимся.

1942

Михаил С В Е Т Л О В



РАБФАКОВКЕ

Барабана тугой удар
Будит утренние туманы, —
Это скачет Жанна д'Арк
К осажденному Орлеану.

Двух бокалов влюбленный звон
Тушит музыка менуэта, —
Это празднует Трианон
День Марии-Антуанетты.

В двадцать пять небольших свечей
Электрическая лампадка, —
Ты склонилась, сестры родней,
Над исписанною тетрадкой.

Громкий колокол с гулом труб
Начинают святое дело, —
Жанна д'Арк отдает костру
Молодое тугое тело.

Палача не охватит дрожь
(Кровь людей не меняет цвета), —
Гильотины веселый нож
Ищет шею Антуанетты.

Ночь за звезды ушла, а ты
Не устала, — под переплетом
Так покорно легли листы
Завоеванного зачета.

Ляг, укройся, и сон придет,
Не томися минуты лишней.
Видишь: звезды, сойдя с высот,
По домам разошлись неслышно.

Ветер форточку отворил,
Не задев остального зданья,
Он хотел разглядеть твои
Подошедшие воспоминанья.

Наши девушки, ремешком
Подпоясывая шинели,
С песней падали под ножом,
На высоких кострах горели.

Так же колокол ровно бил,
Затихая у барабана...
В каждом братстве больших могил
Похоронена наша Жанна.

Мягким голосом сон зовет.
Ты откликнулась, ты уснула.
Платье серенькое твое
Неподвижно на спинке стула.

1925

ГРЕНАДА

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях.
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.

Но песню иную,
О дальней земле,
Возил мой приятель
С собою в седле.
Он пел, озирая
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Он песенку эту
Твердил наизусть...

Откуда у хлопца
Испанская грусть?
Ответь, Александровск,
И Харьков, ответь:
Давно ль по-испански
Вы начали петь?
Скажи мне, Украина,
Не в этой ли ржи
Тараса Шевченко
Папаха лежит?
Откуда ж, приятель,
Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
Он медлит с ответом,
Мечтатель-хохол:
«Братишка! Гренаду
Я в книге нашел.
Красивое имя,
Высокая честь, —
Гренадская волость
В Испании есть!
Я хату покинул,
Пошел воевать,
Чтоб землю в Гренаде
Крестьянам отдать.
Прощайте, родные!
Прощайте, семья!
Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Мы мчались, мечтая
Постичь поскорей
Граматику боя —
Язык батарей.
Восход поднимался
И падал опять,
И лошадь устала
Степями скакать.
Но «Яблочко»-песню
Играл эскадрон
Смычками страданий
На скрипках времен...
Где же, приятель,

Песня твоя:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя»?
Пробитое тело
Наземь сползло,
Товарищ впервые
Оставил седло.
Я видел: над трупом
Склонилась луна,
И мертвые губы
Шепнули: «Грена...»
Да. В дальнюю область,
В заоблачный плес
Ушел мой приятель
И песню унес.
С тех пор не слышали
Родные края:
«Гренада, Гренада,
Гренада моя!»

Отряд не заметил
Потери бойца
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
Лишь по небу тихо
Сползла погода
На бархат заката
Слезинка дождя...

Новые песни
Придумала жизнь.
Не надо, ребята,
О песне тужить.
Не надо, не надо,
Не надо, друзья...
Гренада, Гренада,
Гренада моя!

1926

ПЕРЕД БОЕМ

Я нынешней ночью
Не спал до рассвета,

Я слышал: проснулись
Военные ветры.
Я слышал: с рассветом
Девятая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.

За тонкой стеною
Соседи храпели,
Они не слышали,
Как ветры скрипели.

Рассвет подымался,
Тяжелый и серый,
Стояли усталые
Милиционеры.
Пятнистые кошки
По каменным зданьям
К хвостатым любовникам
Шли на свиданье.

Над улицей тихой,
Большой и безлюдной,
Вздымался рассвет
Государственных будней,
И, радуясь мирной
Такой обстановке,
На теплых постелях
Проснулись торговки.

Но крепче и крепче
Упрямая рота
Стучала, стучала,
Стучала в ворота.
Я рад, что, как рота,
Не спал в эту ночь,
Я рад, что хоть песней
Могу ей помочь.

Крепчает обида, молчит.
И внезапно
Походные трубы
Затрубят на Запад.
Крепчает обида.

Товарищ, пора бы,
Чтоб песня взлетела
От штаба до штаба!

Советские пули
Дождутся полета...
Товарищ начальник,
Откройте ворота!
Туда, где бригада
Поставит пикеты, —
Пустите поэта
И песню поэта!

Знакомые тучи!
Как вы живете?
Кому вы намерены
Нынче грозить?
Сегодня на мой
Инджачок из шевьота
Упали две капли
Военной грозы.

1927

У К Р А И Н А

Сколько шашек, гремя о победе,
Эти травы роскошные трогали!..
Ты пришла к нам, изранена, бредя
Именами Шевченко и Гоголя.

По волнам голубого стекла
Ты неслась гайдамацкими пиками,
Ты не медом, а кровью текла
По усам генерала Деникина.

Ты свинцом провожала гостей,
Ты в дырявом платке замерзала
В ожидании советских частей
У Синельниковского вокзала.

Я хотел бы опять и опять
Комсомольскою песнею вторить

Всем победам твоим и шагать
По пространствам твоих территорий,

Чтобы в звеньях полка молодого
Снова юным пройти сквозь бон,
Чтобы неба полтавского вдоволь
Мне хватило на годы мои!

Юных песен и родины жажда —
Я хожу и шепчу по Москве:
— Пусть живет она счастлива дважды!..
Хай живе! Хай живе! Хай живе!

1927

ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ

(Из поэмы)

Положи на сердце эту песню,
Эту строчку каждую возьми!..
Жизнь гвардейца! Повторись! Воскресни
Песнею о двадцати восьми!

Проходи, мой стих, путем победным,
Чтобы, изучая, не спеша,
Не дымком воспоминаний бледным —
Дымом артиллерии дышать!

Проплывут гвардейские знамена,
И ракеты вспыхнут на пути,
Каждого гвардейца поименно
Пригласив в бессмертие войти.

Вытирая о ступеньки ноги,
Он взойдет тихонько по крыльцу,
Он войдет и встанет на пороге
Песни, посвященной храбрецу.

Бледный и усталый от сраженья,
Он войдет и скажет на ходу:
«Я в грязи, а здесь — стихотворенье!
Лучше я, товарищи, уйду!»

Оставайся! Мы тебя не пустим!
Здесь твой дом! И здесь твоя семья!
Лучшая учительница чувствам —
Русская застенчивость твоя!

Домовитый, мужественный, честный,
По-хозяйски посмотри вокруг.
Песня без хозяина — не песня!
Будь ее хозяином, мой друг!

Потому что каждая страница —
Мужества широкие поля,
Песнями, легендами, пшеницей
Русская богатая земля!

Заходи же! Ты имеешь право!
Ты бессмертен! Ты — хозяин тут,
Потому что реки нашей славы
В океан бессмертия текут!

И опять идут за ротой рота
В смертный бой, и впереди, взгляни, —
Большевистской партии высоты,
Комсомола яркие огни!

.
Мир наступит, землю согревая,
Унося артиллерийский дым...
Все, что мы сейчас переживаем,
Мы воспоминаньям отдадим.

Мы пойдем путем подразделений
За воспоминаниями вслед.
Вспомним горечь первых отступлений,
Сладость завоеванных побед.

По минуте каждой повторится
Наш сегодняшний военный день,
И мгновенно память озарится
Пламенем горящих деревень.

И сквозь годы память, как начальник,
Снова поведет нас за собой.
Пробираясь темными ночами
Темной партизанскою тропой.

Вспомним, как мы время измеряли
По движенью пулеметных лент,
Как в бою друг друга не теряли —
Комиссар, боец, корреспондент.

Как стихи писали, как на месте
Останавливалось перо
В ожиданьи утренних известий
От Советского Информбюро.

Как в окне боевые сутки
Проводили взводом сообща,
Как шипящий круглый репродуктор
Имена героев сообщал.

В этом гуле пушечных раскатов
Никогда не забывайте их,
Навсегда на сердце отпечатан
Имена погибших и живых.

И чтоб лучше видеть это время,
Все пространство пройденных путей,
Соберите молодое племя,
Поднимите на руки детей.

Чтоб они, войдя веселым строем
В нами завоеванные дни,
Научились подражать героям,
Поступали так же, как они!

1942

Михаил ГОЛОДНЫЙ



РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ

Не сплю я ночь.
Проходит день,
И вижу я опять:
Война свою большую тень
Бросает
на кровать.

Моя кровать
из трех досок,
Соломенный тюфяк,
Стакан,
недопитый глоток,
Петронутый табак.

Ночь по-осеннему шумит,
Скрипит моя кровать,
Иль, может, то
снаряд свистит?
Или шрапнель
опять?

Мечта отходит от дверей,
Вот стала
в головах:
Крыло раздроблено у ней,
Винтовка
на плечах.

— Вставай!
В тревоге десять стран.
Уж вызов
брошен нам.

Взгляни:
мой верный барабан
Расколот пополам.

К Светлову
я сейчас зашла,
Давно забыл он сон.
Я у Багрицкого была ---
Винчестер
чистит он.

Вставай!
Асеева зови,
Он бродит у ворот.
Твою поэму о любви
Не кончим
в этот год.

Ночь по-осеннему шумит.
Скрипит моя кровать.
А может, то
снаряд свистит?
Или шрапнель
опять?

Я поднимаюсь,
наконец.
С меня не сводят глаз
Светлова
раненый боец,
Багрицкого —
Опанас.

«Ты Украину не любил,
В тебе — вода,
не кровь,
Ты Украину позабыл,
Все пишешь
про любовь.

...Не верим мы.
А если так, —
Тогда ложись и спи.
Тебе соломенный тюфяк
Милей твоей степи.

Знай — близок он,
военный гул,
И мать твоя не спит,
Хоть глаз один ее уснул,
Другой —
в Москву глядит...»

Ночь по-осеннему шумит.
Скрипит моя кровать.
Иль, может, то
снаряд свистит?
Или шрапнель
опять?

В моем окне
чуть брезжит день...
Но, видно, мне не спать.
Война свою большую тень
Бросает на кровать.

1927

СУДЬЯ ГОРБА

На Диевке-Сухачевке
Наш отряд.
А Махно зажег тюрьму
И мост взорвал.
На Озерку не пройти
От баррикад.
Заседает день и ночь
Ревтрибунал.

Стол накрыт сукном судейским,
Над сукном
Сам Горба сидит во френче
За столом.

Суд идет революционный,
Правый суд.
Копвоиры гада-женщину
Ведут.

— Ты гражданка Ларионова?
Садись.

Ты решила, что конина
Хуже крыс,
Ты крысятину варила нам
С борщом!
Ты нам кашу подавала
Со стеклом!
Пули, выстрела не стоит
Твой обед.
Сорок бочек арестантов...
Десять лет!

Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры начугрозыска
Ведут.

— Ну-ка, бывший начугрозыска
Матяш,
Расскажи нам, сколько скрыл ты
С Беней краж?

Ты меня вводил, Чека вводил
В обман.
На Игрени брал ты взятки
У крестьян!
Сколько волка ни учи —
Он в лес опять.
К высшей мере без кассаций,
Расстрелять!

Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры провокатора
Ведут.

— Сорок бочек арестантов!..
Виноват...
Если я не ошибаюсь,
Вы — мой брат.
Ну-ка, ближе, подсудимый,
Тише, стоп!
Узнаю у вас, братуха,
Батин лоб...

Вместе спали, вместе ели,
Вышли — врозь.
Перед смертью, значит,
Свидеться пришлось.
Воля партии — закон,
А я — солдат.
В штаб к Духонину! Прямей
Держитесь, брат!

Суд идет революционный,
Правый суд.
Конвоиры песню «Яблочко»
Поют.

Вдоль по улице Казанской
Тишина.
Он домой идет, Горба.
Его спина
Чуть сутулится. А дома
Ждет жена.
Кашу с воблой
Приготовила она.

Он стучит наганом в дверь:
— Бери детей.
Жги бумаги, две винтовки
Захвати.
Сорок бочек арестантов...
Поживей!
Па Диевку-Сухачевку
Нет пути!

Суд идет революционный,
Правый суд.
В смертный бой мои товарищи
Идут.

1933

ЖЕЛЕЗНЯК

В степи под Херсоном —
Высокие травы,
В степи под Херсоном — курган.

Лежит под курганом,
Овеянный славой,
Матрос Железняк, партизан.

Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону —
В засаду попался отряд.
Полхлеба на брата,
Четыре патрона
И десять последних гранат.

— Ребята, — сказал,
Повернувшись к отряду,
Матрос, партизан Железняк:
— Штыком и гранатой
Мы снимем засаду,
И десять гранат — не пустяк.

Сказали ребята:
— Херсон перед нами,
И десять гранат — не пустяк.
Прорвались ребята,
Пробились штыками,
Остался в степи Железняк.

В степи под Херсоном —
Высокие травы,
В степи под Херсоном — курган.
Лежит под курганом,
Овеянный славой,
Матрос Железняк, партизан.

Виссарион С А ЯНОВ



СОВРЕМЕННОСТИ

Пусть поют под ногами камня,
Высоко зацветают поля,
Для людей моего поколения
Верным берегом стала земля.

И путиловский парень и пленник,
Полоненный кайенской тюрьмой, —
Все равно, это мой современник
И товарищ единственный мой.

И расскажут покорные перья,
С нетерпеньем, со смехом, с тоской,
Все, чем жил молодой подмастерье
В полумраке своей мастерской.

Снова стынут снега конспираций,
Злой неволи обыденный гнет.
В эту полночь друзьям не пробраться
К тем садам, где шиповник цветет.

Но настанет пора — и внезапно
В белом пламени вздрогнет закат,
Сразу вспышки далекие валпов
Нежилые дома озарят.

И пойдут заповедные вести
Над морями, над звонами трав,
Над смятением берлинских предместий
И в дыму орлеанских застав.

Наши быстрые годы не плохи
И верны и грозе и лютю,
На больших перекрестках эпох
Снова сверстников я узнаю.

1925

Снова море в огне небывалом,
И на Балтике снова весна.
Наклонивши лицо над штурвалом,
Молодые поют штурмана.

Тот, что кепку на лоб нахлобучил,
Может быть, не вернется домой,
И проходят высокие тучи,
Звезды тают над нашей кормой.

Я узнаю тебя по затылку,
По нашивке на том рукаве,
И прижмется твоя бескозырка
К запрокинутой вверх голове.

Синий вымпел скользнет по канату,
Словно с неба сошла синева,
Разбросавши костры по вакату,
Легкой тенью пройдут острова.

На зеленый простор вылетая,
Ночь разводит мосты, и опять
Там, где стынет дорога ночная,
Паренька дожидается мать.

Спи, товарищ, качавшийся с нами,
В море почесть особая есть:
Подымается месяц, как внямя,
И волна отдает тебе честь.

1926

РОВЕСНИКАМ

Семнадцатилетние мальчики,
Вы закомнили пули и топот,
Те дороги, которые юность
Торопливо по снегу вели,
В полумночных разведках,
В перестрелках накопленный опыт.
Всю далекую сутемь
Завещанной вьюгам земли.

Вместе с нами росли
И деревья высокого сада.

Мы не знали тоски,
Но кипело волнение в крови.
Вечерами теснятся дожди,
На рассвете приходит прохлада.
Поколение наше,
Ты меня трубачом назови.

Барабанщиком ставь
В ряд большого пехотного строя.
Я учу тебя песням.
Час придет — и мне выдашь ружье,
Чтобы вместе с тобой
По равнинам грядущего боя
На сентябрьской заре
Пробивалось сердце мое.

Сразу буря берет нас
И снова выносит на берег
Пятилетки труда
И заводских ударных бригад.
Поколение наше
Берет все барьеры Америк.
Сто дорог впереди,
Ни одной не осталось назад.

1929

В БЕГА

В бега! — закричали тебе снегири,
В бега! — громыхают на шахте бадьи.
В бега! — зарывается в гальку кайла,
В бега! — прижимается к локтю разрез,
Как ель, на костре придорожном сгори.
Хоть в дальней дороге без хлеба умри,
Послушай, что скажут ребята твои:
За прииском сразу — крутая скала,
За ней пригибается к северу лес.
Хоть из носу кровь, собирайся в поход
От этих гремящих без усталости вод.

Нарядчик тебя в три погибели гнул,
Пять шкур барабанных с тебя он содрал,
Твой брат в дальнем шурфе навеки уснул,
Беги за Байкал и беги за Урал.

Глядит на тебя, не моргая, дупло,
И неясный-филин дорогой кричит,
Уходит в тайгу отработанный штрек,
Бежит впереди перелесками пал.
Бежит впереди он, и стало светло,
И сумрак широким крылом развело,
И прыгает белка, и коршун летит.

Тебя управляющий розгами сек.
Его ты ударил — он сразу упал.
Беги, задыхаясь, покуда живой,
Беги, задыхаясь, угрюмой тайгой.
На небе сто звезд, словно сотня стрижей,
Дорожный кустарник рыжей и рыжей.

Ты счастья искал, но к туманной стене
Приковано счастье цепями семью,
На семь завинчено крепких винтов.
Разрыв-трава и листок-размыкай
Напрасно тебе снились во сне,
Напрасно за ними ты шел по весне,
Покинув деревню и бросив семью.
Отвал отработан, ты тоже готов,
Ложись на дороге, ложись — умирай,
Дожди тебя били, слепили снега,
И кости твои обглодала цынга.

В последнюю вспомнишь минуту свою
Вапгерды, проселки, жену в шушуне,
Кушак кумачовый и шаль на груди,
И песню, которую нянчил якут,
И шаньги, которые девки пекут,
Березы и сосны в родимом краю,
Дороги, бегущей на юг, колею,
Реку при дороге, овраг при луне,
Кривые кресты на путях впереди.
Неужто все запросто — сумрак и мгла
И жизнь мимоходом, как шитик, прошла?
Мы едем тайгою, валежника треск,
Век прошлый хрустит под копытом.
С твоей ли могилы разломанный крест
Нам знаменьем машет забытым?

Эдуард БАГРИЦКИЙ



АРБУЗ

Свежак надрывается. Прет на рожон
Азовского моря корыто.
Арбуз на арбузе — и трюм нагружен,
Арбузами пристань покрыта.

Не пить первача в дорассветную стыдь.
На скучном зевать карауле,
Три дня и три ночи придется проплыть —
И мы паруса развернули...

В густой бородач ударяет бурун,
Чтоб брызгами вдрызг разлететься;
Я выберу звонкий, как бубен, кавун
И ножиком вырежу сердце...

Пустынное солнце садится в рассол,
И выпихнут месяц волнами...
Свежак задувает!
Наотмашь!
Пошел!
Дубок, шевели парусами!

Густыми барашками море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...
В два пальца, по-боцмански, ветер свистит,
И тучи сколочены плотно.
И ерзает руль, и обшивка трепит,
И забраны в рифмы полотна.

Сквозь волны — навывлет!
Сквозь дождь — наугад!
В свистящем гонимые мыле,
Мы рыщем наощушь...
Навзрыд и не в лад
Храпят полотняные крылья.

Мы втиснуты в дикую карусель.
И море топочет, как рынок,
На мель нас кидает,
Нас гонит на мель,
Последняя наша путина!
Козлами кудлатыми море полно,
И трутся арбузы, и в трюме темно...

Я песни последней еще не сложил,
А смертную чую прохладу...
Я в карты играл, я бродягою жил,
И море приносит награду, —
Мне жизни веселой теперь не сберечь,
И руль оторвало, и в кузове течь!..

Пустынное солнце над морем встает,
Чтоб воздуху таять и греться;
Не видно дубка, и по волнам плывет
Кавун с нарисованным сердцем...

В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка, —
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

1924

ДУМА ПРО ОПАНАСА

Посіяли гайдамаки
В Україні жито,
Та не вони його жали.
Що мусим робити?
Т. Шевченко. «Гайдамаки»

I

По откосам виноградник
Хлопочет листвою,
Где бежит Панько из Балты
Дорогой степною.

Репухи кусают ногу,
Свищет житом пажить,
Звездный Воз ему дорогу
Оглоблями кажет.
Звездный Воз дорогу кажет
В поднебесьи чистом —
На дебелие хозяйства
К немцам-колонистам.
Опанасе, не дай маху,
Оглядись толково —
Видишь черную папаху
У сторожевого?
Знать, от совести печистой
Ты бежал из Балты,
Топал к Штолю-колонисту,
А к Махне попал ты!
У Махна по самы плечи
Волосня густая.
— Ты откуда, человече,
Из какого края?
В нашу армию попал ты
Волей иль неволей?
— Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю.
Ой, грызет меня досада,
Крепкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана-жида...
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
— Выгребайте из канавы
Спрятанное жито! —
Ну, а кто подымет бучу —
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!..
Чернозем потек болотом
От крови и пота, —
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!

Ой, батько, скажи на милость
Пришедшему с поля,
Где хозяйство поместилось
Колониста Штоля?
— Штоль? Который, человече?
Рыжий да щербатый?
Он застрелен недалече,
За углом от хаты...
А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернешь обратно дышло —
Пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу
Сукна городского!
Поднесите Опанасу
Вина молодого!
Сапоги подколотите
Кованым железом!
Дайте шапку, наградите
Бомбой и обрезом!
Мы пойдем с тобой далече —
От края до края!.. —
У Махна по самы плечи
Волосня густая...

Опанасе, наша доля
Машет саблей ныне, —
Зашумело Гуляй-Поле
По всей Украине.
Украина! Мать родная!
Жито молодое!
Опанасу доля вышла
Бедовать с Махною.
Украина! Мать родная!
Молодое жито!
Шли мы раньше в запорожцы,
А теперь — в бандиты!

II

Зашумело Гуляй-Поле
От страшного пляса, —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса.

Опанас глядит картиной
В папахе косматой,
Шуба с мертвого раввина
Под Гомелем снята.
Шуба — платье меховое —
Распахнута — жарко!
Френч английского покроя
Добыт за Вапняркой.
На руке с нагайкой крепкой
Жеребьяче мыло;
Револьвер висит на цепке
От паникадила.
Опанасе, наша доля
Туманом повита, —
Хлеборобом хочешь в поле,
А идешь — бандитом!
Полетишь дорогой чистой,
Залетишь в ворота;
Бить жидов и коммунистов —
Легкая работа!
А Махно спешит в тумане
По шляхам просторным,
В монастырском шарабане,
Под знаменем черным.
Стоном стонет Гуляй-Поле
От страшного пляса —
Ходит гоголем по воле
Скакун Опанаса...

III

Хлеба собрано немного —
Не скрипеть подводам.
В хате ужинает Коган
Житняком и медом.
В хате ужинает Коган,
Молоко хлебает,
Большевицким разговором
Мужиков смущает:
— Я прошу ответить честно,
Прямо, без уклона,
Сколько в волости окрестной
Варят самогона?
Что посевы? Как налоги?

Падают ли овцы? —
В это время по дороге
Топают махновцы...
По дороге пляшут кони,
В землю бьют копыта.
Опанас из-под ладони
Озирает жито.
Полночь сизая, степная
Встала пред бойцами,
Издалека темь ночная
Тлеет каганцами.
Брежут псы сторожевые,
Запевают певни.
Холодком передовые
Въехали в деревню.
За церковную оградой
Лязгнуло железо:
— Не разыщешь продотряда:
В доску перерезан! —
Хуторские псы, пляшите
На гремячей стали:
Словно перепела в жите,
Когана поймали.
Повели его дорогой,
Сизою, степною, —
Встретился Иосиф Коган
С Нестором Махною!
Поглядел Махно сурово,
Покачал башкою,
Не сказал Махно ни слова,
А махнул рукою!
Ой, дожил Иосиф Коган
До смертного часа,
Коль сошлась его дорога
С путем Опанаса!..
Опанас отставил ногу,
Стоит и гордится:
— Здравствуйте, товарищ Коган.
Пожалуйте бриться!

IV

Тополей седая стая,
Воздух тополиный...

Украина, мать родная,
Песня — Украина!..
На твоём степном раздолыи
Сиромеха скачет,
Свищет перекасти-поле,
Да ворона кричит...
Всходит солнце боевое
Над степной дорогой,
На дороге нынче двое —
Опанас и Коган.
Над пылающим порогом
Зной дымит и тает;
Комиссар, товарищ Коган,
Барахло скидает...
Растеклось на белом теле
Солнце молодое.
— На, Панько, когда застрелишь,
Возьмешь остальное!
Пары брюк не пожалею,
Пригодятся дома, —
Все же бывший продармеец,
Хороший знакомый!.. —
Всходит солнце боевое,
Кукурузу сушит,
В кукурузе ветер воет
Опанасу в уши:
— За волами шел когда-то,
Воевал солдатом,
Ты ли в сахарное утро
В степь выходишь катом? —
И раскинутая в плясе
Голосит округа:
— Опанасе! Опанасе!
Катюга! Катюга! —
Верещит бездомный копеец
Под облаком белым:
— С безоружным биться, хлопец,
Последнее дело! —
И равнина волком воет
От Днестра до Буга,
Зверем, камнем и травой:
— Катюга! Катюга!.. —
Не гляди же, солнце злое,
Опанасу в очи:

Он грустит, как с перепоя,
Убивать не хочет...
То ль от зноя, то ль от стога
Подошла усталость,
Повернулся:
— Три патрона
В обойме осталось... —
Кровь — постылая обуза
Мужицкому сыну...
— Утекай же в кукурузу —
Я выстрелю в спину!
Не свалю тебя ударом,
Разгуливай с богом!.. —
Поправляет окуляры,
Улыбаясь, Коган.
— Опанас, работай чисто,
Мушкой не моргая.
Неудобно коммунисту
Бегать, как борзая!
Прямо кинешься — в тумане
Омуты речные,
Вправо — немцы-хуторяне,
Влево — часовые!
Лучше я погибну в поле
От пули бесчестной!.. —

Тишина в степном раздолыи,
Только выстрел треснул,
Только Коган дрогнул слабо,
Только ахнул Коган,
Начал сваливаться набок,
Падать понемногу...
От железного удара
Над бровями сгусток,
Поглядишь за окуляры:
Холодно и пусто...
С Черноморья по дорогам
Пыль несется плясом,
Носом в пыль зарылся Коган
Перед Опанасом...

У

Где широкая дорога,
Вольный плес днестровский, —

Кличет у Попова лога
Командир Котовский.
Он долину озирает
Командирским взглядом,
Жеребец под ним сверкает
Белым рафинадом.
Жеребец подымет ногу,
Опустит другую,
Будто пробует дорогу,
Дорогу степную.
А по каменному склону
Из Попова лога
Вылетают эскадроны
Прямо на дорогу...
От приварка рожи гладки,
Поступь удалая,
Амунция в порядке,
Как при Николае.
Головами крутят кони,
Хвост по ветру стелют:
За Махной идет погоня
Аккурат неделю...

Не шумит над берегами
Молодое жито, —
За чумацкими возами
Прячутся бандиты.
Там, за жбаном самогоня,
В палатке дерюжной,
С атаманом забубенным
Толкует бунчужный:
— Надобно с большевиками
Нам принять сражение,
Покрутись перед полками,
Дай распоряженья!.. —
Как батько с равмаха двинул
По столу рукою,
Как батько с равмаха грянул
По земле ногою:
— Ну-ка, выдай перед боем
Пожирнее пищу,
Ну-ка, выбей перед боем
Ты из бочек днища!
Чтобы руки к пулеметам

Сами прикипели,
Чтобы хлопцы из-под шапок
Коршуньем глядели!
Чтобы порох задымился
Над водой днестровской,
Чтобы с горя удавился
Командир Котовский!.. —

Прышут стрелами зарницы,
Мгла ползет в ухабы,
Брежут рыжие лисицы
На чумацкий табор.
За широким ревом бычьим —
Смутно изгольсье;
Див сулит полночным кличем
Гибель Приднестровью.
А за темными возами,
За чумацкой сенью,
За ковыльными чубами,
За крылом вороньим, —
Омываясь горькой тенью,
Встало над землею
Солнце нового сраженья —
Солнце боевое...

II

Ну, и взялися ладони
За сабли кривые,
На дыбы взлетают кони,
Как вихри степные.
Кони стелются в разбеге
С дорогою вровень, —
На чумацкие телеги,
На морды воловьи.
Ходит ветер над возами,
Широкий, бойцовский,
Казакует пред бойцами
Григорий Котовский...
Над конем играет шашка
Проливною силой,
Сбита красная фуражка
На бритый затылок.
В лад подрагивают плечи

От конского пляса...
Вырывается навстречу
Гривун Опанаса.
— Налетай, конек мой дикий,
Коньтами двигай,
Саблей, пулей или пикой
Добудем комбрига!.. —
Налетели и столкнулись,
Сдвинулись конями,
Сабли враз перехлестнулись
Кривыми ручьями...
У комбрига боевая
Душа занялася,
Он с налета разрубает
Саблю Опанаса.
Рубанув, откинул шашку,
Грозится глазами:
— Покажи свою замашку
Теперь кулаками! —
У комбрига мах ядреный,
Тяжелей свинчатки,
Развернулся — и с разгону
Хлобысть по сопатке!..
Опанасе, что с тобою?
Поник головою,
Повернулся, качнулся,
В траву скovyрнулся...
Глаз над левою скулою
Затек сишевою...
Молча падает на спину,
Ладони раскинул...
Опанасе, наша доля
Развеяна в поле!...

VII

Балта — городок приличный,
Городок что надо:
Нет нигде румяней вишни,
Слаще винограда.
В брызге, в кавунах, в укропе
Звонок день базарный;
Голубей гоняет хлопец
С каланчи пожарной...
Опанасе, не гадал ты

В ковыле раздольном,
Что поедешь через Балту
Трактом малохольным;
Что тебе вдогонку бабы
Затоскуют взглядом,
Что пихнет тебя у штаба
Часовой прикладом...
Ой, чумацкие просторы —
Горькая потеря!..
Коридоры в коридоры,
В коридорах — двери.
И по коридорной пыли,
По глухому дому,
Опанаса проводили
На допрос к штабному.
А штабной имел к допросу
Старую привычку —
Предлагает папиросу,
Зажигает спичку:
— Гражданин, — прошу по чести
Говорить со мною.
Долго ль вы шатались вместе
С Нестором Махною?
Отвечайте, без обмана,
Не испуга ради,
Сколько сабель и тачанок
У него в отряде.
Отвечайте, но не сразу,
А подумав малость, —
Сколько в основную базу
Фуража вменялось?
Вам знакома ли округа,
Где он банду водит?
— Что я знал: коня, подпругу,
Саблю да поводья!
Как дрожала даль степная,
Не сказать словами:
Украина — мать родная —
Билась под конями!
Как мы шли в колесном громе,
Так что небу жарко,
Помнят Гайсин и Житомир,
Балта и Вапнярка!..
Наворачивала удаль

В дым, в жестянку, в бога!..
...Одного не позабуду,
Как скончался Коган...
Разлюбезною дорогой
Не пройдутся ноги,
Если вытянулся Коган
Поперек дорогп...
Ну, штабной, мотай башкою,
Придвигай чернила:
Этой самою рукою
Когана убило!..
Погибай же, Гуляй-Поле,
Молодое жито!.. —

Опанасе, наша доля
Туманом повита!..

VIII

Опанас, шагай смелес,
Гляди веселее!
Ой, не гикнешь, ой, не топнешь,
В ладоши не хлопнешь!
Пальцы дружные ослабли,
Не вытащат сабли.
Наступил последний вечер,
Покрыть тебе нечем!
Опанас, твоя дорога —
Не дальше порога.
Что ты видишь? Что ты слышишь?
Что знаешь? Чем дышишь?
Ночь горячая, сухая,
Да темень сарая.
Тлеет лампочка под крышей.
Эй, голову выше!..
А навстречу над порогом —
Загубленный Коган.
Аккуратная прическа,
И щеки из воска...
Улыбается сурово.
— Приятель, здорово!
Где нам суждено судьбою
Столкнуться с тобою!
Опанас, твоя дорога
Не дальше порога...

Протекли над Украиной
 Боевые годы.
 Отшумели, отгудели
 Молодые воды...
 Я не знаю, где зарыты
 Опанаса кости:
 Может, под кустом ракиты,
 Может, на погосте...
 Плещет крыжень сизокрылый
 Над водой днестровской;
 Ходит слава над могилой,
 Где лежит Котовский...
 За бандитскими степями
 Не гремят копыта:
 Над горячими костями
 Зацветает жито.
 Над костями голубеет
 Непроглядный омут;
 Да идет красноармеец
 На побывку к дому...
 Остановится и глянет
 Синими глазами —
 На бездомный круглый камень,
 Вымытый дождями.
 И нагнется и подымет
 Одинокий камень:
 На ладони — белый череп
 С дыркой над глазами.
 И промолвит он, почуяв
 Мертвую прохладу:
 — Ты глядел в глаза винтовке,
 Ты погиб, как надо! —
 И пойдет через равнину,
 Через омут зноя,
 В молодую Украину,
 В жито молодое...
 Так пускай и я погибну
 У Попова лога,
 Той же славною кончиной,
 Как Иосиф Коган!

1926

ПТИЦЕЛОВ

Трудно дело птицелова:
Заучи повадки птичьи,
Помни время перелетов,
Разным посвистом свисти.

Но, шатаясь по дорогам,
Под заборами ночуя,
Дидель весел, Дидель может
Песни петь и птиц ловить.

В бузине, сырой и круглой,
Соловей ударил дудкой,
На сосне звенят синицы,
На березе зяблик бьет.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Три манка — и каждой птице
Посвящает он манок.

Дунет он в манок бузинный,
И звенит манок бузинный, —
Из бузинового прикрытья
Отвечает соловей.

Дунет он в манок сосновый,
И свистит манок сосновый, —
На сосне в ответ синицы
Рассыпают бубенцы.

И вытаскивает Дидель
Из котомки заповедной
Самый легкий, самый звонкий
Свой березовый манок.

Он лады проверит нежно,
Щель невучую продует, —
Громким голосом береза
Под дыханьем запоеет.

И, заслышав этот голос,
Голос дерева и птицы,
На березе придорожной
Зяблик загремит в ответ.

За проселочной дорогой,
Где затих тележный грохот,
Над прудом, покрытым ряской,
Дидель сети разложил.

И пред ним, зеленый снизу,
Голубой и синий сверху,
Мир встает огромной птицей.
Свищет, щелкает, звенит.

Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.

По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузиновой,
По Баварии хмельной.

Марта, Марта, надо ль плакать,
Если Дидель ходит в поле,
Если Дидель свищет птицам
И смеется невзначай?

1927

РАЗГОВОР С КОМСОМОЛЬЦЕМ И. ДЕМЕНТЬЕВЫМ

— Где нам столкнуться!
Вы — другой народ!..
Мне — в апреле двадцать,
Вам — тридцатый год.

Вы — уже не юноша,
Вам ли о войне... —
— Коля, не волнуйтесь,
Дайте мне...

На плацу, открытом
С четырех сторон,
Бубном и копытом
Дрогнул эскадрон;
Вот и закачались мы
В прозелень травы,
Я — военспецем,
Военкомом — вы...
Справа — курган,
Справа — нога,
Да слева нога;
Справа наган,
Да слева шашка,
Цейсс посередке,
Сверху фуражка...
А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Степям и дорогам
Не кончен счет;
Камням и порогам
Не найден счет;
Кружит паучок
По вагару щек,
Сабля да книга, —
Чего еще?

(Только ворон выслан
Сторожить в полях...
За полями — Висла,
Ветер да поляк;
За полями ментик
Вылетает в лог!)

Военком Дементьев,
Саблю наголо!

Проклюют навывлет,
Поддадут коленом,
Голову намылят
Лошадиной пеной...
Степь вместо простыни:
Потянули — раз!

...Добротными саблями
Побрекут нас...
Покачусь, порубан,
Растянусь в траве, —
Приваляюсь чубом
К русой голове...
Не дождались гроба мы,
Кончили поход...
На казенной обуви
Ромашка цветет...
Пресловутый ворон
Подлетит в упор,
Каркнет «печершого» он
По Эдгару По...
«Повернитесь, встаньте-ка,
Затрубите в рог...»
(Старая романтика,
Черное перо!)

— Багрицкий, довольно!

Что за бред!..

Романтика уволена —

За выслугой лет;

Сабля — не гребенка,

Война — не спорт;

Довольно фантазировать,

Закончим спор,

Вы — уже не юноша,

Вам ли о войне...

— Коля, не волнуйтесь.

Дайте мне... —

Лежим, истлевающие

От глотки до ног...

Не выцвела трава еще

В солдатское сукно;

Еще бежит из тела

Болотная ржавь,

А сумка истлела,

Распалась, рассеклась,

И книги лежат...

На пустошах, где солнце

Закрыто в пух ворон,

Туман, костер, бессонница

Морочат эскадрон, —

Мечется во мраке
По степным горбам:
«Ехали казаки,
Чубы по губам...»
А над нами ветры
Ночью говорят:
— Коля, братец, где ты?
Истлеваю, брат! —
Да в дорожной яме,
В дряни, в лоскутах
Буквы муравьями
Тлеют на листьях...
(Над вороньим кругом —
Звездный лед.
По степным яругам
Ночь идет...)

Пехристь или выкрест
Над сухой травой, —
Размахнулись вихри
Пыльной булавой.
Вырваны ветрами
Из бочаг пустых,
Хлопают крылами
Книжные листы;
На враждебный Запад
Рвутся по стерням:
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

(Кочуют вороны,
Кружат кусты.
Вслед эскадрону
Летят листы.)
Чалый или соловый
Конь храпит.
Вьется слово
Кругом копыт.
Под ветром снова
В дыму щека;
Вьется слово
Кругом штыка...
Пусть покрыты плесенью
Наши костяки,

То, о чем мы думали,
Ведет штыки...
С нашими замашками
Едут пред полком
С новым военспецом
Новый военком.
Что ж! Дорогу, нашу
Враз не разрубить!
Вместе есть нам кашу
Вместе спать и пить...
Пусть другие дразнятся!
Наши дни легки...
Десять лет разницы —
Это пустяки!

1927

ВЕСНА

В аллеях столбов,
По дорогам перронов —
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже окунувшийся
В масло по локоть
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса...
Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, —
Звенит палисандр
Дачной гитары:
— Ах! Вам не хочется ль
Под-ручку пройтись?..
— Мой милый. Конечно.
Хотится! Хотится!..
А там, над травой,
Над речными узлами,
Весна развернула
Зеленое знамя, —

И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень...
На голом прутье,
Над водой невеселой,
Гортань продувают
Ветвей новоселы...
Первым дроздом
Закликают леса,
Первою щукой
Стреляют плеса;
И звезды
Над первобытною тишью
Распороты первой
Летучей мышью...
Мне любы традиции
Жадной игры:
Гнездовья, берлоги,
Метанье икры...
Но я — человек,
Я — не зверь и не птица:
Мне тоже хочется
Под ручку пройтись;
С площадки нырнуть,
Раздирая пальто,
В набитое звездами
Решето...
Чтоб, волком трубя
У бараньего трупа,
Далекую течку
Ноздрями ощупать;
Иль в черной бочаге,
Где корни вокруг,
Обрызгать молоками
Щучью икру:
Гоняться за рыбой,
Кружиться над птицей,
Сигать кожаном
И бродить за волчицей;
Нырять, подползать
И бросаться в угон, —
Чтоб на сто процентов
Исполнить закон;

Чтоб видеть воочию:
Во славу природы
Раскиданы звери,
Распахнуты воды, —
И поезд, крутящийся
В мокрой траве, —
Чудовищный выюн
С фонарем в голове!..
И поезд от похоти
Воет и злится:
— Хотится! Хотится!
Хотится! Хотится!

1928

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПОЭТА

Весенний ветер лезет вон из кожи,
Калиткой щелкает, кусты корежит,
Сырой забор подталкивает в бок.
Сосна, как деревянное проклятье,
Железный флюгер, вырезанный ятью
(Смотри мой «папиросный коробок»)
А критик за библейским самоваром,
Винтообразным окружен угаром,
Глядит на чайник, бровью шевеля.
Он тянет с блюда, — в сторону мизинец, —
Кальсоны хлопают на мезонине,
Как вымпел пожилого корабля,
И самовар на скатерти бумажной
Протодиаконот трубит протяжно.
Сосед откупал, обругал жену
И благодушествует:
— Ах! Погода!
Какая подмосковная природа!
Сюда бы Фофанова да луну! —
Через дорогу, в хвойном окруженьи,
Я двигаюсь взлохмаченною тенью,
Ловлю пером случайные слова,
Благословляю кляксами бумагу.
Сырые сосны отряхают влагу,
И в хвое просыпается сова.
Сопит река.
Земля раздражена.

(Смотри стихотворение «Весна».)
Слова, как ящерица, — не наступишь;
Размеры — выгоднее воду в ступе
Толочь, а композиция встает
Шестиугольником или квадратом;
И каждый образ кажется проклятым,
И каждый звук топырится вперед.
И с этой бандой символов и знаков
Я, как биндюжник, выхожу на драку
(Я к зуботычинам привык давно).
А критик мой недавно чай откушал,
Статью закончил, радио прослушал
И на террасу распахнул окно.
Меня он видит — он доволен миром —
И тенорком, политым легким жиром,
Пугает галок на кусте сыром.
Он возглашает:
— Прорычите басом,
Чем кончилась волюнка с Опанасом,
С бандитом, украинским босяком.
Ваш взгляд от несварения неистов.
Прошу, скажите за контрабандистов,
Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром,
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма, —
Ах, для здоровья мне необходимы
Романтика, слабительное, бром!
Но в этом ли удача из удач?
Я говорю как критик и как врач.
Но время движется. И на дороге
Гниют доисторические дроги,
Бульжником разъедена трава,
Электротехник на столбы вылазит, —
И вот ползет по укрошенной грязи,
Покачивая бедрами, трамвай.
(Сосед мой недоволен:
— Эт-то проза!)
Но плимутрок из ближнего совхоза
Орет на солнце, выкатив кадык.
— Как мне работать!
Голова в тумане.
И бытием прижатое сознание
Упорствует и выжимает крик.
Я вижу, как взволнованные воды
Зажаты в тесные водопроводы,

Как захлестнула молнию струна.
Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы, —
Побоями нас няньчила страна!
Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый.
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки,
Колючие ошметки и крючки, —
Начало будущего оперенья.

— Ау, сосед! —

Он стонет и ворчит:
— Невыносимо плимутрок кричит,
Невыносимо дребезжат трамваи!
Да, вы линяете, милейший мой!
Вы погибаете, милейший мой!
Да, вы в тупик уперлись головой,
И, как вам выбраться, не понимаю, —
Молчи, папаша! Пестрое перо
Топорщится, как новая рубаха.
Петуший гребень дыбится остро;
Я, словно исполинский плимутрок,
Закидываю шею. Кличет рог, —
Крылами раз! — и на забор с размаха.
О, злобное петушье бытие!
Я вылинял! Да здравствует победа!
И лишь перо погибшее мое
Кружится над становищем соседа.

1929

СМЕРТЬ ПИОНЕРКИ

Грозно освеженный,
Подрагивает лист
Ах, пеночки зеленой
Двухоборотный свист!

Валя, Валентина,
Что с тобой теперь?
Белая палата,
Крашеная дверь.
Тоньше паутины

Из-под кожи щек
Тлеет скарлатины
Смертный огонек.

Говорить не можешь —
Губы горячи.
Над тобой колдуют
Умные врачи.
Гладят бедный ежик
Стриженных волос.
Валя, Валентина,
Что с тобой стряслось?
Воздух воспаленный.
Черная трава.
Почему от зноя
Ноет голова?
Почему теснится
В подъязычьи стон?
Почему ресницы
Обдувает сон?

Двери отворяются.
(Спать. Спать. Спать.)
Над тобой склоняется
Плачущая мать:

— Валенька, Валюша!
Тягостно в избе!
Я крестильный крестик
Принесла тебе.
Все хозяйство брошено,
Не поправишь враз,
Грязь не по-хорошему
В горницах у нас.
Куры не закрыты;
Свиньи без корыта;
И мычит корова
С голоду сердито.
Не противься ж, Валенька,
Он тебя не съест,
Золоченый, маленький
Твой крестильный крест. —
На щеке помятой
Длинная слеза...

А в больничных окнах
Двигается гроза.

Открывает Валя
Смутные глаза.

От морей ревучих
Пасмурной страны
Наплывают тучи,
Ливнями полны.

Над больничным садом,
Вытянувшись в ряд,
За густым отрядом
Двигается отряд.
Молнии, как галстуки,
По ветру летят.

В дождевом сиянии
Облачных слоев
Словно очертанье
Тысячи голов.

Рухнула плотина —
И выходят в бой
Блузы из сатина
В синьке грозовой.

Трубы. Трубы. Трубы.
Подымают вой.

Над больничным садом,
Над водой озер,
Двигутся отряды
На вечерний сбор.

Заслоняют свет они
(Даль черным-черна),
Пионеры Кунцева,
Пионеры Сетуни,
Пионеры фабрики Ногина.

А внизу склоненная
Позывает мать:

Детские ладони
Ей не целовать,
Духотой спаленных
Губ не освежить —
Валентине больше
Не придется жить.

— Я ль не собирала
Для тебя добро?
Шелковые платья,
Мех да серебро?
Я ли не кошила,
Ночи не спала,
Все коров доила,
Птицу стерегла.
Чтоб было приданое
Крепкое, недраное,
Чтоб фата к лицу —
Как пойдешь к венцу!
Не противься ж, Валенька!
Он тебя не съест,
Золоченый маленький
Твой крестильный крест. —

Пусть звучат постылые
Скудные слова —
Не погибла молодость —
Молодость жива!

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом —
Укрепляйся мужество
Сталью и свинцом.

Чтоб земли суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Чтобы в этом крохотном
Теле — навсегда
Пела наша молодость
Как весной вода.

Валя, Валентина,
Видишь: на юру
Газовое знамя
Вьется по шнуру.

Красное полотнище
Вьется над бугром.
«Валя, будь готова!» —
Воскликает гром.

В прозелень лужайки
Капли как польют!
Валя в синей майке
Отдает салют.

Тихо подымается,
Призрачно легка,
Над больничной койкой
Детская рука.

«Я всегда готова!» —
Слышится окрест.
На плетеный коврик
Упадает крест.
И потом бессильная
Валится рука
В пухлые подушки,
В мякоть тюфяка.

А в больничных окнах
Спнсе тепло,
От большого солнца
В комнате светло.

И, припав к постели,
Изывает мать.

За оградой пеночкам
Пынце благодать.

Вот и все!
Но песня
Не согласна ждать.

Возникает песня
В болтовне ребят.

Подымает песню
На голос отряд.

И выходит песня
С топотом шагов

В мир, открытый настежь
Бешенству ветров.

1932

Илья СЕЛЬВИНСКИЙ



ВЕЛИКИЙ ОКЕАН

Одиннадцать било. Часики сверь
В кают-компании с обликом диска.
Солища нет. Но воздух не сер:
Туман пронизан оранжевой искрой.

Он золотился, роился, мигал,
Пушком по щеке ласкал, колоссальный —
Как будто близко проносят меха
Голубые песцы с золотыми глазами.

И эта лазурная мглистость несется
В сухих золотишках над мглою глубин —
Как будто самое солнце
Стало вдруг голубым.

Как скучно творить все смирней и смирней
На одном языке, истощенном, без соли...
Я хотел бы сказать: «Le soleil mariné».
А должен сказать: «маринованное солнце».

И, чего доброго, бедный читатель
Вообразит хлебосольный дом,
Где солнце едят, как дыню в томате,
С каперсами и лавровым листом.

Тихо текут пудовые воды
Субтропической широты.
На них маслянисто играют разводы,
Как буквы «О», как женские рты.

Они что-то шепчут. Ухо склони!
(Кто там шумит? Перестаньте-ка!)
Какие слова изваяли они?
Что произнесит их перистальтика?

Мечутся кольцеобразные танцы —
Глубь — высь. Вось — глубь.
Овальные «О» мучительно тянутся,
Словно требуя моих губ.

О, океан, омывающий облако
Океанийских окраин,
Огибающий о бок и около,
Острым озоном играя!

Кто хоть однажды побыл у зеркал
Этих просторов — поверьте:
Он унес в альвеоловых пузырьках
Немного великого ветра.

Он вернется в свой город, клопный, косой,
Но глянут из-под одеяла
Глаза, выдавшие кругозор
Великого океана.

Он станет окать. И на ходу,
Как парусник, стремиться;
А буквы «О» игру заведут,
Прибоем шумя по страницам.

Такого тощица не загрызет,
Такого не втянешь в лужу;
Он ленинский обоймет горизонт,
Он глубже поймет революцию.

Вдохни ж эти строки. Всё прах и тлен.
Но жизнь хороша, окаянная.
Пускай этот стих на твоём столе
Стоит, как стакан океана.

1932

ОХОТА НА ТИГРА

1

В рыжем лесу олений рев:
Изюбрь окликает коров.
Другой, с коронованной головой,

Отзывается боем на вой, —
И вот сквозь кусты и через ручьи
На рыцарский бой летят рогачи.

2

Самочки робко стоят табунком
За венценосным быком.
Его плечи и грудь покрывает грязь
Подобием кирас,
И он, оскорбляя соперника басом,
Дует в ноздри и водит глазом.

3

И вот выходит огромный, как лось,
Шею втрое напруживая,
До третьих шишек поразрослось
Каменное оружие.
Глаза, залитые кровавой мечтой,
А брюхо — плазмой и мочой.

4

Если он яро ударит врага,
Если рванет на рога
И молодостью побежденный рогач
Если уйдет вскачь, —
Тогда этот женственный табунок
Ляжет трофеем у властных ног.

5

И расшибается каменный треск
И рассыпается пламенный блеск, —
Так протекает седой закон,
Ревом покрыв уссурийский бор,
По-зверовожи — «олений гон»,
По-нашему — половой отбор.

6

В такие дни, не чуя ног,
Бери патронов чуточку;

В такие дни стругай «манок»
(Берестяную дудочку).
И, лад ее добросовестно зубря,
Воинственной песнью мани излюбля.

7

Так мы и сделали. Белой зарей
Засели в гуще кустарников:
Охотник из гольдов Василий Зуров,
Я и начдив Слесарников.
Под нами шорох ручьистых змеек,
Над нами шум в древесных увейх.

8

Охотник дунул (эс¹). Тишина.
Дунул еще. Тишина.
Без отрыва по лесам неслась
Искусственная страсть.
Что ж, он оглох, этот каверзный лес-то?
Думали уж, не менять ли место...

9

И вдруг вдалеке отозвался рев.
(В уши ударила кровь...)
Мы снова. Он ближе. Он там. Он тут.
Прямо на наш редут.
Нет сомненья: на дудочный зык
Шел великолепный бык.

10

Небо уже голубего во-всю.
Было светло в лесу.
Трубя в лабиринтах звериных аллей,
Вот-вот...
сейчас...

вылетит олень...

Сидим — не дышим. Наизготовке
Три винтовки.

¹ Эс — такт паузы: читать про себя.

И вот в кустах... (Каждый листик трясется...)

Вспыхнула призраком вихря
Золотая. Закатная. Усатая. Как солнце,
Икаркая. Морда

Тигра!

Полный балдеж «во блаженном упоеньи» —
Даже... выстрелить не успели.

Олени для нас потускнели вмиг
Мы шли по следам напрямик.
Пройдя километр, осели в кустах.
Час оставались так.

Когда ж тишком уползали в ров,
Снова слышим изюбровый рев...

И мы увидали нашего тигра.
В оранжевый за лето выгоря,
Хребтом повторяя горный хребет,
Расписанный, словно храм.
Ленивый, как знамя, эмблемой побед
Спускался он по горам.

Громкие галки над ним летали,
Черною свитой одружены.
Круглые плечи его, как литавры,
Музыкой блеска окружены —
И все живое швыряет изапуск
Пороховой тигриный запах.

Это ему от жителей мирных
Красные тряпочки меж ветвей.
Это его в буддийских кумирнях

Славят, как бога: «Шан
Жэи
Мэй
Вэй»¹.

Это он, по преданью манчжурской власти,
Был полководцем Да-Цинской династии.

16

Он шел по склону военным шагом,
Все плечо выдвигая вперед;
Он шел, высматривая по оврагам,
Нет ли где коровьих пород...
И в голубые струны усов
Ловко цедил... изюбровый зов!!!

17

Милый! Умница! Он был охотник!
Он применял, как мы, манок!
Рогатые дурни в десятках и сотнях
Летели скрестить клинок о клинок.
А он, деляга и чей-нибудь папа,
Целился пятизарядной лапой.

18[?]

Как ему, бедному, было тяжело!
Как он, должно быть, страдал, рыча:
Иметь. Во рту. Жаргон. Рогача —
И не иметь в когтях его ляжки!
Наверно, издавши изюбровый зык,
Он первое время хватал свой язык.

19

Так, вероятно, китайский монах,
Косу свою лаская, как девичью,
Стонет...
Но гольд вынимает манок
(Теперь он серьезней, чем давеча),
Гольд выдувает возглас оленя.
Тигр глянул — и нет умиления.

¹ «Истинный дух гор и лесов» — так китайцы называют тигра.

Сейчас он распался на несколько вех:
 Во-первых — солнечный мех;
 Второе — череп п весь хребет
 Для медицины в Тибет;
 Желчь — в Берлин для химической чистки;
 Ус — китайцам на зубочистки...

О, как нам нужен сейчас этот жох,
 Этот скупейший и лютый
 Желтый четырехлапый мешок,
 Набитый звонкой валютой:
 Если мы его сдуем с ног,
 Будет электростанция станок.

Быть может, тогда я думал не так,
 И самый вид желто-черных полосок
 Слишком потряс мой психический тракт.
 Чтоб так сформулировать этот лозунг.
 Но в шуме других я отметить хочу
 Именно эту мелодию чувств.

Нет, не рваческая душа
 Экспортного торговца,
 Не полный азарта игры ва-банк
 Охотничий зуд в зубах, —
 Здесь пуля на голос, тиграми блеемый,
 Летит политической проблемой.

И дует, и дует в дудочку гольд.
 И вот уже тигр в тысячу вольт
 Готов разрядиться. Бей. Короче.
 Вот уже мушка села под глаз —
 И с фигурным хвостом, как бухгалтерский
 росчерк.

Лег
 кровожадный
 валютный
 баланс.

25

Но в тот же миг он вскочил над собой,
 Снова готовый в бой,
И в страшной паузе, столетьем валелеянной,
 Харкнув на нас горячо —
Он ушел в туман. Величавой легендой.
С красной лентой. Через плечо.

1932

БАЛЛАДА О ЛЕНИНИЗМЕ

В скверике на море,
Там, где вокзал,
Бронзой на мраморе
Ленин стоял.
Вытянув правую
Руку вперед,
Вел он со славою
Вольный народ.
Даже неграмотных,
Темных людей
Звал этот памятник
К высям идей;
Массы, идущие
К свету из тьмы,
Знали: «Грядущее —
 Это мы!»

Помнится сизое
Утро в пыли.
Вражки дивизии
С моря пришли.
Черепом мечена,
Как сама смерть,
Видит неметчина
В скверике — медь.
Ловко сработано!

Кто ж это тут?

«ЛЕНИН».

А, вот оно...

Аб! ¹

Гут.

Кони хвостатые

Взяли в карьер.

Нет

статуи.

Гол

сквер.

Кончено! Свержено!

Далее, в круг

Введен задержанный

Политрук.

Был он молоденький...

Смотрит мертво...

Штатский в котике

Выдал его.

Люди заохали...

(«Эх, маята!»)

Вот он на цоколе

Подле шеста;

Вот ему на плечи

Брошен канат,

Мыльные каплищи

Петлю кропят...

«Пусть покачается

На шесте!

Пусть он отчаётся

В красной звезде!

Всплачется, взмолится,

Хоть на момент,

Здесь, у околицы,

Где монумент,

Так, чтобы жители,

Ждущие тут,

Поняли! Видели!

Ауф! ²

Гут!»

¹ Аб — по-немецки: «вниз». ² Ауф — по-немецки: «вверх».

Белым, как облако,
Стал политрук.
Вид его облика
Страшен, но вдруг
Он пред оравую
Вражеских рот
Вытянул правую
Руку вперед —
И, как явление,
Бронзе вослед

Вырос

Ленина

силует.

Этим движением
От плеча,
Милым видением
Ильича
Смертник молоденький
В этот миг
Кровною родинкой
К душам приник...

Будто о собственном
Сыне — навзрыд
Бухтою об стену
Море гремит!
Плачет, волнуется,
Воет народ —
Площадь, улица,
Пляж,

грот...

Мигом у цоколя
Каски сверк!
Вот его, сокола,
Вздернули вверх;
Вот уж у сонного
Очи зашлись...
Все же ладонь его
Тянется ввысь —
Бронзовой лепкою!
Назло зверью!
Ясною, крепкою
Верой в зарю!

Так над селением
Взмыла рука
Ставшего Лениным
Политрука.

1942

Я ЭТО ВИДЕЛ

Можно не слушать народных сказаний,
Не верить газетным столбцам,
Но я это видел! Своими глазами!
Понимаете? Видел. Сам.
Вот тут — дорога. А там вон — взгорье.
Меж ними — вот этот ров.
Из этого рва поднимается горе,
Горе без берегов.
Нет! Об этом нельзя словами—
Тут надо кричать! Рыдать!
Семь тысяч расстрелянных в волчьей яме,
Заржавленной, как руда.
Кто эти люди? Бойцы? Нисколько!
Может быть, партизаны? Нет.
Вот лежит лопоухий Колька —
Ему одиннадцать лет.
Тут вся родня его... Хутор «Веселый»...
Весь «Самострой» — 120 дворов...
Милые... Страшные... Как новоселы,
Их тела заселили ров.
Лежат. Сидят. Сползают на бруствер.
У каждого жест. Удивительно свой!
Зима в мертвецке заморозила чувство,
С которым смерть принимал живой.
И трупы бредят, грозят, ненавидят...
Как митинг, шумит мертвая тишь!
В каком бы их ни свалило виде —
Глазами, оскалом, шеей, плечами
Они пререкаются с палачами.
Они восклицают: «Не победишь!»
Парень. Вернее, не парень, а лапти
Да нижняя челюсть. Но зубы — во!
Он ухмыляется: ладно, грабьте,
Расстреливайте — ничего!

Сами себя вызволяли из дыр ведь —
Перенесем и вашу грозу...
Все пропадет — но клыков не вырвать:
Перегрызу!
Рядом — истерзанная еврейка.
При ней — детеныш. Совсем, как во сне.
С какой заботой детская шейка
Повязана маминым серым кашне!
О, материнская древняя сила!
Идя на расстрел, под пулю идя,
За час, за полчаса до могилы —
Мать от простуды спасала дитя...
Но даже и смерть для них не разлука!
Не властны теперь над ними враги —
И рыжая струйка из детского уха
Стекает в горсть материнской руки.
Как больно об этом писать!..
Как жутко!..
Но надо. Надо! Пиши!
Фашизму теперь не отделаться шуткой:
Ты вымерил низость тевтонской души!
И ты осознал во всей ее фальши
«Сентиментальность немецких грез» —
Так пусть же сквозь их голубые вальсы
Торчит материнская эта горсть!
Заклейми! Ты стоял над бойней!
Ты за руку их поймал — уличи!
Ты видишь, как пулей бронебойной
Дробили нас палачи —
Так загреми же, как Дант! Как Овидий!
Если все это сам ты видел —
И не сошел с ума!
Но молча стою я над мрачной могилой.
Что слова? Истлели слова.
Было время — писал я о милой,
О чмокании соловья...
Казалось бы, что в этой теме такого!
Правда? А между тем,
Попробуй, найди настоящее слово
Даже для этих тем.
А тут? Да ведь тут же нервы, как луки!
Но струны... Глуше вареных вязиг.
Нет! Для этой чудовищной муки
Не создан еще язык.

Для этого нужно созвать бы вече
Из всех племен от древка до древка
И ваять от каждого все человечье,
Все, оплаканное за века.
И если бы каждое в этом хоре
Дало бы по слову, близкому всем, —
То уж великое русское горе
Добавило целых семь!
Да нет такого еще языка...
Но верьте, трупы, в живых и здоровых!
Пусть окровавленный ваш закат
Не смог я оплакать в неслыханных строфах,
Но есть у нас и такая речь,
Которая всяких слов горячее,
Картавая сыплет ее картечь,
Гаркает ею гортань батарей.
Вы слышите грохот на рубежах?
Она отомстит! Бледнеют громилы!
Но некуда будет им убежать
От своей кровавой могилы.
Ров... Поэмой ли скажешь о нем?
Семь тысяч трупов!.. Еврей... Славянс...
Да! Об этом — нельзя словами.
Огнем! Только огнем!

1942

Вера И НБЕР



ПЯТЬ НОЧЕЙ И ДНЕЙ

На смерть Ленина

И прежде, чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней...

И потекли людские толпы,
Неся знамена впереди,
Чтобы взглянуть на профиль желтый
И красный орден на груди.

Текли. А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частицы нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул.
И был торжественно-печален
Луны почетный караул.

1924

ДУША ЛЕНИНГРАДА

Их было много матерей и жен
Во дни Коммуны, в месяцы Мадрида,
Чьим мужеством весь мир был поражен,
Когда в очередях был хлеб не выдан,
Когда снаряды сотнями смертей
Рвались над колыбелями детей.

Но в час, когда неспешною походкой
В историю вошла, вступила ты, —
Раздвинулись геройские ряды
Перед тобой, советской патриоткой,
Ни разу не склонившей головы
Перед блокадой берегов Невы.

Жилье без света, печи без тепла,
Труды, лишения, горести, утраты —
Все вынесла и все перенесла ты.
Душою Ленинграда ты была,
Его великой материнской силой,
Которую ничто не подкосило.

Не лаврами увенчан, не в венке
Передо мной твой образ, ленинградка.
Тебя я вижу в шерстяном платке,
В морозный день, когда ты лишь украдкой,
Чтобы не стыла на ветру слеза,
Утрешь, бывало, варежкой глаза.

1942

«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»

(Из поэмы)

С В Е Т И Т Е П Л О

1

В ушах все время словно щебет птичий,
Как будто ропот льющейся воды:
От слабости. Ведь голод. Нет еды.
Который час? Не знаю. Жалко спички,
Чтобы взглянуть. Я с вечера легла,
И длится ночь без света и тепла.

2

На мле перчатки, валенки, две шубы
(Одна в ногах). На голове платок:
Я из него устроила щиток,
Укрыла подбородок, нос и губы.
Зарылась в одеяло, как в сугроб.
Тепло. Отлично. Только стынет лоб.

Лежу и думаю. О чем? О хлебе.
 О корочке, обсыпанной мукой.
 Вся комната полна им. Даже мебель
 Он вытеснил. Он близкий, и такой
 Далекий, точно край обетованный, —
 И самый лучший — это пеклеванный.

Он с детством сопрягается моим,
 Он круглый, как земное полушарье.
 Он теплый. В нем благоухает тмин.
 Он рядом, здесь. И кажется, пошарь я
 Рукой, перчатку лишь сними, —
 И ешь сама, и мужа накорми.

А там, по Северной, сюда идут,
 Идут составы, — каждый бесконечен.
 Не счесть вагонов. Ни один диспетчер
 Не посягает на его маршрут.
 Он знает: это посланный страной,
 Особо важный. Внеочередной.

Там тонны мяса, центнеры муки.
 И все это в три яруса, грядою,
 Лежит в полкилометра высотой, —
 Но все это, не доезжая Мги.
 Там овощи. Там витамины «Це»,
 Но мы в блокаде. Мы почти в кольце.

И даже будто в Мурманске стоят
 Для нас американские продукты:
 Консервы, сахар, масло. Даже фрукты.
 Бананы... Ящики, за рядом ряд.
 И за долготерпенье нам в награду
 На каждом надпись: «Только Ленинграду».

Нам тяжело. А тут еще мороз
 Свирепствует, невиданный дотоле.
 Торпедный катер стынет на приколе,
 Автобус в ледяную корку врос.
 За наименьшем тока — нет трамваев.
 Все тихо. Город стал неузнаваем.

И пешеход, идя по мостовой
 От Карповки до улицы Марата,
 В молчаньи тяжкий путь свершает свой.
 И только редкий газогенератор,
 На краткую минуту лишь одну
 Дохнув теплом, нарушит тишину.

Как бы сквозь сон, как в деревянном веке,
 Невнятно где-то тюкает топор.
 Фанерные щиты, сарай, забор,
 Полусгоревшие дома-калеки,
 Остатки перекрытий и столбов —
 Все рубят: для печурок и гробов.

Две женщины (недоля их света),
 В платках до глаз, соприкасаясь лбами,
 Пенек какой-то пилят. Но пила
 С искривленными слабыми зубами,
 Как будто бы и у нее цынга,
 Не в состояньи одолеть пенька.

Ни лая, ни мяуканья, ни писка
 Пичужьего. Небось, пичуги там,
 Где, весело летая по пятам
 За лошадью, как из горячей миски,
 Они хватают зернышки овса...
 Там раздаются птичьи голоса.

Нет радио. И в шесть часов утра
Мы с жадностью последние известья
Уже не ловим. Наши рупора —
Они еще стоят на прежнем месте.
Но голос... голос им уже не дан:
От раковин отхлынул океан.

Вода!.. Бывало, встанешь утром рано,
И кран, с его металла белизной,
Забулькает, как соловей весной,
И долго будет течь вода из крана.
А нынче, ледяным перстом заткнув,
Мороз оледенил блестящий клюв.

А нынче пьют из Невки, из Невы,
(Метровый лед коли хоть ледоколом).
Стоят обмерзшие до синевы,
Обмениваясь шуткой невеселой,
Что уж на что, мол, невская вода,
А и за нею очередь. Беда!..

А тут еще какой-то испоганил
Всю прорубь керосиновым ведром.
И все, стуча от холода зубами,
Владельца поминают недобром:
Чтоб он сгорел в огне, чтоб он ослеп,
Чтоб потерял он карточки на хлеб...

Лишилась тока сеть водоснабженья,
Ее подземное хозяйство труб.
Без тока, без энергии движенья,
Вода замерзла, превратилась в труп.
Насосы, фильтры — их живая связь
Нарушилась. И вот — оборвалась.

(В системе фильтров есть такое сито —
Прозрачная стальная кисель;

Мельчайшее из всех. Вот так и я
Стараюсь удержать песчинки быта,
Чтобы в текучей памяти людской
Они осели б, как песок морской...

19

Зима роскошествует. Нет конца
Ее великолепиям и щедротам.
Паркетами зеркального торца
Сковала землю. В голубые гроты
Преобразила черные дворы.
Алмазы... Блеск... Недобрые дары.

20

И правда, в этом городе, в котором
Больных и мертвых множатся ряды,
К чему эти зеркальные просторы,
Хрусталь садов и серебро воды?
Закрыть бы их!.. Закрыть, как зеркала
В дому, куда недавно смерть вошла.

21

Но чем закрыть? Без теплых испарений,
Воздушный свод неизъяснимо чист.
Не тающий на ветках снег — сиренев,
Как дымчатый уральский аметист.
Закат сухумской розой розовеет...
Но лютой нежностью все это веет.

22

А в час, когда рассветная звезда
Над улиц перспективой несравненной
Сияет в бездне утренней, — тогда
Такою стужей тянет из вселенной,
Как будто бы сам космос, не дыша,
Глядит, как холодеет в нас душа.

23

Педаром же на-днях, заняв черед
С рассветом, чтобы круп достать к обеду,
Один парнишка брякнул вдруг соседу:
«Ну, дед, кто эту ночь переживет, —

Тот будет жить» И старый дед ему:
«А я ее, сынок, переживу».

24

Переживет ли? Ох!.. День ото дня
Из наших клеток исчезает кальций.
Слабеет! (Взять хотя бы и меня:
Ничтожная царапина на пальце,
И месяца уже, пожалуй, три
Не заживает, прах ее бери!)

25

Как тягостно, и главное — как скоро
Теперь стареют лица: их черты
Доведены до птичьей остроты
Как бы рукой зловещего гримера:
Прибавил пепла, подмешал свинца —
И человек похож на мертвеца.

26

Открылись зубы, обтянулся рот.
Лицо из воска. Трупная бородка
(Такую даже бритва не берет),
Почти без центра тяжести походка,
Почти без пульса серая рука —
Начало гибели, распад белка.

27

У женщин начинается отек.
(Они все зябнут, это не от стужи.)
Крест-накрест на груди у них все туже
Когда-то белый вязаный платок.
Не веришь — неужели эта грудь
Могла дитя вскормить когда-нибудь!

28

Апатия истаявшей свечи...
Все перечни и признаки сухие
Того, что по-ученому врачи
Зовут «алиментарной дистрофией»
И что — не латинист и не филолог —
Определяют русским словом: голод.

А там, за этим, следует конец.
И в старом одеяле, цвета пыли,
Английскими булавками зашпилен,
Бечевкой перевязанный мертвец
Так на салазках ладно обряжен,
Что, видимо, в семье не первый он.

Но рядом — в одеяльце голубом —
Мальчишечка грудной — само здоровье!
Хотя не женским, даже не коровьим,
А соевым он вскормлен молоком.
Нет — не простое совпадение это,
Здесь жизни передана эстафета...

И тут в мое ночное бытие
Вплетается со мною разлученный
Иной ребячий облик—мой внучонок.
Он в валеночках, золотце мое,
Он тепел, осязаем. Он весом...
Увы! Я сплю, и это только сон.

О Г О Н Ь

1

Мороз, мороз!.. Великий русский холод
Испытанный уже союзник наш.
Врагов он жалит, как железный овод,
Он косит их, прессует, как фураж,
И по телам заснувших мертвым сном
Он катит дальше в танке ледяном.

2

Как из былины, в кожаном шеломе,
Глядит из башни (ну и здорова!)
Румяная седая голова.
А дальше в этой танковой колонне
Идут бураны, снежные вьюны,
Заносы... Не видать еще весны.

Треск по лесу! Алмазная броня
 То изумрудом вспыхнет, то рубином...
 А чуть стемнеет, на излете дня,
 Вооружась серебряной дубиной,
 Уходит партизанить наш старик,
 Как в дни Наполеона он привык.

И тут уж все немецкое бежит,
 Чтоб от него укрыться как-то, где-то,
 И бледная немецкая ракета
 Беззвучно заикается, дрожит.
 Все снег да снег, без края и конца,
 Вокруг Оломны и Гороховца.

Ни шороха, ни звука, ни движенья.
 Не покидает свой высокий пост
 Луна, чье кольцевое окруженье
 Истает под напором звезд.
 И вдруг — раскат. И ожил горизонт...
 Товарищи, здесь ленинградский фронт.

Вчерашний день мы провели в лесу,
 На наших дальнобойных батареях.
 И я его забуду не скорее,
 Чем собственное имя. Пронесу
 Его в глубинах сердца. Никогда
 Туда не проникают холода.

С первоначальной силой излученья
 Там в вечном сохраняются тепле
 Сокровища. Луч солнечный в Кремле,
 На ордене, в минуту получения.
 Звук голоса, который из Москвы
 Мы слушали на берегах Невы.

В безмолвии мы слушали его.
 Сигнал тревоги в середине фразы

Из тишины не вывел никого,
Над городом шел бой. Потом на базы
(Мы поняли) вернулись «ястребки».
Но наши мысли были далеки.

9

Речь продолжалась. И такая в ней
Уверенность была, такая сила,
Что эта ночь, которая гасила
Тревогами созвездия огней, —
От сталинского голоса редела.
«Мы победим, — сказал он, — наше дело

10

Есть дело правое...» Был напоен
Овациями воздух. Будто стая
Крылатых, красных с золотом, знамен
Над нами бушевала, пролетая.
Казалось нам, что где-то высоко
Победный пурпур плещет о древко.

11

И мы — десятки, тысячи людей
В настороженном мраке Ленинграда,
Мы ощутили вдруг, что мы — громада.
Мы — сила. Что сияние идей,
К которым мы приобщены, бессмертно.
Пусть ночь. Пускай еще не видим черт мы

12

Лица победы. Но ее венка
Лучи уже восходят перед нами.
Нас осеняет ленинское знамя,
Нас направляет Сталина рука.
Мы — будущего светлая стезя,
Мы — свет. И угасить его нельзя.

13

Прошло четыре месяца. И вот
В день Красной Армии, на фронте, снова
(Февраль: суровый месяц, снег и лед)
Мы услышали сталинское слово,

Мы наблюдали выражение глаз
Людей, его читающих при нас.

14

Они приказ Наркома Оборона
Читали в полдень, и когда закат
Был золотого цвета, как патроны,
В землянке, где над головой накат,
И у костра, под елью вековой,
Когда был Млечный путь над головой.

15

Оружием всех видов и родов
Приказ был соответственно отмечен.
Связист его читал у проводов,
У карты — генштабист. И лишь разведчик,
Кому и лишний вздох не разрешен,
В тылу врага был этого лишен.

16

Один из них рассказывал: «В снегу
И сам иной раз станешь, как ледяшка,
Но согревает ненависть к врагу.
Сидишь часами — и оно не тяжело.
Мороз! А в голове горит одно —
Задание, которое дано».

17

Он прав, разведчик. От глухой тропы,
От точки огневой до бури шквальной,
Когда столбы земли, подобно пальмам,
Перерастают сосны и дубы, —
Везде и всюду, явен или скрыт,
Но этот наш огонь всегда горит.

18

Он партизанским полымем-пожаром
Захватчиков сжигает на корню.
Закован в современную броню,
Старинным русским полыхает жаром.
Он — меч союзников, он — бич врагов,
Ему дивятся пять материков.

Навек смертельно им потрясены
 Те, кто его удары испытали.
 Блистательно сказал товарищ Сталин,
 Что артиллерия есть бог войны,
 Всесокрушающее божество!..
 Мы наблюдали в действии его.

Огонь! В честь нас, людей из Ленинграда,
 В честь пятерых — пять молний, пять громов
 Рванули воздух (мы стояли рядом).
 По вражьи́м блиндажам пять катастроф.
 И в интервалах первым начал счет
 Один из нас, сказав: «За наш завод!»

Второй проговорил: «За наш совхоз,
 Во всем районе не было такого».
 «За сына», — третий тихо произнес.
 Четвертая, инструкторша горкома:
 «За дочку. Где ты, доченька моя?»
 «За внука моего», — сказала я.

Я внука потеряла на войне...
 О нет! Он не был ни боец, ни воин.
 Он был так мал, так в жизни не устроен.
 Он должен был начать ходить к весне.
 Его зимою, от меня вдали,
 На кладбище подмышкой понесли.

Его эвакуацией за Волгу
 Метнуло. Весь вагон, куда ни глянь, —
 Все дети. Ехать предстояло долго:
 Так в лес детеныша уводит лань,
 Все думает спасти его, пока
 В ее сосцах хоть капля молока.

Он был, как тот березовый росток,
 Который ожил в теплоте землянки

И вырос на стене, как на полянке,
Но долго просуществовать не мог.
Хирел, мечтал о солнце, как о чуде,
И вздрагивал от грохота орудий...

25

Смертельно ранящая — только тронь —
Воспоминаний взрывчатая зона...
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
И все же, невзирая на огонь,
Без жалости к себе, без снисхожденья,
Иду по этим минным заграждениям,

26

Затем, чтобы перо свое питала
Я кровью сердца. Этот сорт чернил...
Проходит жизни год — они все так же алы,
Проходит жизнь — им цвет не изменил.
Чтобы писать как можно ярче ими,
Воспользуемся ранами своими.

27

Используем все огневые средства
Для ненависти огненной к врагу.
Боль старости, загубленное детство,
Могилка на далеком берегу...
Пусть даже наши горести и беды
Являются источником победы.

28

Преследуем единственную цель мы,
Все помыслы и чувства об одном:
Разить врага прямым, косоприцельным,
И лобовым, и фланговым огнем,
Чтобы очаг отчаянья п зла —
Проклятье гитлеризма — сжечь дотла.

Владимир ЛУГОВСКОЙ



ПИСЬМО К РЕСПУБЛИКЕ ОТ МОЕГО ДРУГА

Ты строишь, кладешь и возводишь,
ты гонишь в ночь поезда,
На каждое честное слово
ты мне отвечаешь: «Да!»
Прости меня за ошибки, —
судьба их назад берет.
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я плоть от твоей плоти
и кость от твоей кости.
И если я много напутал, —
ты тоже меня прости.
Наполни приказом мозг мой
и ветром набей мне рот,
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я спал на твоей постели,
укрыт снеговой корой,
И есть на твоих равнинах
моя молодая кровь.
Я к бою не опоздаю
и стану в шеренгу рот, —
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Такие, как я, срывались
и гибли наперебой.
Я школы твои и газеты
и клубы питал собой.
Такие, как я, поднимали
депо, и забой, и завод, —
Возьми меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Такие, как я, сидели
над цифрами день и ночь,

Такие, как я, опускались,
а ты им могла помочь.
Кто силен тобой —
в работе он,
Кто брошен тобой —
умрет.
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я вел твои экспедиции,
стоял у твоих реторт,
Я делал свою работу,
хоть это не первый сорт.
Ты строишь за месяцем месяц,
ты крепнешь за годом год, —
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я шел за тобою следом
с тяжелой, как жизнь, семьей,
И мать, и жена, и сестры
стирали белье твое.
Я проклинал квартирную плату,
я проклинал водопровод, —
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Я сонным огнем тлею
и еле качаю стих, —
За то, что я стал холодным,
ты тоже меня прости.
Но время идет, и стройка идет,
и выпадет мой черед, —
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
Три поколения культуры —
и три поколения тоски,
И жизнь, и люди, и книги,
прочитанные до доски.
Республика это знает,
республика позовет,
Возьмет меня в переделку
и движет, гремя, вперед.
Ты строишь, кладешь и возводишь,
ты гонишь в ночь поезда.
На каждое честное слово
ты мне отвечаешь: «Да!»

Так верь и этому слову —
от сердца оно идет, —
Возьми же меня в переделку
и двинь, грохоча, вперед.
1929

БАСМАЧ

Дым папиросный качнулся,
высох и загустел.
Частокол британских винтовок
криво стоял
у стен.
Кланаясь,
покашливая,
оглаживая клочья бороды,
В середину табачного облака
сел Иган-
Берды.
Пиала зеленого чая —
успокоитель души —
Кольнула горячей горечью
челюсти курбаши.
Носком сапога
покатывая
одиноким патроном на полу,
Нетвердыми жирными пальцами
он поднял
пиалу.
А за окном
пшеница
гуляла в полном соку,
Но тракторист, не мигая,
прижался щекой
к штыку.
Он восемь бессонных суток
искал по горам
следы
И на девятые сутки
встретил Иган-Берды.
Выстрелами оглушая
дикие уши горы,

МЕДВЕДЬ

Девочке медведя подарили.
Он уселся, плюшевый, большой,
Чуть покрытый магазинной пылью,
Важный зверь
с полночною душой.

Девочка с медведем говорила,
Отвела для гостя новый стул,
В десять
спать с собою уложила,
А в одиннадцать
весь дом заснул.
Но в двенадцать,
видя свет фонарный,
Зверь пошел по лезвию луча,
Очень тихий, очень благодарный,
Ножками тупыми топоча.

Сосны зверю поклонились сами,
Все ущелье начало гудеть.
Поводя стеклянными глазами,
В горы шел коричневый медведь.

И тогда ему промолвил слово
Облетевший, многодумный бук:
— Доброй полночи, медведь! Здорово!
Ты куда идешь-шагаешь, друг?
— Я шагаю ночью на веселье,
Что идет у медведей в горах,
Новый год справляет новоселье.
Чатырдаг в снегу и облаках.

— Не ходи,
тебя руками сшили
Из людских одежд людской иглой.
Медведей охотники убили,
Возвращайся, маленький, домой.

Кто твою хозяйку приголубит?
Мать встречает-где-то Новый год,
Домработница танцует в клубе,
А отца — собака не найдет.

Ты лежи, лежи, лежи в постели,
Лапами не двигай до зари
И, щеки касаясь еле-еле,
Сказки медвежачьи говори.

Путь далек, а снег глубокий и вязок,
Сны прижались к ставням и дверям,
Потому что без полночных сказок
Нет житья ни людям, ни зверям.

1939

КУРСАНТСКАЯ ВЕНГЕРКА

Сегодня не будет поверки.
Горнист не играет поход.
Курсанты танцуют венгерку,
Идет девятнадцатый год.

В большом беломраморном зале
Копилки на хорах горят,
Валторны о дальнем привале,
О первой любви говорят.

На хорах просторно и пусто,
Лишь тени качают крылом,
Столетние царские люстры
Холодным звенят хрусталем.

Комроты спускается сверху,
Белесые гладит виски,
Гремит курсовая венгерка,
Роскошно стучат каблук.

Летают и кружатся пары —
Ребята в скрипучих ремнях
И девушки в кофточках старых,
В чиненых тупых башмаках.

Оркестр духовой раздувает
Огромные медные рты.
Полгода не ходят трамваи,
На улице склад темноты.

И холодно в зале суровом,
И надо бы танец менять.
Большим перемолвиться словом,
Покрепче подругу обнять.

Ты что впереди увидала?
— Заснеженный, черный перрон,
Тревожные своды вокзала,
Курсантский ночной эшелон.

Заветная ляжет дорога
На юг и на север — вперед.
Тревога, тревога, тревога!
Идет девятнадцатый год!

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме,
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

На хорах — декабрьское небо,
Портретный и рамочный хлам;
Четвертку колючего хлеба
Поделим с тобой пополам.

И шелест потертого банта
Навеки уносится прочь —
Курсанты, курсанты, курсанты,
Встречайте прощальную ночь.

Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идет

девятнадцатый год.

1940



САПКЮЛОТ

Мать моя — колдунья или шлюха.
А отец — какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как, юбку разодрав
На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу.

Мать мою плетьюми полосовали.
Рвал ей ногти бешеный монах.
Судьи в красных мантиях зевали,
Колокол звонил, чадили свечи.
И застыл в душе моей овечьей
Сон о тех далеких временах.

И пришел я в городок торговый.
И сломал мне кости акробат.
Стал я зол и с двух сторон горбат.
Тут начало действия другого.
Жизнь ли это, или детский сон,
Как несло меня пять лет и гнуло,
Как мне холодом ломило скулы,
Как ходил я в цирках колесом,
А потом одной чертовке старой
В табакерки рассыпал табак,
Пел фальцетом хриплым под гитару,
Продавал афиши темным ложам
И колбасникам багроворожим
Поставлял удушенных собак.

Был в Париже голод. По-над глубио
Узких улиц мчался пережат

Ярости. Гремела канонада.
Стекла били. Жуть была — что надо.
О свободе в Якобинском клубе
Распинался бледный адвокат.

Я пришел к нему, сказал:
«Довольно,
Сударь! Равенство полно красоты.
Только по какой линейке школьной
Нам равнять горбы или носы?
Так пускай торчат, хоть в беспорядке,
Головы на пиках!
А еще —
Не читайте, сударь, по тетрадке.
Куй, пока железо горячо!»

Адвокат, стрельнув орлиным глазом,
Отвечает:
«Гражданин горбун!
Знай, что наша добродетель — разум,
Наше мужество — орать с трибун.
Наши лавры — зеленью каштанов
Нас венчает равенство кокард.
Наше право — право голоштаных.
А Версаль — колода сальных карт».

И гремел он до зари о том, как
Гидра тирании душит всех.
Не хлебнув глотка и не присев,
Пел о благодарности потомков.

И пошел писать!.. У нас в костях
Ныла злость и бушевала горечь.
Перед ревом человеческих сборищ
Смерть была, как песня. Жизнь — пустяк.

Духи мщенья! Как давно я знал их!
Как скреплял я росчерком счета,
Те, что предъявляла нищета!
Как скрипели перья в трибуналах!
Красен платежами был расчет!
Разъезжали фуриями фуры.
Мяла смерть седые куафюры
И сдувала пудру с желтых щек.

И трясла их в розовых каретах,
На подушках, взбитых, словно крем,
Лихорадка, сжатая в декретах,
Как в нагих посылках теорем.

Ветер. Зори барабанов. Трубы.
Стук прикладов по земле нагой.
Жизнь моя — обугленный обрубок,
Прущий с перешибленной ногой
На волне припева, в бурной пене
Рванных шапок, ружей и знамен,
Где любой по праву упоенья
Может быть соседом заменен.

Я упал. Поплыли пред глазами
Жерла пушек, зубы конских морд.
Гул толпы в ушах еще не замер.
Дождь не перестал. А я был мертв.

«Дотащиться бы, успеть к утру хоть!» —
Это говорил не я, а вихрь.
И срывал дымящуюся рухлядь
Старый город с плеч своих.

И сейчас я говорю с поэтом,
Знающим всю правду обо мне,
О себе, о времени, об этом
Рвущемся к нему огне.

Разве знала юность, что истлеть ей?
Разве в этой ночи нет меня?
Разве день мой старше на столетье
Вашего молодого дня?

И опять:
«Дождаться, доползти хоть!» —
Это говорю не я, а ты.
И опять задремывает тихо
Море вечной немоты.

И опять, с лихим припевом вровень,
Чтобы даже мертвым не спалось,
По камням, по лужам дымной крови
Стук сапог, копыт, колес.

1925

Со страниц хрестоматий вставая,
Откликаясь во дни годовщин,
Жизнь короткая, жизнь огневая,
Ни в какой не вмещенная чин,

Каждым заново с детства решалась,
С каждой юностью жадно дружа, —
То пустая лицейская шалость,
То громовый пабат мятежа,

То нужнее дыханья и хлеба,
То нежней феокрытовых роз, —
В спелых гроздьях созвездий, как небо
Над Россией в январский мороз.

В спелых гроздьях!
И рифмою парной
Оперенная пылкая речь
Вновь курчавилась пеной янтарнсей
В торжестве расставаний и встреч.

Дружбы, женщины, жажда живая
Все схватить и, сжимая в горсти,
Каждый облик своим называя,
Все постигнуть и перерасти,

Это он!
И на площади Красной,
На трибунах, под марш боевой,
Он являлся, приветливый, страстный,
С непокрытой, как мы, головой.

Там, где гор голубые отроги
Набегают, лавиной грозя,
По Военно-Грузинской дороге
Рядом с ним мы прошли как друзья.

Сколько белых ночей в Ленинграде
Вместе с нами ему не спалось
Ради близкого взморья и ради
Чьей-то вьющейся пряди волос.

Он затвержен в боях и походах.
Он сегодня и книга и чтец.
Он узнал, что бессмертье — не отдых,
А тревога стучащих сердец.

Что бессмертие — это в тумане,
За снегами, за гулом пространств
Школьный праздник, ребячье внимание,
Перешедшее за полночь в транс.

Пахнет хвоей и сказкою древней
От построенных только что стен.
И в ночную метель над деревней
Упираются палки антенн.

И когда за снегами, полями,
Ликуванья и нежности полн,
Женский голос, как синее пламя,
Возникает из радиоволн,

И все выше и самозабвенней
Он несется, томясь и моля,
И как будто о Чудном Мгновеньи
В первый раз услышала земля, —

Это он!
Это в пламени песни,
В синих молниях, неумолим,
Он, учитель, товарищ, ровесник,
Входит в школу к ребятам моим.

1937

НА СЕВЕР!

На север, на север, на север — вперед!
Нас за сердце доблесть людская берет!

На север глядит человечество зорко,
Туда, где осталась на вахте четверка.

Над ними пурга запекает в рога.
Им гибель грозит ледяная карга.

Зеленые торосы, выставив зубья,
Скрежещут, ползут над чернеющей глубию.

Но солнце над ними стоит в небесах
Все двадцать четыре часа на часах.

По слажено все для рекордного дела.
За каждым прибором страна доглядела!

Варила им сталь, шлифовала стекло,
Чтоб ночь распахнуть перед ними светло.

К ним рвутся цветов золотые охапки.
Оркестры, знамена, и руки, и шапки.

А там, опрокинутой чашей вися,
Им наша планета подарена вся.

Тот самый поручен им глобус, который
Коперник швырнул в мировые просторы.

А там, еле видный народам во тьме,
Пунктиром намеченный в светлом уме, —

Вот он, в сочетаньи расчета и риска,
Весь путь от Московского моря до Фриско.

Бушует весна. Начинается год.
Они остаются в краю непогод.

Их четверо. Благословенно их имя.
Гордись же, страна, сыновьями такими!

Вселенная, безостановочно мчась,
Навеки запомни минуту и час,

Когда водрузили на льду новоселы
Наш флаг — человеческий, красный, веселый.

1938

Взойдя на трибуну и сосредоточась,
Он видел одну только цель пред собой,
Он видел одну только грозную почесть —
Поклясться, как люди, идущие в бой.

Он вспомнил далекие дни Таммерфорса,
Когда эту руку впервые пожал,
И будто бы след на ладони не стерся,
И ток от нее, как тогда, пробежал.

Он вспомнил, как в ссылке сибирской когда-то
Впервые читал он от друга письмо.
...С ним рядом стояли великие даты,
Стояло великое время само.

Он вспомнил прищуренный, полный задора,
Веселый и пристальный взгляд из-под век,
И все, чем навек незабвенен и дорог,
И все, чем единственен тот человек.

Он встал на трибуне и выпрямил плечи.
Он, самый правдивый из большевиков,
Знал — всем существом — содержание речи,
Которую должен сказать для веков.

Он начал. За окнами жгучая вьюга
Еще не утихла. Ко дню похорон
С востока и с запада, с севера, с юга
Шли толпы.

И каждый дощатый перрон,
И каждый фонарь, озирающий стужу,
Расплывшийся в нимбе слезы ледяной, —
Все знало одну только почесть — все ту же,
Все было охвачено думой одной.

«Клянемся!» — Плечами друг к другу
приникши,
Теснились в еще беспросветной ночи
Шахтеры из Рура, шанхайские рикши,
Матросы в Валенсии, в Лодзи ткачи.

К идущим векам, к молодым поколениям,
К бессмертным народам то слово неслось,
Живое и непобедимое — Ленин! —
Омытое морем бесчисленных слез.

— Клянемся, что Ленин живет не сгорая,
Клянемся беречь диктатуру труда,
Клянемся вселенной от края до края
От клятвы той не отступить никогда!

«Клянемся!» — И, будто бы ветром
искромсан
И ветром же собран и поднят, вдали
Катился ответ миллионов: «Клянемся!»
Так слушали Сталина дети земли.

1939

О ПАРНЕ ИЗ ГИТЛЕРОВСКОЙ ДИВИЗИИ

Парня выбрали по росту между многих низколобых,
На год заперли в казарму, сны проверили в мозгу.
Ровно год скучал и ждал он, с разной сволочью бок о бок,
Не писал домой открыток, и оттуда — ни гу-гу.

Силу парня разъедала тошнотворной скуки язва.
Рядом с ним, как волки в клетке, терлась тысяча парней.
Был «Германией великой» этот полк отборный назван,
Чтобы дух закалки brave укрепит в парнях верней!..

День пришел. Парней обрили. Куртки вспрыснули кар-
болкой.
Проглотили их вагоны, — целый полк в один глоток.
Трое суток было слышно, как в дороге скучной, долгой
Перестукивали стыки: «На восток, восток, восток...»

Парень вышел из вагона в три часа утра. Светало.
Небо медленно бледнело над морями спелой ржи.
Непроспавшемуся парню почему-то страшно стало.
Он спросил соседа тихо: «Чья же тут земля, скажи?»

Тот ответил: «Здесь Россия. Здесь прошли дожди косые.
Видишь — вот следы босые детских ног в траве сырой.

Ты сюда пришел, чтоб драться». — «В этом надо разобраться!» —

«Разобраться, говоришь ты? Будешь ты расстрелян трижды
За такие речи, парень. Разобраться, — чорта с два!
Мы всего не знаем сами, но за полем, за лесами
Будет отдых и добыча, — город есть такой, Москва».

«Это дело. Рад стараться. К драке с детства я привык. С детства мне приятен очень молодецкий стук пощечин. Я в ударе зол и точен, как спортсмен и штурмовик».

И когда в глаза сверкнуло, и свернуло парню шею,
И швырнуло наземь грузно, и лежал он в спелой ржи,
И над ним сияло небо, беспощадно хорошея, —
Он спросил у неба жадно: «Как же это так — скажи?»

«В этом надо разобраться! — отвечало парню небо. — Не пришлось тебе подраться, ты продал себя за грош, Сын Тюрингии иль Граца, может, ты на свете не был, Не твои леса и реки. Не твоя созрела рожь.

Через год придут ребята, пыльный череп твой подымут
И твою могилу примут за некошенный овраг.
Крепко спи, германский паренё, скован стужей, ливнем
ВЫИМЕТ.

Здесь у нас хороший климат: не проснется мертвый враг».

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



ПАМЯТНИК СУВОРОВУ

Среди балтийских солнечных просторов,
Пред широко распахнутой Невой.
Как бог войны, встал бронзовый Суворов
Виденьем русской славы боевой.

В его руке стремительная шпага,
Военный плащ клубится за плечом,
Пернатый шлем откинут, и отвага
Заягла глаза немеркнущим огнем.

Бежит трамвай по Кировскому мосту,
Кричит авто, прохожие спешат,
А он глядит на шпиль, как шпага, острый,
На деловой военный Ленинград.

Держа в рядах уставное равенье,
Походный отчеканивая шаг,
Народное проходит ополчение
Пред гением стремительных атак.

И он, генералиссимус победы,
Приветствуя неведомую рать,
Как будто говорит: «Недаром деды
Учили вас науке побеждать».

Несокрушима воинская сила
Того, кто предан родине своей.
Она брала твердыни Измаила,
Рубила в клочья прусских усачей,

В Италии летела с гор лавиной,
Пред Францией вставала в полный рост,
Полки средь туч вела тропой орлиной
В туман и снег на узкий Чортов мост.

Нам ведом враг, и наглый и лукавый,
Не в первый раз встречаемся мы с ним,
Под знаменем великой русской славы
Родной народ в боях непобедим.

Он прям и смел в грозе военных споров,
Страны, подобной нашей, в мире нет.
Вперед, друзья! Так говорит Суворов,
Ваш прадед в деле славы и побед.

1941

Николай УШАКОВ



ВИНО

Я знаю
трудная отрада,
не легкомысленный покой —
густые грозди винограда
давить упорною рукой.

Вино молчит.
А годы лягут
в угрюмом погребе, как дым,
пока сироп горячих ягод
не вспыхнет
жаром золотым.

Виноторговцы — те болтливы,
от них кружится голова.

Но я, писатель терпеливый,
храню, как музыку, слова.

Я научился их звучанье
копить в подвале и беречь.

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь.

1923

ТЫ ВХОДИШЬ В САД

Тыходишь в сад, —
у сторожа спроси,
вачем, как бы нечаянно, сложили
разбитый винт,

разбитое шасси
на этой тихой и простой могиле.

Дощечка с надписью — сверкает медь.
Но разве не видать тебе прохожий?
Здесь
даже куст желает улететь,
листами машет —
и лететь не может.

Здесь летчик похоронен.
Он умел
узнать просторы ястребиной воли.
Над белыми штабами он летел,
и бомбы вздрагивали на гондоле.

И, перегнувшись за высокий край,
он созерцал,
как вдалеке пылали,
занятнее, чем дровяной сарай,
товарные составы на вокзале.

И летчик гнал домой,
но аппарат
вдруг разучился облаками реять.

И летчик гнал домой,
и был он рад,
что падает за наши батареи.

А ты пришел сюда, —
в тени аллей,
среди могил,
остановись и думай
о воздухе,
о пухе голубей
и о земле —
ревнивой
и угрюмой.

1925

М А С Т Е Р С Т В О

Пока владеют формой руки,
пока твой опыт
не пссяк,

на яростном гончарном круге
верти вселенной

так

и саяк.

Мир незакончен

и неточен, —

поставь его на пьедестал

и надавай ему пощечин,

чтоб он из глины

мыслью стал.

1935

В СТЕПИ

Спят они,

не подложив шинелей,

позабыв и страх, и злость, и боль;

под луной мерцает еле-еле,

может быть —

роса,

быть может —

соль.

А быть может —

соль с росой вместе...

Батальоны — тысячи солдат —

от горящих

городских предместий

на ночлег последний

в степь спешат.

Могут выпасться солдаты вволю

есть где лечь —

широк простор степной.

Пробегают перекасти-поле,

только мертвых

видя пред собой.

От одних к другим перебегают,

заглянув в лицо и видя кровь,

немцев и румын оно считает

и, сбиваясь,

начинает вновь.

1942

Николай ДЕМЕНТЬЕВ



МАТЬ

Толпы с поезда. Ну, и народ! Впрямь как с табаша:
Прут и прут, не допрутся пока...

— Тише! Бабку затискали! Что тебе, бабушка?
«Мне б Петрушу...» — Которого это? — «Сынка...»

Бултыхает старуха баулом и чайником.
У возниц, у шоферов, у публики — смех:
— Это что ж за петрушка такая? — «Начальник он...»
— Тут начальников много...—«Так мой—выше всех».

Уморила!
Над сборищем этим, над сонмом
Гогот, хохот, шибящий в пот.
Вдруг один кучерок как смекнет, да как вспомнит,
Что начальник строительства —
Правильно — Петр!

Кулаком по мордам
Лошадей задремавших,
Чтоб стояли,
Чтоб выглядели, как орлы
Сено — в ноги. Кнут — в руки:
«Садитесь, мамаша!...»

Ой, железные шины круты и круглы!
Ты качайся, на клевере вскормленный мерин!
Вороная кобылка, пластайся в разлет!
Обернется, башкой помотает — и верит —
И — не верит.

А бабушка носом клюет.
Кацавейка на ней — не по-летнему — ватная.
Ишь! горбатая... Ишь! — неприглядная вся...
Загорелая, старая и рябоватая...

...У начальника в комнате
Карты висят...
На кровати начальника — простыни взрыты.
Шторы — настежь,
И солнце —
По всем косякам,
Книгам, стеклам, приборам...
Слепящая бритва
Пышет в зеркало,
А перед зеркалом — сам.
Крепкий, свежий, еще не успел приодеться,
Напевает чего-то в усы и под нос,
Пена шлепается на полотенце...

Входит возчик:
«Мамашу — в порядке довез...»

А за возчиком,
В белом платочке и валенках,
Что-то давнее-давнее, и не узнать...
Вспоминал... вспоминал... вспоминал...
Вспомнил. — Маменька! —
«Я, Петруша! Я, милый! Я, кровный! Я — мать...»

Отобрал у нее узелки и баулы,
Рассовал под столы, оглянулся мельком.
Усадил, оглядел ее всю... —
И пахнуло
Детством — речкой, репейниками, молоком,
Молодыми рябинами над оградами.
Рубашонкой в заплатах, сестренкой в соплях...

— Мама! Мамонька!
Чем же тебя мне порадовать?
Ты, наверно, с дороги устала, прилиг.
Уложил ее, старенькую, на топчанике,
Одеялом, коротенькую, — до бровей...

— Самоварчик?
У нас, понимаешь ли, — чайники...
В церкву хочешь?
А я и не строил церквей.

Ну, да ты не волнуйся! Ты мало грешила.
Я ж тебя от любого греха излечу.

Знаешь, мамонька, что?
У меня есть машина.
Я тебя по строительству прокачу.

Ты посмотришь, чего мы настроили... Дела ж
До сих пор полон рот — и какие дела!
Покатаемся? Хочется? —
«Что ты! И где уж!»

Два денечка поохала
И померла.

А начальника мы уважали.
Не с ним ли
Возвели комбинат за четыре зимы?

Вышло так, что мамашу его хоронили
Всем строительством, всеми бригадами мы.

В полдень, как по сигналу, —
Сойтись и собраться!
В разогретый асфальт —
Многотысячный шаг!
Тихо, тихо прошел в голове демонстрации
Пятитонный, задернутый черным «фомаг».

Там четыре партийца
Почетною вахтою
Охраняют стоймя,
Не опершись на борт,
Загорелую, старую и рябоватую
Мать начальника наших работ.

Мы проходим, работоупорные жители,
Мимо ясных от яркого света громад.
Автогеном мерцает
Машиностроительный,
Равномерно работает
Химкомбинат.

Мерны медные трубы
Оркестра умелого,
На девчонках платочки
Весенних цветов...

...Ничего не видала
И мало что сделала
За семь с лишним десятков
Бедняцких годов.

На голодной степи, у дороги, — песочек
Бабий голос — еще молодой — одинок...

Сын приехал
С уральских заводов,
Вальцовщиком,
Прогармонил недельку —
И смылся сынок.

А у ней, как и встарь, догнивает под дождем
Ощетиненный, малоколосистый сноп...

Сын приехал,
Бежавши из ссылки,
Подпольщиком,
Почевал на овине —
И смылся сынок.

А она — со скотом — поднимается раненько.
Уж от старости пальцы пускаются в шияс...

Сын приехал
С гражданского фронта,
И раненный,
Отдохнул — и на фронт!
А она осталась...

Протащилась,
Не чуя ни горя, ни времени,
Через двадцать беременностей и смертей...

...Мы положим тебя,
Аграфена Ефремовна,
В парке отдыха,
У пионерлагерей.

Через светлые,
Через стеклянные версты

Сын тебя провожает,
Как через века...

Это строили мы
Под его руководством —
Инженера, начальника, большевика.

Это мы возводили,
Чтобы крепче дышалось,
Чтобы легче работалось,
Лучше жилось,
Чтобы с ног не валила
 Ни хворь,
 Ни усталость...

Мы положим тебя
У веселых берез,
Изможденную, темную мать неимущих,
Всех, кто новым и властным хозяином встал.

Пусть в оркестре
Все трубы играют
«Замучен
Тяжелой неволей...»
И «Интернационал»!

1933

Александр ПРОКОФЬЕВ



ТОВАРИЩ

Я песней, как ветром, наполню страну
О том, как товарищ пошел на войну...
Но ветер ударил в морской перебой,
В сухой подорожник, в траву зверобой.
Подсеверный плакал другой стороной,
Когда мой товарищ прощался со мной...
Не донная рыба попала в силок,
Четыре тумана заходят в село.

Рассвет и разлука. Мой голос окреп.
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб!
Мы бросили шпаллеры по столам,
Мы дружбу ломали напополам!
Встер — лавиной, и песня — лавиной...
Тебе — половина, и мне — половина!
Мы здорово хлопнули по рукам.
Четыре тумана встают по бокам.

Луна — словно репа, и звезды — фасоль...
«Спасибо, мамаша, за хлеб и за соли!
Еще тебе, мамка, скажу поновей:
Хорошее дело взрастить сыновей,
Которые тучей сидят за столом,
Которые могут итти напролом,
Которые сердцем по сердцу — бряк!
Которые встали, как дубняк!
И вот твою сокола повели.
Ты круче горбушку ему посоли...
Соли астраханскую солью. Она
Для крепких кровей и для хлеба годна!»
Воистину — зори рассыпаны нам...
Мы хлеб разломали напополам!

Коль ветер — лавиной, и песня — лавиной.
Тебе — половина, и мне — половина!

От синей Онеги, от громких морей
Республика встала у наших дверей.

1930

П А Р Н И

Товарищ, издевкой меня не позорь
За ветер шолонник, за паузки зорь.

Тяжелый шолонник не бросит гулять.
Тяжелые парни идут на Оять.

Одёжа на-ять, и щиблеты на-ять,
Фартовые парни идут на Оять.

Трешкоты и соймы на верных реках,
И песня-путевка лежит на руках.

В ней ветер и ночь — понятия с полей,
Несчетные крылья свиристелей.

В ней целая волость зажата в кольцо,
В ней парни танцуют кадрили и ланце.

Парнишки танцуют, парнишки поют,
К смазливым девчонкам пристают:

«Ох ты, ох ты, рядом с Охтой
Приоятский перебой,
Кашемировая кофта,
Полушалок голубой».

Гармоника играет, гармоника поет,
Товарищ товарищу руки не подает.

Из-за какого звона такой пробел?
Отлетный мальчишка совсем заробел.

И он спросил другого:
«Товарищ, коё ж,
Чего ж ты мне, товарищ, руки не подаешь?»

Али ты, товарищ, сердцем сип,
По какому случаю сердишься?»

Другой — дорогой головой покачал
И первому товарищу так отвечал:

«Гармоники играют, гармоники поют,
А я тебе, товарищ, руки не подаю.

Братану крестовому руки не подаю
За Женьку фатовую, милку мою.

Лучше б ты, бродяга, в Америке жил,
Лучше б ты, братенник, со мной не дружил.

Вовек не дружил, не гулял, не форсил,
Травы в заповедных лугах не косил.

Окончена дружба в злосчастном краю
За Женьку, веселую милку мою».

Ой, может, не след бы другим говорить,
Как бросили парни дружбу дарить.

Но как не сказать, коль гармоника поет:
Товарищ товарищу руки не подает.

1930

•
* * *)

Когда, блестя клинками в лаве,
Решили всё отдать борьбе, —
Мы мало думали о славе,
О нашей собственной судьбе.

По совести — другая думка
У нас была, светла, как мед:
Чтоб пули были в наших сумках
И чтоб работал пулемет!

Мы горы выбрали подножьям
И в сонме суши и морей
Забыли все, что было можно
Забыть.

Забыли матерей.

Дома, заречные долины,
Полей зеленых горький клоч,
Пески и розовую глину, —
Все то, что звало и влекло.

Но мы и в буре наступлений,
Железом землю замостив,
Произносили. имя: Ленин, —
Как снова не произнести!

Все было в нем:

 поля и семьи,
И наш исход из вечной тьмы, —
Так дуб не держится за землю,
Как за него держались мы!

1932

МАТРОС В ОКТЯБРЕ

Плещет лента голубая —
Балтики холодной весть.
Он идет, как подобает,
Весь в патронах, в бомбах весь!

Молодой и новый. Нате!
Так, до ленты молодой,
Он идет, и на гранате
Гордая его ладонь.

Справа маузер и слева,
И, победу в мир неся,
Пальцев страшная система
Врезалась в железо вся!

Все готово к нападению,
К бою насмерть...
 И углом
Он вторгается в Литейный.
На Литейном ходит гром.

И развернутою лавой
На отлогих берегах

Потрясенные, как слава,
Ходят молнии в венках!

Он вторгается, как мастер
Лозунг выбран, словно щит:
«Именем советской власти!» —
В этот грохот он кричит.
«Именем...»

И, прям и светел,
С бомбой падает в века.
Мир ломается. И ветер
Давят два броневика.

1933

НЕВЕСТА

По улице полдень, летя напролом,
Бьет черствую землю зеленым крылом.
На улице, лет молодых не тая,
Вся в бусах, вся в лентах — невеста моя.
Пред нею долины поют соловьем.
За нею гармоники плачут вдвоем.
И я говорю ей: «В нарядной стране
Серебряной мойвой ты кажешься мне.
Направо взгляни и налево взгляни,
В зеленых кафтанах выходят линии.
Ты видишь линия или не видишь линия?
Ты любишь меня или не любишь меня?»
И слышу, по чести, ответ не прямой:
«Подруги, пора собираться домой.
А то стороной по камням-валунам
Косые дожди приближаются к нам».
«Червонная краля, постой, подожди,
Откуда при ясной погоде дожди?
Откуда быть буре, коль ветер — хромой?»
И снова: «Подруги, пойдемте домой.
Оратор сегодня действительно прав:
Бесчинствует солнце у всех переправ,
От близко раскиданных солнечных вех
Погаснут даренные ленты навек».
«Постой, молодая, постой, — говорю, —
Я новые ленты тебе подарю.

Кровь моря и ветра в их жилах течет,
Их солнце не гасит и дождь не сечет.
Что стало с тобою? Никак не пойму.
Ну, хочешь, при людях тебя обниму...»
Тогда отвечает, как деверю, мне:
«Ты сокол сверхъясный в нарядной стране.
Полями, лесами до огненных звезд
Лететь тебе, сокол, на тысячу верст!
Земля наши судьбы шутя развела:
Ты сокол, а я дожидая орла!
Он выведет песню, как конюх коня.
Без спроса при людях обнимет меня.
При людях, при солнце, у всех на виду».
...Гармоники смолкли, почуяв беду.
И я, отступая на прах медуниц,
Кричу, чтоб разлуку

играл гармонист.

1934

КЛЯТВА

Тишина. Призамолкла на час канонада,
Скрыто все этой режущей слух тишиной.
Рядом город бессмертный. За честь Ленинграда
Встали сосны стеной, люди встали стеной!
Тишина непривычной была, непонятной.
Предзакатная. Медленно день умирает.
И тогда вдоль рядов, величавый, как клятва,
С новым воинским знаменем прошагал генерал.
Тишина перед боем. Враг, не жди, не надейся,
Заберет тебя ночи чернее тоска.
Здесь, готовые к битвам, встали гвардейцы,
Молодые, победные наши войска.

Рядом были землянки, блиндажи в пять пакотов.
На поляне, в сосновом лесу за Невой,
Обернувшись на запад, на запад, к закату,
Встала гвардия наша в полукруг боевой.

Знамя принял полковник. Снег на знамени — певой.
Бахрому тронул иней. Даль застыла, строга.
И, охваченный трепетом, командир на колено
Опустился в глубокие наши снега.

И «клянемся» — сказал он. И духом геройства
Вдруг пахнуло на рощи, поля и луга,
И тогда, как один, опустилось войско
На колена в глубокие наши снега.

Тишина. Все в снегу, больше черном, чем белом.
И тогда над холмом, за который деремься,
Над снегами, летящее ввысь, прогремело, —
Прогремело железное слово:
— Клянемся!

Николай БРАУН



О ПЕСНЕ

То грустная, то вольная, как ветер,
То грозная, зовущая на бой,
Подруга-песня! Нет нигде на свете
Другой такой подруги дорогой.

С тобой рождались, жили, умирали,
В тебе народ всю душу открывал.
Тебя в походах деда запевали
И сыновьям отец передавал...

Я уходил от берега родного,
И смерть, и подвиг видел я в бою,
И мне открылось песенное слово,
И отдал бою песню я свою.

И в дни блокады, по ночам, бывало,
Когда я, шапки не снимая, спал,
Когда к стене подушка примервала,
За словом слово песню я слагал.

Последней спичкой запалив лучину,
Я второпях записывал ее,
И снова в ночь, как в черную пучину,
Меня вело горение мое.

И слушал я, как в мерзлые кварталы,
Во тьму, в метель, над мертвой тишиной,
В сто рупоров незримый запевала
Заводит песню, сложенную мной.

В ней — шум волны, морской пехоты поступь,
И вымпела, идущие в поход,
И тот, вошедший в сказки, полуостров,
И легендарных соколов полет.

В ее словах душа народа бьется,
В ней мать поет о сыне на морях,
В ней все: и месть и удадь краснофлотца,
И молодость, окрепшая в боях.

Она дышала гневом и призывом,
Она катилась бурей по снегам...
Я выпрямлялся, гордый и счастливый,
И новые созвучия слагал.

И разве сердце громче не забьется,
Когда она, зовущая к боям,
Привольная, — над берегом поется,
Призывная, — идет по кораблям.

Но песни той, чтобы по всем баянам
Плыла, цвела, рвалась, текла рекой,
Из уст в уста летела безымянной,
Нет, я еще не написал такой.

Но и в любые штормы и невзгоды
Я сохраню горение мое,
Я вместе напишу ее с народом,
Победы песней назовут ее.

1942

Семен КИРСАНОВ



У ГРОБА КИРОВА

Я думал,
 в карауле стоя
лицом к нему,
 к лицу в последнем сне:
когда
 до звезд далеких
 высотой
скорбь вырастает, —
 вырастает с ней.
Когда глядишь
 на восковые веки,
навытяжку
 от сердца до подошв, —
все передумаешь
 и все решишь навек
и с клятвой,
 в сердце врезанной, уйдешь.
Я думал,
 в карауле стоя:
когда бы мог
 услышать крик патрон,
я пуле б крикнул!
 «Горло вот другое, —
в меня вгрызайся,
 а его не тронь!»
Но Киров здесь,
 он спит неразбудимо,
и чернотой
 траурной любви
сошел на люстры
 креп фабричных дымов,
их свет
 печальной копотью
 обвив...

Я думал,
в карауле
стоя:
как мы ответим
пламенным свинцом
за это славное,
уснувшее,
простое
прораба революции
лицо,
за этот рот,
умолкший навек,
бледный,
за смерть,
лишившую биения виски...
Толпа выплывает
траурною лентой
с венка огромного,
с венка Москвы...

Я думал,
в карауле стоя:
так
вся страна
сейчас стоит в снегах.
Знамена
к стенам
прислонились с горя,
и знамя
плачет
у него в ногах.

Мы в восьмером
на карауле встали
и рвемся мыслями
к большевикам стальным,
среди которых
горем скован
Сталин,
печалью,
равной
скорби всей страны.

Я думал,
в карауле
стоя:

Куда себя мне деть?
 Лететь!
 Перелететь
 мой плач навзрыд
 желаньем
 отстоять Мадрид!
 Желаньем,
 чтобы этот стих
 шагал за и с ю
 вслед и вслед,
 желаньем
 сына в 20 лет
 к присяге красной
 привести.
 Пускай всегда
 живет во мне
 наш путь,
 мой плач,
 твой взгляд во сне.
 Мы вместе вымечтали
 Мыс,
 куда моя
 взметнется мысль...
 ...А ты
 на берегу
 на том, —
 спасибо,
 милая,
 за жизни!
 Еще проплачу я
 не раз,
 не раз приникну
 к прядке ртом,
 не раз я вспомню
 жалость глаз
 и слабость
 твоих бедных рук.
 Не раз я вскрикну —
 Клава! —
 вдруг.
 Где б ни был я —
 у южных пальм,
 у скользких льдов,
 у горных груд, —

и сползут в пучину
берега,
но навеки
памятником мужества
здесь воздвигся
облик моряка.
Может быть,
когда-нибудь растопится,
станет паром
моря изумруд,
по вовеки,
черноморцы,
севастопольцы,
ваши подвиги
в легендах не умрут.
Перед воем
десяти дивизий,
перед строем
немцев и румын
вышли вы
со Сталиным в девизе
под огонь
взрывающихся мин.
Танки шли, —
вы встали и застыли.
Залегли,
бессмертное творя.
Будто врылись
в землю Севастополя
рукавов матросских якоря.
Пулями пробитые,
но держат
ваши руки
верный пулемет.
И, как шлюпка
с надписью «Надежда»,
к вам любовь народная
плывет.
Верю я
далекому виденью:
взорванная
вырастет стена,

Василий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ



ПЕСНЯ О РОДИНЕ

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей,
Человек проходит как хозяин
Необъятной родины своей!
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почет.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Наши нивы глазом не обшаришь,
Не упомнишь наших городов,
Наше слово гордое «товарищ»
Нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома,
Нет для нас ни черных, ни цветных,
Это слово каждому знакомо,
С ним везде находим мы родных.

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

За столом никто у нас не лишний,
По заслугам каждый награжден.

Золотыми буквами мы пишем
Всенародный Сталинский закон.
Этих слов величие и славу
Никакие годы не сотрут:
Человек всегда имеет право
На ученье, отдых и на труд!

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

Над страной весенний ветер вест,
С каждым днем все радостнее жить,
И никто на свете не умеет
Лучше нас смеяться и любить.
Но сурово брови мы насупим,
Если враг захочет нас сломать.
Как невесту, родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать!

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!

1935

ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слышал.
Спой нам, ветер, про дикие горы,
Про глубокие тайны морей.
 Про птичьи разговоры,
 Про синие просторы,
Про смелых и больших людей!

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоет:
 Кто весел — тот смеется

Кто хочет — тот добьется,
Кто ищет — тот всегда найдет!

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слышал.

Спой нам, ветер, про чащи лесные,
Про звериный запутанный след,
 Про шорохи ночные,
 Про мускулы стальные,
Про радость боевых побед!

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоем:
 Кто весел — тот смеется,
 Кто хочет — тот добьется,
Кто ищет — тот всегда найдет!

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слышал.

Спой нам, ветер, про славу и смелость,
Про ученых, героев, бойцов,
 Чтоб сердце загорелось,
 Чтоб каждому хотелось
Догнать и перегнать отцов!

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоем:
 Кто весел — тот смеется,
 Кто хочет — тот добьется.
Кто ищет — тот всегда найдет!

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер,
Веселый ветер, веселый ветер!
Моря и горы ты обшарил все на свете
И все на свете песенки слышал.

Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали
Все весенние песни земли,
 Чтоб трубы заиграли,

Чтоб губы подпевали,
Чтоб ноги веселей пошли!

Кто привык за победу бороться
С нами вместе пускай запоет:
Кто весел — тот смеется,
Кто хочет — тот добьется,
Кто ищет — тот всегда найдет!

1935

МОСКВА МАЙСКАЯ

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся советская земля.
Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце родины моей!

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая, —
Страна моя,
Москва моя —
Ты самая любимая!

Разгорелся день веселый,
Морем улицы шумят,
Из открытых окон школы
Слышны крики октябрят.
Май течет рекой нарядной
По широкой мостовой,
Льется песней необъятной
Над красавицей Москвой.

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая, —
Страна моя,
Москва моя —
Ты самая любимая!

Солнце майское, светлее
С неба синего светит,
Чтоб до вышки мавзолея
Нашу радость донести.
Чтобы ярче заблистали
Наши лозунги побед,
Чтобы руку поднял Сталин,
Посылая нам привет!

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая,—
Страна моя,
Москва моя —
Ты самая любимая!

День уходит, и прохлада
Освежает и бодрит.
Отдохнувши от парада,
Город праздничный гудит.
Вот когда встречаться парам!
Говорлива и жива —
По садам и по бульварам
Растекается Москва.

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая,—
Страна моя,
Москва моя —
Ты самая любимая!

Стала ночь на день похожей,
Море света над толпой.
Эй, товарищ, эй, прохожий,
С нами вместе песню пой!
Погляди! Поет и пляшет
Вся советская страна...
Нет тебя светлей и краше,
Наша красная весна!

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая, —
Страна моя,
Москва моя —
Ты самая любимая!

Голубой рассвет глядится
В тишину Москва-реки,
И поют ночные птицы —
Паровозные гудки.
Бьют часы кремлевской башни,
Гаснут звезды, тает тень.
До свиданья, день вчерашний,
Здравствуй, новый, светлый день!

Кипучая,
Могучая,
Никем непобедимая,—
Страна моя,
Москва моя—
Ты самая любимая!

1937

ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА!

Шире круг!
Шире круг!
Здравствуй, наш веселый друг —
Хвойная одежка,
Смоляная ножка,
Мохнатая лапа,
Зеленая шляпа,
Свежая, морозная
Елочка колхозная!
Здравствуй!

Принеси привет нам, елка,
Ото всех зверей и птиц, —
И от мишки и от волка,
От совы и от лисиц,
От галчонка смелого,
От зайчонка белого!

Принеси в зеленых лапах
Нам игрушек и забав,
Принеси душистый запах
Наших радостных дубрав,
Не скупись на сладости,
Дай побольше радости!

Мы твои украсим иглы,
Разоденем мы тебя,
Наши песни, наши игры —
Все покажем мы, любя.
И, орехи щелкая,
Сядем мы под елкою!

Шире круг!
Шире круг!
Здравствуй, наш веселый друг —
Хвойная одежка,
Смоляная ножка,
Мохнатая лапа,
Зеленая шляпа,
Свежая, морозная
Елочка колхозная!
Здравствуй!

1938

Ю Н Ы Й П А Т Р И О Т

Руки смуглые в царапинах,
Непокорный взбит вихор,
На плечах — тужурка папина,
Строг и важен разговор...
— Да... фугаска — штука страшная!..
Зажигалки — ерунда!
Я их в ночь позавчерашнюю
Все засыпал без труда.
«Он» штук пять у нас их выкинул —
Над подъездом и вот тут.
Мы их с Колькою Чужикиным
Загасили в пять минут!
Важно тут одно мгновение —
Разгореться ей не дать,
Подцепить за оперение
И песочком закидать.
Укротить нетрудно пыл ее,
Зажигалка — ерунда,
Я гашу ее, как милую...
Вот фугаска — это да!
Как завоеет эта гадина,

Завтра твой денечек.
Выше голову держи,
Вася-Василечек...

Не к лицу бойцу кручина,
Места горю не давай.
Если даже есть причина —
Никогда не унывай!

1941



ПЕСНЯ О СТАЛИНЕ

Шумят плодородные степи,
текут многоводные реки,
Весенние зори сверкают
над нашим счастливым жильем...
Споем же, товарищи, песню
о самом большом человеке,
О самом родном и любимом, —
о Сталине песню споем.

За нашу счастливую долю
он шел через все непогоды,
Пронес он заветное знамя
над всей необъятной землей.
Вставали поля и заводы,
и шли племена и народы
На зов своего полководца,
на смертный решительный бой.

В глазах его ясных и чистых,
как светлую воду в колодце,
Черпали мы бодрость и силу
на нашем пути боевом...
Споем же, товарищи, песню
о самом большом полководце,
О самом бесстрашном и сильном, —
о Сталине песню споем.

Согрел он дыханием сердца
полярные ночи седые,
Раздвинул он горы крутые,
пути проложил в облаках.
По слову его молодому,
сады зашумели густые,

Забила вода ключевая
в сыпучих, горячих песках.

Как солнце весенней порою,
он землю родную обходит,
Растит он отвагу и радость
в саду заповедном своем...
Споем же, товарищи, песню
о самом большом садовоме,
О самом любимом и мудром, —
о Сталине песню споем.

Границы от вражьих нашествий
заделал он в броню литуую,
Закрыл их стальными ключами
великих и славных побед.
В могучем Союзе Советов
он книгу нашел золотую,
Которую люди искали,
наверное, тысячу лет.

И силу, и юность, и славу
он дал нам на вечные веки.
Весенние ясные зори
зажег он над нашим жильем...
Споем же, товарищи, песню
о самом родном человеке,
О солнце, о правде народов, —
о Сталине песню споем.

1936

П Р О В О Ж А Н Ь Е

Дайте в руки мне гармонь —
Золотые планки.
Парень девушку домой
Провожал с гулянки.

Шли они — в руке рука —
Весело и дружно,
Только стезька коротка, —
Расставаться нужно.

Хата встала впереди —
Темное окошко...
Ой ты, стезька, погоди,
Протянись немножко!

Ты потише провожай,
Парень сероглазый,
Потому что очень жаль
Расставаться сразу...

Дайте ж в руки мне гармонь,
Чтоб сыграть страданье.
Парень девушку домой
Провожал с гулянья.

Шли они — рука в руке, —
Шли они до дому.
А пришли они к реке,
К берегу крутому.

Позабыл знакомый путь
Ухажер-забава:
Надо б влево повернуть, —
Повернул направо!

Льется речка в дальний край, —
Погляди, послушай...
Что же, Коля-Николай,
Сделал ты с Катюшей?

Возвращаться позже всех —
Кате неприятно.
Только ноги, как на грех,
Не идут обратно.

Не хотят они домой —
Ноги молодые...
Ой, гармонь моя, гармонь —
Планки золотые!

1936

ПРОЩАНИЕ

(Прощальная комсомольская)

Дан приказ: ему — на запад,
Ей — в другую сторону...
Уходили комсомольцы
На гражданскую войну.

Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
— Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай.

И родная отвечала:
— Я желаю всей душой, —
Если смерти, то — мгновенной,
Если раны — небольшой.

А всего сильнее желаю
Я тебе, товарищ мой,
Чтоб со скорою победой
Возвратился ты домой.

Он пожал подруге руку,
Глянул в девичье лицо:
— А еще тебя прошу я —
Напиши мне письмо.

— Но куда же напишу я?
Как я твой узнаю путь?
— Все равно, — сказал он тихо, —
Напиши... Куда-нибудь!

1937

И КТО ЕГО ЗНАЕТ

На закате ходит парень
Возле дома моего.
Поморгает мне глазами
И не скажет ничего.
И кто его знает —
Чего он моргает.

Как приду я на гулянье, —
Он танцует и поет.
А простимся у калитки, —
Отвернется и вздохнет.
И кто его знает —
Чего он вздыхает.

Я спросила: — Что не весел?
Иль не радует житье?
— Потерял я, — отвечает, —
Сердце бедное свое.
И кто его знает —
Зачем он теряет.

А вчера прислал по почте
Два загадочных письма:
В каждой строчке — только точки, —
Догадайся, мол, сама.
И кто его знает —
На что намекает.

Я разгадывать не стала —
Не надейся и не жди.
Только сердце почему-то
Сладко таяло в груди.
И кто его знает —
Чего оно тает.

1938

ШЕЛ СО СЛУЖБЫ ПОГРАНИЧНИК

Шел со службы пограничник,
Пограничник молодой.
Подошел ко мне и просит
Угостить его водой.

Я воды достала свежей,
Подала ему тотчас,
Только вижу — пьет он мало,
А с меня не сводит глаз.

Начинает разговоры —
Дескать, как живете здесь?
А вода не убывает, —
Сколько было, столько есть.

Не шути напрасно, парень, —
Дома ждут меня дела...
Я сказала: — До свиданья!
Повернулась и пошла.

Парень стал передо мною,
Тихо тронул козырек:
— Если можно, не спешите, —
Я напьюсь еще разок.

И ведро с водой студеной
Ловко снял с руки моей.
— Что же, пейте, — говорю я, —
Только пейте поскорей.

Он напился, распрямился,
Собирается идти:
— Если можно, пожелайте
Мне счастливого пути.

Поклонился на прощанье,
Взялся за сердце рукой...
Вижу — парень он хороший
И осанистый такой.

И чего — сама не знаю —
Я вздохнула горячо
И сказала почему-то:
— Может, выпьете еще?

Улыбнулся пограничник,
Похвалил мои слова...
Так и пил он у колодца,
Может, — час, а может, — два.

1939

ОТЦОВСКИЙ ДОМ РАЗГРАБЛЕН И РАЗРУШЕН

Отцовский дом разграблен и разрушен,
В огне, в дыму Смоленщина моя.
Кругом война. И, в руки взяв оружие,
Спешат на фронт и братья, и друзья.

И горько мне, что я больной и хворый,
Что без меня идут они на бой,
На бой за родину, судьба которой
Навеки стала нашею судьбой.

Глаза мои померкли раньше срока,
Слабей, слабей заря моя горит.
И тяжелее тяжкого упрека
Нерадостное слово — инвалид.

О, если б не было его в помине!
Хоть сотни верст прошел бы я пешком,
Чтоб где-нибудь у города Медыни
Поговорить по-своему с врагом;

Чтоб за свою Смоленщину родную
Его огнем смертельным опалить,
Чтоб в русскую могилу ледяную
Загнать и сверху камень навалить!

Но мне в бою не встретиться с врагами,
В огне войны не мчаться напролом,
Сиди, терпи, как в поле на кургане
Степной орел с простреленным крылом.

А дни бегут. А сила не вернется,
А старость бредит по моим следам...
Пусть будет так. Но все же сердце бьется,
И это сердце — без остатка — там.

Оно слыхало первые удары
Стального грома вражьих батарей,
Оно вдыхало черный дым пожаров,
Оно видало слезы матерей.

Оно в себя впитало боль и стоны
Людей, сожженных на костре живьем.

И слово мести — жгучей, непреклонной —
В глухую полночь зародилось в нем.

И я, как знамя, поднял это слово,
Живое слово сердца моего.
И я зову, чтоб в дни борьбы суровой
Никто из нас не забывал его;

Чтоб вместе с ним в январские метели
Шли партизаны тайною тропой;
Чтоб вместе с ним громили вражьи цели
Артиллеристы, начиная бой;

Чтоб от него кругом земля пылала,
Чтобы врагу ни охнуть, ни вздохнуть;
Чтоб силой и отвагой небывалой
Оно бойцам переполняло грудь.

И может быть, боец на поле бранном,
Услышав слово правое мое,
Смелей направит штык четырехгранный,
Верней нацелит меткое ружье.

И может быть, подкараулив ката,
Не пожалеет партизан огня
И сверх всего пошлет еще гранату,
И та граната будет за меня.

1941

НЕ У НАС ЛИ, ПОДРУЖЕНЬКИ...

(Песня о фашистской неволе)

Не у нас ли, подруженьки,
Под весенними зорями,
Пели вечером девушки
О цветке о лазоревом?

Пели вечером девушки
О цветке о лазоревом,
Соловьи с гармонистами
До полуночи спорили.

Не по этой ли улице
С нами шла, горделивая,
Наша вольная волюшка,
Наша доля счастливая?

Наша доля счастливая
С нами шла, красовалась —
Не на нас ли, подруженьки,
Вся земля любовалась?..

Словно коршуны злобные,
Налетели насильники,
Придпепровские пажити
Превратили в могильники.

Растоптали без жалости
Наш цветочек лазоревый, —
Гармонистов повесили,
А девчат опозорили.

Дни и ночи без отдыха
Всех работать заставили,
За колючую изгородь
На мученье отправили.

Насмерть бьют нас прикладами,
Рвут руками нетрезвыми,
Поливают нам головы
Все дождями железными.

Где ж найти нам спасение
От злодея жестокого?..
Долети, наша жалоба,
До Кремля до высокого;

Дайся в руки надежные,
В руки верные Сталина,
Расскажи ему, горькая,
Как земля опечалена;

Как мы утром и вечером
Смотрим в даль заднепровскую —
Всё на ту, на широкую,
На дорогу московскую:

Может, знамя победное
Вдалеке заколышется,
Может, Красная Армия
Нам на выручку движется.

Ждут ее, долгожданную,
И мужчины, и женщины,
Ждут леса белорусские,
Ждут пригорки Смоленщины.

Всё навстречу ей кинется,
Всё навстречу ей тронется,
В ноги сталинской армии
Каждый кустик поклонится.

Рухнет тяжесть безмерная,
Что на плечи нам взвалена...
Вся надежда, подруженьки,
Вся надежда на Сталина.

1942

Виктор ГУСЕВ



СЛАВА

Как мы певали, Маша!
Только припомни, Маша!
Полночь на горизонте —
клуб опустел, утих.
Но в самой далекой комнате
мечется песня наша.
В двенадцать певцов капелла, —
каждый спост за двоих.
В нотных значках скрываются
горе, любовь и счастье.
Мы извлекали их к жизни
из типографской тьмы.
Мы исполняли гимны
в начале торжественной части.
В конце торжественной части
их повторяли мы.
Мы выступали в концертах
в сопровождении трубном,
И мне мерещилось — сцена
изображает юг.
Где-то заплакали скрипки,
где-то ударили бубны,
Где-то воскликнули «браво!»
Опера! Я пою.
И вдруг из завкома является
наш культработник Ваня.
«Кончай, — говорит, — работу
завтра в четыре часа.
Гони, — говорит, — капеллу
на смотр молодых дарований,
Может быть, в вас скрываются
действительно голоса».
И вот мы глядим, робея,

на классиков хмурые лица.
 И вот мы стоим за сценой.
 В зале потушен свет.
 В грохоте, в грохоте славы
 входит яюри и садится, —
 Пять человек, которым
 в сумме четыреста лет.
 Время движется медленно
 шагом своим черепашным.
 Публика изображает
 море, прибой, волну.
 Профессор кивает ручкой,
 на сцену выходит Маша.
 Аккорд! — и песня бросается
 вниз головой,
 в тишину.
 Зал изменяется сразу.
 Маша им овладела.
 Маша бросает в ярусы
 горе, любовь, грозу.
 Сидящий в ложе завода
 родитель ее престарелый,
 Несмотря на военное прошлое,
 рукой утирает слезу.
 Все это происходит —
 мне кажется — в долю момента.
 Вот опустилась кнпзу
 Машина голова.
 И голуби, голуби, голуби,
 голуби аплодисментов
 Вылетели у зрителей
 из каждого рукава!
 К Маше подходит профессор —
 седая мохнатая птица.
 В голосе его тихом
 вдруг просыпается медь.
 Он начинает строго:
 «Маша, вам надо учиться!»
 А получается ласково:
 «Как вы будете петь!»
 А я? Яюри меня выслушало —
 признаюсь — без интереса.
 Кончил я. Лавров не видно.
 Оваций не слышно. Беда.

Вижу, очки протирая,
подходит ко мне профессор.
«Жить, — говорит, — будете.
Петь, — говорит, — никогда!»
Маша, дуэта не вышло.
Петь мы с тобой не будем.
Что ж, говорю, зажгите,
пожалуйста, в зале свет.
Что ж, говорю я профессору,
мы не такие люди.
И от отсутствия голоса
мы не умолкнем, нет.
Слава моя, профессор,
как видно, иного рода.
Она не поет, моя слава, —
неволишь ее не хочу.
Слава моя скрывается
в цехах моего завода,
И я ее вместе с орденом
все-таки получу.
Да здравствует творчество токаря!
Песни моторов, взмытых
В небо. Да здравствует музыка
чугунного литья!
Я знаю, что наша родина
будет страной знаменитых.
Для каждого есть слава,
трудись — и она твоя.
Каждую профессию
мы превращаем в искусство.
Страна мастеров заявляет:
у нас второсортных нет,
Мне не бывать Леоэнгрином.
Это, конечно, грустно.
Все-таки «Сердце красавицы»,
опера и балет.
И ты, ты уходишь, Маша.
Споем на мотив «Разлуки».
Редко с тобою встречаться
будем по вечерам.
Тебя берет государство
в суровые, нежные руки,
Вручает тебя старейшим,
строжайшим профессорам.

Но ты, — ты останешься прежней.
В театрах Владивостока
Иль на заводах Воронежа
мы встретимся. Тишина.
Тогда к знаменитой певице
подойдет знаменитый токарь,
И нам, улыбаясь, будет
аплодировать вся страна.
Нет, я не хвастаю, Маша.
Но пометчать я в праве.
Я знаю свою силу.
Я знаю свою страну.
Так спой на прощанье песню
о доблести и о славе.
И я, невзирая на голос,
все-таки подтяну!

1934

ВЕДУТ НАРОДЫ БОЙ

Сейчас, в дыму войны, когда гремит оружие
И мчатся в бой стальные корабли,
С какою гордостью мы говорим о дружбе
Народов нашей сталинской земли.

Мы школы строили, мы города растили,
Но враг напал на сад моей страны.
В дни мирного труда всегда мы вместе были,
Еще сильнее дружба в дни войны.

Я вижу светлый день Таджикистана,
Седой Памир раскинулся кругом.
Работают таджики неустанно,
Их цель одна: победа над врагом.
Я вижу белорусские равнины,
В песках Туркмении идущий караван,
И Грузии сады, и села Украины,
Армению и древний Ереван.

Узбеки, русские, татары и чувашы —
Одна семья, один великий дом,
Все города и все народы наши
Куют сейчас победу над врагом.

На фронт карел с аджарцем уезжают.
Не страшен им фашистской пули свист.
И летчику-грузину помогает
Своим огнем казах-артиллерист.

И русские встают от края и до края,
Чтоб вместе с братьями в бою громить врага,
И Волга провожает их родная,
И машет вслед ветвями им тайга.
Над нашим счастьем хищный ворон кружит,
Но в грозном, негибавшем строю
Ведут народы бой за жизнь, за честь, за дружбу,
За родину священную свою.

1941

МАТЬ И СЫН

В далекий дом в то утро весть пришла.
Сказала так: «Потеря тяжела,
Над снежною рекой, в огне, в бою
Ваш муж отчизне отдал жизнь свою».
Жена замолкла. Слов не подобрать.
Как сыну, мальчику, об этом рассказать?
Ему учиться будет тяжело.
Нет, не скажу. А за окном мело.
А за окном седой буран орал.
А за окном заводы, снег, Урал.

И в школу тоже весть в тот день пришла,
Сказали: «Школьники, потеря тяжела.
Отец Володи вашего в бою
Отчизне отдал жизнь прекрасную свою».

И сын об этом от товарищей узнал.
Сидел среди друзей, весь вечер промолчал.
Потом пошел домой и думал он: «Как быть?»
И матери решил не говорить.
Ведь нынче в ночь ей на завод идти.
Об этом скажешь, — не найдет пути.
С тех пор о нем и вечером и днем
Они друг другу говорят, как о живом.
И вспоминают все его слова.

И как он песни пел, как сына целовал,
И как любил скорей прийти домой,
И он для их любви действительно живой.
Вот только ночью мать слезу смахнет,
В подушку сын украдкой всплакнет,
А утром надо жить, учиться, побеждать.
Как силу их сердец мне передать!

1942

Александр ТВАРДОВСКИЙ



СТРАНА МУРАВНИ

(Из поэмы)

Далеко стихнуло село,
И кнут остыл в руке.
И синевой заволокло,
Замглилось вдалеке.

И раскидало конский хвост
Внезапным ветерком.
И глухо, как огромный мост,
Простукал где-то гром.

И дождь поспешный, молодой
Закапал невпопад.
Запахло летнею водой,
Землей, как год назад...

И по-ребячьи Моргунок
Вдруг протянул ладонь.
И, голову склонивши вбок,
Был строг и грустен конь.

То конь был — нет таких коней! —
Не конь, а человек.
Бывало, свадьбу за пять дней
Почует, роет снег.

Земля, семья, изба и печь,
И каждый гвоздь в стене,
Портянка с ног, рубаха с плеч —
Держались на коне.

Как руку правую, коня,
Как глаз во лбу, берег

От вора, мора и огня
Никита Моргунок.

И в ночь, как съехать со двора,
С конем был разговор:
Что все равно не ждать добра,
Что без коня — не двор,
Что вместе жили столько лет,
Что восемь бед — один ответ...

А конь дорогою одной
Везет себе вперед.
Над потемневшею спиной
Белесый пар идет.

Дождь перестал. Следы копыт
Наполнены водой.
Кривая радуга висит
Над самою дугой...

День на исходе. Моргунку
Заехать нужно к свояку.
Остановиться на почлег,
Проститься, — как-никак,
Душевной жизни человек
Был моргунков свояк.

Дружили смолоду, с тех пор,
Как взяли замуж двух сестер.
Дружили двадцать лет они,
До первых до седин,
И песни нравились одни,
И разговор один.

Хозяин грустный гостю рад,
Встречает у еорот:
— Спасибо, брат. Уважил, брат, —
И на крыльцо ведет.

— Перед тобой душой открыт,
Друг первый и свояк:
Весна идет, земля горит,
Решаться или как?..

А Моргунок ему в ответ:
— Друг первый и свояк!
Не весь в окошке белый свет,
Я полагаю так...

Но тот Никите говорит:
— А как же быть, свояк?
Весна идет, земля горит,
Бросать нельзя никак.

Сидят, как прежде, за столом
И смолкли. Каждый — о своем.

Забились дети по углам,
Хозяйка подает
С пчелиным «хлебом» пополам
В помятых сотах мед.

По чарке выпили. Сидят,
Как год, и два, и три назад.
Сидят невесело вдвоем,
Не поднимают глаз.
— Ну, что ж, споем?
— Давай, споем.
В последний, может, раз...

Дружили двадцать лет они,
До первых до седин.
И песни правились одни
И разговор один...

Посоловелые слегка,
На стол облокотясь,
Сидят, поют два мужика
В последний, значит, раз...

О чем поют? Рука к щеке.
Забылись глубоко.
О Волге ль матушке-реке,
Что где-то далеко?..

О чем поют, ведя рукой
И не скрывая слез,

О той ли девице, какой
Любить не довелось?..

А может, просто за столом
У свояка в избе
Поет Никита о своем
И плачет о себе.

У батьки, у матки
Родился Никита.
В церковной сторожке
Крестился Никита.

Семнадцать лет
Оженился Никита.
На хутор пошел,
Отделился Никита.

— В колхоз не желаю, —
Бодрился Никита.
До синего дыму
Напился Никита.

Семейство покинуть
Решился Никита...
Куда ж ты поехал,
Никита, Никита?

От деда слышал Моргунок —
Назначен срок всему:
Здоровью — срок, удаче — срок,
Богатству и уму.
Бывало, скажет в рифму дед,
Руками разведи:

— Как в двадцать лет
Силенки нет, —
Не будет и не жди.

— Как в тридцать лет
Рассудка нет, —
Не будет, так ходи.

— Как в сорок лет
Зажитка нет, —
Так дальше не гляди...

Сам Моргунок, как все, сперва
Не верил в дедовы слова.

Хватился — где там двадцать лет! —
А богатырской силы нет.
И, может быть, была б она,
Когда б харчи, да не война.

Глядит, приходят тридцать лет.
Ума большого тоже нет.
А был бы ум, так по уму —
Богатство было бы ему.

Глядит, и скоро — сорок лет,
Богатства нет, зажитка нет:
Чтоб хлебу за год вволю быть,
За сало салу заходить.

Чтоб быть с Бугровым запросто,
Всего того опричь:
«Здоров, Никита Федорыч!»
«Здоров, Илья Кузьмич!..»

А угостить — так дым трубой!
Что хочешь ешь и пей!
Чтоб рядом он сидел с тобой
На лавке на твоей.

Чтоб толковать о том, о сем,
Зажмурясь, песни петь,
Под ручку чтоб, да с ним вдвоем
Пойти хлеба смотреть...

И предсказанью скоро срок,
А жил негромко Моргунок.

Был Моргунок не так умен,
Не так хитер и смел.
Но полагал, что крепко он
Знал то, чего хотел...

Ведет дорога длинная
Туда, где быть должна
Муравия, старинная
Муравская страна.

И в стороне далекой той —
Знал точно Моргунок —
Стоит на горочке крутой,
Как кустик, хуторок.

Земля в длину и в ширину
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай,
Поехал — поезжай.

И все твое перед тобой,
Ходи себе, поплеывай.
Колодез твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.

Весь год — и летом и зимой —
Ныряют утки в озере.
И никакой, ни боже мой, —
Коммунии, колхозии!..

И всем крестьянским правилам
Муравия верна.
Муравия, Муравия!
Хорошая страна!..

И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон
И сверху — облака.

По склонам шубою взялись
Густые зеленыя.
И у березы полный лист
Раскрылся за два дня.

И розоватой пеной сок
Течет со свежих иней.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем поле зеленей.

И день по-летнему горяч,
Конь звякает уздой.
Вдали взлетает грузный грат
Над первой бороздой.

Пласты ложатся поперек
Затравеневших меж.
Земля крошится, как пирог, —
Хоть подбирай и ешь.

И над полями голубой,
Весенний пар встает.
И трактор водит за собой
Толпу, как хоровод.

Белеют на поле мешки
С подвезенным зерном.
И старики-посевщики
Становятся рядком.

Молитву, речь ли говорят
У поднятой земли.
И вот, откинувшись назад,
Пошли, пошли, пошли...

За плугом плуг проходит вслед.
Вдоль — из конца в конец.
— Тпру, конь!.. Колхозники ай нет?...
— Колхозники, отец...

Чуть веет вешний ветерок,
Листвою шевеля.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем радостней земля.

Земля!..
От влаги снеговой
Она еще свежа.

Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.

Земля!..

Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.
Над нею жаворонок дрожит
И про нее поет.

Земля!..

Все краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет, — на ней
До самой смерти жить.

Земля!..

На запад, на восток,
На север и на юг...
Припал бы, обнял Моргунок,
Да нехватает рук.

В пути проходит новый день.
Конь перепал и взмок.
Уже ни сел, ни деревень
Не знает Моргунок...

Как с юга к северу трава
В кипучий срок весны,
От моря к морю шла молва
По всем краям страны.

Молва растет, что ночь, что день.
Катится в даль и глушь,
И ждут сто тысяч деревень,
Сто миллионов душ...

Нет, никогда, как в этот год,
В тревоге и борьбе,
Не ждал, не думал так народ
О жизни, о себе...
Росла, невнятная сперва,
Неслась, как радио, молва.

Как отголосок по лесам,
Бежала по стране,
Что едет Сталин, едет сам
На вороном копе.

Вдоль синих вод, холмов, полей,
Проселком, большаком,
В шинели, с трубочкой своей,
Он едет пряником.

В одном краю,
В другом краю
Глядит, с людьми беседует
И пишет в книжечку свою
Подробно все, что следует.

И будто он недалеке
Коня того поил в реке.

А то еще у старика
Спросил он ночью огонька.

А этот сторож-старичок
Увидел — кто, а сам — молчок.

За гатью — мост, за взгорьем — склоп.
Дымок по ветерку...

И, может, прямо едет он
Навстречу Моргунку...

И все, что на душе берег,
С чем в этот год заснуть не мог,
С чем утром встал и на ночь лег,
С чем ел невпрок —
И пил невпрок, —
Все вновь обдумал Моргунок...

... Товарищ Сталин!
Дай ответ,
Чтоб люди зря не спорили:
Конец предвидится, а? нет,
Всей этой суестории?..

И жизнь — на слом,
И все на слом —
Под корень, подчистую.
А что к хорошему идем,
Так я не протестую.

Ты слушай, выслушай меня,
Коснемся, например, коня.

И склад хорош, и статья легка,
В монету весь одет.
Под Ворошиловым конька
Такого, может, нет.

На конной в Ельне куплен был,
С дороги перепал,
Стоит — и шею опустил, —
Ну, думаю, попал!..

Блестит в корытечке вода, .
Свищу, свищу — не пьет,
Не ест. И вижу я тогда,
Что дело не поет.

А как я вышел поутру,
С постели — босиком,
Иду, а он впоотьмах: хруп-хруп...
Стой, думаю, живем!..

Теперь мне тридцать восемь лет,
Два года впереди.
А в сорок лет — заплата нет,
Так дальше не гляди.

И при хозяйстве, как сейчас,
Да при коне —
Своим двором пожить хоть раз
Хотелось мне.

Земля в длину и в ширину
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.

Пожить бы так чуть-чуть...
А там —
В колхоз приду,
Подписку дам!

И с тем согласен я сполна,
Что будет жизнь отличная.
Но у меня к тебе одна
Имелась просьба личная.

Вот я, Никита Моргунок,
Прошу, товарищ Сталин,
Чтоб и меня, и хуторок
Покамест что... оставить.

И объявить: мол, так и так, —
Чтоб зря не обижали, —
Оставлен, мол, такой чудак
Один во всей державе...

В пути, в неизвестном краю,
Забыв про все, Никита
Слагал, как песню, речь свою
Душевно и открыто...

Страна родная велика.
Весна! Великий год!
И надо всей страной — рука,
Зовущая вперед...

1936

ЛЕНИН И ПЕЧНИК

(По преданию)

В Горках знал его любой,
Старики на сходку звали,
Дети — попросту — гурьбой,
Чуть завидят, обступали.

Был он болен. Выходил
На прогулку ежедневно.

С кем ни встретится, любил
Поздороваться душевно.

По походке всякий раз
Мог его узнать бы каждый,
Но один печник у нас
Обминурился однажды:

Видит издали печник,
Видит, кто-то незнакомый
По лугу по заливному
Без дороги — напрямик...

А печник и рад отчасти, —
По-хозяйски, руку в бок, —
Ведь при царской прежней власти
Позфорсить он разве мог?

Грядка луку в огороде,
Сажень улицы в селе,
Никаких иных угодий
Не имел он на земле...

— Эй, ты, кто там ходит лугом,
Кто посмел топтать покос?! —
Да с плеча на всю округу
И — поехал, и — понес.
Разошелся.

А прохожий
Улыбнулся, кепку снял.
— Хорошо ругаться можешь, —
Только это и сказал.

Постоял еще немного:
Дескать, что ж, прости, отец.
Мол, пойду другой дорогой...
Тут бы делу и конец.

Но печник — душа живая —
Знай меня, не лыком шит, —
Припугнуть еще желая,
— Как фамилия? — кричит.

Тот вздохнул, пожал плечами,
Лысый, ростом невелик.
— Ленин, — просто отвечает.
— Ленин? — Тут и сел старик...

День за днем проходит лето,
Осень с хлебом на порог,
И никак про этот случай
Позабыть печник не мог.

Крякал, охал, сокрушался:
Как так вышло, сорвалось.
Снова встретиться боялся,
Только встретиться пришлось.

Как-то утром по пороше
Прямо к хате печника
На коне, в возке хорошем —
Два военных седока.

Заметалась беспокойно
У окошка вся семья.
Входят гости.
— Вы такой-то?
Свесил руки:
— Вот он я...
— Собирайтесь!

Взял он шубу,
Не найдет, где рукава.
А жена поет:
— За грубость,
За свои идешь слова.

Сразу в слезы непременно,
К мужней шубе — головой.
— Попрошу, — сказал военный, —
Ваш инструмент взять с собой.

Скрылась хата за пригорком,
Мчатся санки пряником,
Погорот, усадьба Горки,
Сад, подворье, белый дом.

В доме пусто, нелюдимо,
Ни котенка не видать.

Тянет стужей, пахнет дымом,
Ну, овин, — ни дать, ни взять.

Только сел печник в гостиной,
Только — на пол свой мешок,
Вдруг шаги, и дом пустынный
Ожил весь — и на порог —

Сам, такой же, тот прохожий —
Ленин. Сразу и узнал:
— Хорошо ругаться можешь, —
Поздоровавшись, сказал.

И — об этом ни словечка,
Будто все, что было — прочь.
— Вот совсем не греет печка
И дымит. Нельзя ль помочь?

Крякнул мастер осторожно,
Краской густо залился.
— То есть — как же так нельзя?
То есть — вот как даже можно...

Тотчас шубу с плеч — рывком,
Достает инструмент:
— Ну, ка...
Печь голландскую кругом,
Точно доктор, всю обстукал.

В чем причина, в чем беда —
Сразу вызнал — и за дело.
Закипела тут вода,
Глина свежая поспела.

Все нашлось — песок, кирпич,
И спорится труд как надо.
Тут — печник, а там — Ильич —
За стеною пишет рядом.

И привычная легка
Печнику работа.
Отличиться велика
У него охота.

Только будь, Ильич, здоров,
Сладим — любо-мило.
Чтоб — каких ни сунуть дров —
Грела, не дымила.

Чтоб в тепле писать тебе
Все твои бумаги,
Чтобы ветер пел в трубе
От веселой тяги.

Тяга слабая сейчас,
Дело поправимо.
Дело это — плюнуть раз,
Друг ты наш любимый...

Так он думает, кладет
Кирпичи по струнке ровно.
Мастерит легко, любовно,
Словно песенку поет.

Нет, вовек на этом свете
От любимого труда
Весел так, душою светел
Не был мастер никогда.

Печь исправлена. Под вечер
В ней защелкали дрова.
Тут и вышел Ленин к печи
И сказал свои слова.

Он сказал, — тех слов дороже
Не слышал еще печник:
— Хорошо работать можешь,
Очень хорошо, старик.

И у мастера от пыли
Зачесались вдруг глаза.
Ну, а руки в глине были,
Значит, вытереть нельзя.

Получилось — не иначе,
Получилось так точь-в-точь,
Что стоит старик и плачет.
А — старик! Невеста дочь.

Разве дело? Но едва ли
Ленин видел — вышел он.
А потом за стол позвали
Печника, — ну сон и сон!

За столом сидели вместе,
Пили чай, велася речь
По порядку, честь по чести,
Про дела, про ту же печь.

Успокоившись немного,
Разогревшись за столом,
Приступил старик с тревогой
К разговору об ином...

Мол, за добрым угощением
Умолчать я не могу,
Мол, прошу, Ильич, прощенья
За ошибку на луку.

Сознаю свою ошибку...
Только Ленин перебил.
— Вон ты что, — сказал с улыбкой, —
Я про то давно забыл...

По морозцу мастер вышел,
Оглянулся не спеша —
Дым столбом стоит над крышей, —
То-то тяга хороша!

Счастлив, доверху доволен,
Как идет, не чует сам,
Старым садом, белым полем
На деревню зачесал...

И до самого крылечка
Все в глазах, — пока бежал:
Как пылает в Горках печка,
Как мигает крупный жар...

Не спала жена, встречает:
— Где ты, как? Душа горит...
— Да у Ленина за чаем
Засиделся, — говорит.

1940

ВАСИЛИЙ ТЕРКИН

(Из поэмы)

На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода
Лучше нет простой, природной, —
Из колодца, из пруда,
Из трубы водопроводной,
Из копытного следа,
Из реки какой угодно,
Из ручья, из-под льда, —
Лучше нет воды холодной —
Лишь вода была б вода.

На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом
На стоянке полевой, —
Лучше нет простой, здоровой,
Прочной пищи фронтовой.
Важно только, чтобы повар,
Был бы повар — парень свой.

Чтобы числился недаром,
Чтоб подчас не спал ночей —
Лишь была б она к разгару,
Да была б она с наваром,
Да была бы с пылу, с жару —

Подобрей, погорячей.
Чтоб идти в любую драку,
Силу чувствуя в плечах,
Бодрость чувствуя. Однако
Дело тут не только в щах...

Жить без пищи можно сутки,
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.

Не прожить, как без махорки,
От бомбежки до другой,

Без хорошей поговорки
Или присказки какой,
Без тебя, Василий Теркин,
Вася Теркин — мой герой.

А всего иного пуще
Не прожить наверняка —
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу быкщей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька...

Что ж еще? И все, пожалуй.
Словом, книга про бойца,
Без начала, без конца.
Почему так — без начала?
Потому что сроку мало
Начинать ее сначала.
Почему же без конца?
Просто жалко молодца.

С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.

Я забыть того не в праве,
Чем твоей обязан славе,
Чем и где помог ты мне,
Делу — время, час — забаве,
Дорог Теркин на войне.

Как же вдруг его покину?
Старой дружбы верен счет.

Словом, книгу с середины
И начнем. А там пойдет!

П Е Р Е П Р А В А

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый.
Снег шершавый. Кромка льда...

Кому память, кому слава.
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа.

Ночью первым из колонны,
Обломав у края лед,
Погрузился на понтоны
Первый взвод.

Погрузился, оттолкнулся
И пошел. Второй за ним.
Приготовился, пригнулся
Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,
Громыкнул один, другой
Басовым, железным тоном,
Точно крыша под ногой...

И плывут бойцы куда-то,
Притаив штыки в тени.
И совсем свои ребята —
Сразу будто не они.

Сразу будто непохожи,
На своих, на тех ребят,
Как-то все дружнее и строже,
Как-то все тебе дороже
И родней, чем час назад...

Поглядеть и — впрямь! — ребята.
Как, по правде, желторот,
Холостой ли он, женатый,
Этот стриженный народ.

Но уже идут ребята,
На войне живут бойцы,
Как когда-нибудь в двадцатом
Их товарищи-отцы.

Тем путем идут суровым,
Что и двести лет назад
Проходил с ружьем кремневым
Русский труженик — солдат...

Мимо их висков вихрастых,
Возле их мальчишских глаз
Смерть в бою свистела часто
И минет ли в этот раз?..

Налегли, гребут, потя,
Управляются с шестом.
А вода ревет правее —
Под подорванным мостом.

Вот уже на середине,
Их относит и кружит...
А вода ревет в теснине,
Жухлый лед в куски крошит.

Меж погнутых балок фермы
Бьется в пене и в пыли...
А уж первый взвод, наверно,
Достает шестом земли.

Позади шумит протока,
И кругом чужая ночь.
И уже он так далеко,
Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый,
За холодную чертой,
Неподступный, непочатый
Лес над черною водой.

Переправа, переправа!
Берег правый, как стена.
Этой ночи след кровавый
В море вынесла волна...

Было так: из тьмы глубокой,
Огненный взметнув клинок,
Луч прожектора протоку
Пересек наискосок.

И столбом поставил воду
Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят...

И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди, теплые, живые,
Шли на дно, на дно, на дно...

Под огнем неразбериха —
Где свои, где кто, где связь.
Только вскоре стало тихо, —
Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно,
Кто там робкий, кто герой,
Кто там парень расчудесный, —
А наверно ж был такой.

Переправа, переправа!
Темень, холод, ночь, как год.
Но вцепился в берег правый,
Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята
В боевом родном кругу,
Словно чем-то виноваты,
Кто на этом берегу...

Не видать конца ночлегу,
За ночь грудой взялась
Пополам со льдом и снегом
Перемешанная грязь.

И, усталая с похода,
Чтоб там ни было — жива,
Дремлет, скорчившись, пехота,
Всунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,
И в лесу, в ночи глухой,
Сапогами пахнет, потом,
Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот
Вместе с теми, что на том
Под обрывом ждут рассвета,
Греют землю животом.

Ждут рассвета, ждут подмоги,
Духом падать не хотят.
Ночь проходит, нет дороги
Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полночи
Порошит снежок им в очи,
И уже давно
Он не тает в их глазницах
И пылью лежит на лицах —
Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат,
Смерть за смертью не страшна,
Хоть еще паек им пишет
Первой роты старшина.

Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрее идут, не тише
Письма старые домой,

Что еще ребята сами
На привале при огне
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,
Из Сибири, из Москвы
Спят бойцы. Свое сказали
И уже навек правы.

И тверда, как камень, груды,
Где застыли их следы...
Может, так, а может, чудо.
Хоть бы знак какой оттуда —
И беда б за полбеда.

Долги ночи, жестки зори
В декабре — к зиме седой.
Два бойца сидят в дозоре
Над холодной водой.

То ли снится, то ли мнится —
Показалось что нивесть.
То ли иней на ресницах,
То ли вправду что-то есть.

Видят, маленькая точка
Показалась вдалеке.
То ли чурка, то ли бочка
Проплывает по реке.

— Нет, не чурка и не бочка, —
Просто глазу маята.

— Не пловец ли одиночка?
— Шутишь, брат. Вода не та.

— Да, вода. Помыслить страшно.
Даже рыбам холодна.

— Не из наших ли вчерашних
Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.

И сказал один боец:

— Нет, он выплыл бы в шинели,
С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,
Как бы ни было — впервой.
Подошел сержант с биноклем,
Присмотрелся: — Нет, живой.

— Нет, живой. Без гимнастерки...

— А не фриц? Не к нам ли в тыл?

— Нет, а может, это Теркин, —
Кто-то робко пошутил.

— Стой, ребята, не соваться.
Толку нет спускать донтон.

— Разрешите попытаться...

— Что пытаться! Братцы, — он!

И у заберегов корку
Ледяную обломав,
Он, как он, Василий Теркин
Встал живой, добрался вылазь.

Гладкий, голый, как из бани,
Встал, шатаясь тяжело.
Ни зубами, ни губами
Не работает — свело!

Подхватили, обвязали,
Дали валенки с ноги.
Пригрозили, приказали.
Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной пабушке,
Парня тотчас на кровать
Положили для просушки,
Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали,
Вдруг он молвит, как во сне:
— Доктор, доктор, а нельзя ли
Изнутри погреться мне,
Чтоб не все на кожу тратить? —
Дали стопку — начал жить,
Приподнялся на кровати:
— Разрешите доложить...

Взвод на правом берегу
Жив-здоров на зло врагу.
Лейтенант всего лишь просит
Огоньку туда подбросить.
А уж следом за огнем,
Встанем, ноги разомнем.
Что там есть, перекалечим, —
Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно
Тотчас плыть ему назад...
— Молодец, — сказал полковник, --
Молодец! Спасибо, брат!

И с улыбкою неробкой
Говорит тогда боец:
— А еще нельзя ли стопку,
Потому как молодец?..

Посмотрел полковник строго,
Покопился на бойца.
— Молодец, а будет много —
Сразу две.
— Так два ж конца...

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет, святой и правый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле!

1942

Алексей СУРКОВ



КОНАРМЕЙСКАЯ

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
 Были сборы недолги,
 От Кубани и Волги
 Мы коней поднимали в поход.
Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях на большие дела.
 По курганам горбатым,
 По речным перекатам
 Наша громкая слава прошла.
На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки.
 Помнят псы-атаманы,
 Помнят польские паны
 Конармейские наши клинки.
Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулеметным дождем, —
 По дорогам знакомым
 За любимым наркомом
 Мы коней боевых поведем!
По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
 Были сборы недолги,
 От Кубани и Волги
 Мы коней поднимали в поход.

1933

Человек склонился над водой
 И увидел вдруг, что он седой,
 Человеку было двадцать лет.
 Над лесным ручьем он дал обет
 Беспощадно, яростно казнить
 Тех людей, что рвутся на восток.
 Кто его посмеет обвинить,
 Если будет он в бою жесток?

1941

* * *

В смертном ознобе под ветром трепещет осина.
 Окна распахнуты настежь. Темная хата пуста.
 Мать причитает над трупом убитого сына.
 Вдаль, без пути, без дороги тихо бредет сирота.
 Ворон-могильщик, от пепла горячего серый,
 Падает в черную ночь с обгорелых ворот...
 Пламенем, сталью и мстостью, не знающей меры,
 Будет платить по кровавому счету народ, —
 Ненависть в сердце, как порох сухой, пронесли мы.
 Скоро окрепнут морозы. В поле завоюет пурга.
 Воины-мстители встанут, яростны, неумолимы.
 Грозной, карающей силой выйдут по следу врага.
 Будет земля под ногами врага расступаться,
 Мстящее пламя пройдет от стрехи до стрехи.
 Горе вам, девушки Шлезвига, Шварцвальда, Граца!
 Не возвратятся с востока в свадебный день женихи.
 Смерть их настигнет в каждом лесу и долине,
 Каждое дерево встретит смертным ожогом ружья.
 Горе вам, жены в Мюнхене, Кельне, Берлине!
 Не возвратятся с востока к вашему крову мужья.
 Смерть их настигнет, в какую ни прятались щель бы,
 Ярость сожжет их, как жжет сорняки суховой.
 Горе вам, матери с Одера, Рейна и Эльбы!
 Вам не дождаться с востока, вам не встречать сыновей.
 Не возвратится ваш выводок волчий с востока.
 Орды пришельцев утонут в черной горячей крови.
 Именем жизни клянемся — мстить, истребляя жестоко.
 И ненавидеть клянемся — именем нашей любви.

1941

Шуршит по крышам снеговая крупка.
 На Спасской башне полночь бьют часы.
 Знакомая негаснущая трубка,
 Чуть тронутые проседью усы.

Он наш корабль к победам вел сквозь годы,
 Для нашей славы временем храним.
 И в эту ночь над картой все народы
 В седом Кремле склонились вместе с ним.

На карте фронт узорной вязью вьется.
 И он, нацелясь в черные кружки,
 Привычным, точным жестом полководца
 Отодвигает к западу флажки.

Он встал над фронтом, над Москвой, над нами,
 Он руку к западу простер свою.
 — Пусть осенит вас ленинское знамя,
 Сыны мои, в решительном бою!

1941

ПЕСНЯ СМЕЛЫХ

Стелются черные тучи,
 Молнии в небе снуют.
 В облаке пыли летучей
 Трубы тревогу поют.
 С бандой фашистов сразиться
 Сталин отважных зовет.
 Смелого — пуля боится,
 Смелого — штык не берет.

Ринулись ввысь самолеты,
 Двинулся танковый строй.
 С песней пехотные роты
 Вышли за родину в бой.
 Песня — крылатая птица —
 Смелых скликает в поход.
 Смелого — пуля боится,
 Смелого — штык не берет.

Славой бессмертной покроем
 В битвах свои имена,
 Только отважным героям

Радость победы дана.
Смелый к победе стремится.
Смелым — дорога вперед.
Смелого — пуля боится,
Смелого — штык не берет.

Смелый дерется с врагами,
Жизни своей не щадя.
Смелый проносит, как знамя,
Светлое имя вождя.
Смелыми Сталин гордится.
Смелого любит народ.
Смелого — пуля боится,
Смелого — штык не берет.

1941

* * *

В громе яростных битв пролетают над нами
Беспокойные, грозные, трудные дни.
Встань, поэт, перед строем, под красное знамя
И в глаза современникам прямо взгляни.

Ты сопутствовал каждому нашему шагу.
Все мы вместе встречали тревожный рассвет.
Как отчизне на верность приносят присягу,
Присягни нам на песню, окопный поэт.

Все движенья солдатской души карауля,
Кровью сердца пиши нам про наши дела,
Чтобы песня заклатьем от смерти и пули
На солдатское зерное сердце легла.

Чтобы после великого часа победы
Молодые наследники нашей земли
Песнь о том, как сражались и верили деды,
Красным знаменем славы в века унесли.

1942

Степан ЩИПАЧЕВ



БЕРЕЗКА

Ее к земле сгибает ливень
почти нагую, а она
рванется, глянет молчаливо —
и дождь уймется у окна.

И в непроглядный зимний вечер,
в победу веря наперед,
ее буран берет за плечи,
за руки белые берет.

Но тонкую ее ломая,
из силы выбьются... Она,
видать, — характером прямая, —
кому-то третьему верна.

1937

СВЕТ ЗВЕЗДЫ

Вечерний свет звезды
мерцает в вышине.
Задумались сады,
и стало грустно мне.

Он здесь, в моем окне —
звезды далекой свет,
но он бежал ко мне
сто сорок тысяч лет.

А вам езды-то час,
и долго ли собраться,
а нет, чтоб догадаться
приехать вот сейчас.

1938

СПОР

Овес, пшеница и ячмень
заспорили в июльский день.

Нахохлил перышки овес:
«Кто на войне из нас важней?
При солнце и при свете звезд
мне горячить в бою коней.
Бойцов спросите — скажут все,
что сила конская в овсе».

Твердит пшеница: «Кто не слеп,
тот знает — я права вдвойне:
бывает так, что в сумке хлеб
всего важнее на войне».

Качает головой ячмень:
«А чем же, кончив воевать,
победу будут запивать?
Не обойтись без ячменя!
Чтоб веселее был тот день,
наварят пива из меня».

1939

* * *

Здесь было горе-горькое бездонным,
нуждой исхожен невеселый шлях,
где каменные польские мадонны
с младенцами грудными на руках.

Они глядели в сельские просторы,
где за сохой крошился тощий пласт, —
единственные матери, которым
слезами горе не мутило глаз.

1939

* * *

Любовью дорожить умейте,
с годами — дорожить вдвойне.
Любовь — не вздохи на скамейке
и не прогулки при луне.

И слякоть будет, и пороша:
ведь вместе надо жизнь прожить.
Любовь с хорошей песней схожа,
а песню нелегко сложить.

1939

ПОТОМКАМ

Вас нет еще: вы — воздух, глина, свет,
о вас, далеких, лишь гадать могли мы.
Но перед вами нам держать ответ,
потомки, вы от нас неотделимы.
Был труден бой. Казались нам не раз
незащищенными столетий дали.
Когда враги гранатой били в нас,
то и до вас осколки долетали.

1940

ЛЕНИН

Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожженного квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.

Полковник-щеголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро.
И щелкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортера.

Полковник ночью хвастал, выпивал,
А на рассвете задрожал от страха:
Как прежде, памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Заторопились офицеры вдруг.
Неясные вдали мелькали тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага.
И вел их Ленин.

1941

ФРОНТОВОЕ ШОССЕ

Гудят машины, тягачи грохочут.
Земля похрустывает на зубах.
И у изрытых бомбами обочин
Бензином, пылью каждый куст пропах.
Идут цистерны, танки,
Конный, пеший —
Прошли полки, дивизии прошли.
Не шевельнется лист отяжелевший,
Ему, как в шубе, тяжело в пыли.
Еще трудны недели фронтовые.
Шоссе скрежещет, лязгает. Оно
Ведет не просто на передовые —
Оно к победе все устремлено.

1941

ПОЕДИНОК

Из камня высекут, и на века
Останется с гранатой рука.

Танк все сминает на своем пути,
Но встал боец — и танку не пройти.

Рванулось пламя красное под ним,
Танк зарычал, оделся в черный дым.

А в серой каске русский паренек
Стер пот со лба. Горячий был денек.

1942

Сергей ВАСИЛЬЕВ



ГОЛУБЬ МОЕГО ДЕТСТВА

Прямо с лету, прямо с ходу,
Поражая опереньем,
Словно вестник от восхода
Он летит в стихотворенье.
Он такой, что не обидит,
Он такой, что видит место —
Он находит для насеста
Самый лучший мой эпитет.
И ворчит, и колобродит,
И хвостом широким водит,
И сверкает до озноба
Всеми радугами зоба.
Мне бы надо затвориться,
Не пускать балунью-птицу.
Но я так скажу: ни разу
Птицам не было отказа!
С милым гостем по соседству
Любо сердцу и перу!..
Встань, далекий образ детства,
На немислимом ветру.

...Было за полдень. В ограду
На саврасом жеребце
Въехал всадник с мутным взглядом
На обветренном лице.
Всадник спешил. Оставил
У поленницы коня
И усталый шаг направил
Сразу прямо на меня.
И, оправя лопотину¹,
Он такую начал речь:

¹ Лопотина — по-сибирски — верхняя одежда.

«Понимаешь, парень, в спину
Угодила мне картечь.
Понимаешь... мне того...
Плоховато малость.
Понимаешь... жить всего
Ерунду осталось.
Воевал я не за этим?»
И он спину обнажил,
И я в ужасе заметил
Кровяные клочья жил.
Я от страху — в палисадник.
Пал в крыжовник и реву...

Только вижу: бледный всадник
Опустился на траву.
Только вижу, как баранья
Шапка валится на чуб,
Только слышу, как страданья
Улетают тихо с губ.
Мне, конечно, стало горько,
Стало муторно до слез —
Я к нему из-за пригорка,
Побеждая страх, пополз.
«Понимаю, — говорю, —
Понимаю дюже...
Может, спину, — говорю, —
Затянуть потуже?
Понимаю, — говорю, —
Но куда ж деваться?»
(Говорю, а сам горю, —
Не могу сдержаться.)

Теребя траву руками,
Всадник веки опустил
И, тяжелую, как камень,
Чуя смерть, заговорил:
«Ты челдон, и я челдон,
Оба мы челдоны...
Положи свою ладонь
На мои ладони.
Слышишь, сполохи гудут
По всему заречью? —
Беляки по нашим бьют
Рассыпной картечью.

На семнадцать верст окрест
Белые в селеньях,
Так что кроме этих мест
Нашим нет спасенья.
Я, родной мой, прискакал
На заимку эту,
Чтобы красный дать сигнал,
Если белых нету.
Мы бы стали по врагу
Бить из-за прикрытья...
Понимаешь, не могу
Дальше говорить я».
Было душно. К придорожью
Медом веяло с гречих.
Всадник вздрогнул страшной дрожью,
Отвернулся — и затих.

Я, конечно, понял сразу
То, что он не досказал.
Я, конечно, без наказа
Понял, что он наказал.
Я, конечно, понял сразу:
Надо выбросить сигнал!
Я — к избе. Комод у входа.
Я беру в расход комод.
В верхнем ящике комода
Ходит ветер круглый год.
В среднем ящике комода —
Канитель такого рода,
Что сам чорт не разберет!
В нижнем? Очень интересно.
В нижнем, в ворохе тряпья
Теткин, шелковый, воскресный
Полушалок вижу я!
Мне не жалко полушалка —
Я его напополам!
Полушалка мне не жалко —
На чердак бегу. А там
Со своей подругой вместе,
Боевой и злой на вид,
На березовом насесте
Голубь мраморный сидит.
«Что ж, — кричу, — послужим, дядя!
Повоюем на лету!»

И, багровый шелк приладя
К голубиному хвосту,
Я свищу: «Вали на волю!»
И пошел винтить трубач
По воздушному по полю
Сумасшедшим летом — вскачь!
То петлями, то кругами,
То в разлете холостом!
И багровый шелк, как пламя,
За его густым хвостом!
То на выпад, то на спинку,
То как ястреб от ворон!..

Вихрем прибыл на заимку,
Партизанский эскадрон.

Солнце падало. Смеркалось.
Скрылись белые за мыс.
Восемь раз разбить пытались, —
Восемь раз стекали вниз.
Над заимкой тучи плыли.
У заката на виду
Люди всадника зарыли
Под калиною в саду.
И поставили подсолнух
У него над головой.
И не дрогнул тот подсолнух
И стоял, как часовой.
А когда дневное лихо
Заступили тьма и тишь, —
Эскадрон ушел по тихой
Дальним бродом за Иртыш.

И не мог я наглядеться...
На подсолнух ввечеру...

О, далекий образ детства
На неммыслимом ветру.

1935

НАТАША

Мы вошли в деревню с боем на рассвете.
Надрывался ветер. Обжигал мороз.
Нас встречали с плачем женщины и дети,
белые от снега, желтые от слез.
Первая навстречу бросилась Наташа,
худенькая девочка, продранный рукав.
— Я ждала!

Я знала!

Вот листовка ваша!—

лепетала девочка, вдруг ко мне припав.
И рукой озябшей, крохотной и ловкой
отогнула девочка шубки отворот,
и дала мне в руки темную листовку,
ту, что мы бросали здесь на Новый год.
Я вошел с ней в избу — холодно и пусто,
только ветер вост в дымовой трубе.
Ни краюшки хлеба, ни листка капусты
не оставил немец в маленькой избе.
Я узнал, что немцы увели с собою
на глазах у девочки плачущую мать,
что недавно Нату круглой сиротою
хмурые соседи стали называть.
А еще мне Ната робко, виновато
сообщила, голову опустив слегка,
что похож лицом я на родного брата,
на ее любимого брата Василька.
Вася-Василечек, что с тобою случилось
за Днепром,

за Доном

или у Двины!

Только помнит Ната, что она рассталась
с добровольцем-братом в первый день войны.
Я сидел с Наташей, тихий и смущенный,
я утер ей слезы стиранным платком,
я ей хлеб намазал пожирней сгущенным,
ледяным, пайковым, сладким молоком.
Долго мы молчали, слова избегая,
облитые светом жидкого огня,
а потом сказал я:

— Вот что, дорогая,
с этих пор братишкой ты зови меня!

1942

Ярослав СМЕЛЯКОВ



МАМА

Добра моя мама. Добра, сердечна.
Приди к ней увенчанный и увечный
делиться удачей, печаль скрывать —
выслушает, ночевать оставит,
чайник согреет, обед поставит;
сама — на сундук, а гостям — кровать.

Старенькая. Ведь видела виды,
знала обманы, хулу, обиды.
Но не пошло ей ученье впрок.
Окна потухли. Фонарь погашен.
Только до позднего в комнате нашей
теплится радостный огонек.

Это она над письмом склонилась.
Не позабыла, не поленилась —
пишет ответы во все края:
кого пожалеет, кого поздравит,
кого подбодрит, а кого поправит.
Совесть людская. Мама моя.

Долго сидит она над тетрадкой,
отодвигая седую прядку
(дельная — рано ей на покой!),
глаз утомленных не закрывая,
ближних и дальних обогревая
своей лучистою добротой.

Всех бы приветила, всех сдружила,
всех бы знакомых переженила.
Всех бы людей за столом собрать,
а самой оказаться — как будто! — лишней,

сесть в уголок и оттуда неслышно
за шумным праздником наблюдать.

Мне бы с тобою все время ладить.
Все бы морщинки твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
что, сознавая мужскую силу,
так, как у сердца меня носила,
в сердце своем я тебя ношу.

Все понимая, прошу я все же,
чтобы была ты суровее, строже,
чтобы в любимых моих глазах
не только одна доброта стояла —
чувство времени, блеск металла,
как у воина на часах.

1939

МИЧУРИНСКИЙ САД

Оценив строителей старанье,
оглядев все дальние углы,
я услышал ровное жужжанье,
тонкое гудение пчелы.

За пчелой пришел я в это царство,
посмотреть внимательно, как тут,
возле гряд целебного лекарства,
тоненькие яблони цветут.

Как стоит, не слыша птишек певчих,
в старомодном длинном сюртуке
каменный великий человечек
с яблоком, прикованным к руке.

Он молчит, воитель и ваятель,
смирщенных не опуская век, —
царь садов, самой земли приятель,
седенький сутулый человек.

Если это нужным он сочтет,
яблони, стелясь и унижаясь,

в сапогах властителя валяясь,
по земле, как нищенка, ползает.

И в его неоспоримой власти
сделать так, мудруя в черенках,
что стоишь ты, позабыв напасти,
захмелев от утреннего счастья
и цветов зеленых в волосах.

Снял он с ветки вяжущую грушу,
на две половинки разделил
и ее таинственную душу
в золотое яблоко вложил.

Я слежу, томительно и длинно,
как на солнце светится пыльца
и стучат, сливаясь воедино,
их миндалевидные сердца.

Рассыпая маленькие зерна,
по колено в северных снегах,
ковыляет деревцо покорно
на кривых беспомощных ногах.

Я молчу, волнуясь в отдалении,
я бы отдал лучшие слова,
чтоб достигнуть твоего уменья,
твоего, учитель, мастерства.

Я бы сделал горбуна красивым,
слабовольным силу бы привил,
дал бы храбрым нежность, а трусливых
храбрыми сердцами наделил.

А себе одно оставил свойство:
жизнь прожить, как ты прожил ее,
творческое слыша беспокойство,
вечное волнение свое.

1939

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ



АКТЕРЫ

Новогодняя ночь на границе.
Черной бурей гремит грузовик.
Легким снегом дорога клубится,
Что идет до луны напрямик.

Поскорей бы к заставе добраться —
Идет давно пограничный отряд.
На фанерных листах декораций
Перезябшие люди сидят.

Вот застава со струйкою дыма
Выплывает. К ним люди бегут,
Говорят им: — Играйте без грима,
Темновато и холодно тут.

Меркнет жалобный свет керосина,
Расцветает неведомый мир —
Старомодный этюд из Расина
И торжественный, мудрый Шекспир,

А потом, с самодельных подмостков,
Вызывая вперед молодежь,
Громогласный

встает

Маяковский

Под горячие взрывы ладош.

Время движется быстро и скупое.
Забывает о сцене актер.
Входят люди в морозных тулупах,
А другие уходят в дозор.

Наступает минута прощанья,
Появляется сонный шофер.

Снова, снова гремят расстоянья,
Одиноким холодным простор.

Дездемоне, пожалуй, не снились
Ночь такая и Дальний Восток
И что два отделенья влюбились
В чуть охрипший ее голосок.

1938

УКРАИНЕ МОЕЙ

Украина, Украина, Украина,
Дорогая моя!
Ты разграблена, ты обкрадена,
Не слышать соловья.
Я увидел тебя распятою
На немецком штыке.
Я прошел равниной покатою,
Как слеза по щеке.

В торбе путника столько горести
Нелегко пронести.
Землю черную полной горстью я
Собирал на пути.

И леса твои, и поля твои —
Все забрал бы с собой!
Я бодрил себя смертной клятвой —
Снова вырваться в бой!

Ты лечила мне раны, ласково
Укрывала, когда,
Челюстями стальными ляская,
Подступала беда.

Все ж я вырвался, вышел с запада
К нашим, к штабу полка,
Весь пропитанный легким запахом
Твоего молока.

Жди теперь моего возвращения,
Бей в затылок врага.
Сила ярости, сила мщения,
Как любовь, дорога!

Наша армия грозно ринется
В свой обратный маршрут.
Вику — конница входит в Винницу,
В Киев танки идут.

Мчатся лавою под Полтавою
Громы наших атак.
Наше дело святое, правое, —
Будет так, будет так!

1941

РАЗГОВОР ВОЛГИ С ДОНОМ

Слышал я под небом раскаленным —
Через сотню верст, издалека
Разговаривала с синим Доном
Волга-мать река.

— Здравствуй, Дон, товарищ мой старинный,
Знаю, тяжело тебе, родной,
Берег твой измаялся кручиной,
Коршун над волной.

Только я скажу тебе, товарищ,
И твоим зеленым берегам:
Никогда, сколь помню, не сдавались
Реки русские врагам.

Дон вдали сверкнул клинком казачьим.
Отвечает Волге: — Труден час,
Тяжко мне пока, но я не плачу,
Слышу твой приказ.

Русских рек великих не ославим,
В бой отправим сыновей своих,
С двух сторон врагов проклятых сдавим
И раздавим их.

Волга Дону громко отвечала:
— Не уйдет противник из кольца,

Будет здесь положено начало
Вражьего конца.

Темным гневом набухают реки,
О которых у народа есть
Столько гордых песен, что вовеки
Их не перечесть.

Реки говорят по-человечьи,
Люди, словно волны, в бой идут.
Немцы на широком междуречьи
Смерть свою найдут.

Бой кипит под небом раскаленным,
Ни минуты передышки нет.
Волга разговаривает с Доном,
Дон гремит в ответ.

Северо-западнее Сталинграда
1942

ПАРТИЗАН НЕУЛОВИМЫЙ

Едет по земле родимой,
Занятой врагами,
Партизан Неуловимый
С верными друзьями.
Он оставил сад и хату,
Сел на полукровку,
Привязал к седлу гранату,
В руки взял винтовку.
Где советские колхозы
Сеяли и жали,
Вражьи движутся обозы,
Танки зарычали.
Где веселые девчата
Песни распевали,
Вражьи выстрелов раскаты
Смертью прозвучали.
Налетайте, партизаны,
Бейте, не жалея,

Чтоб фашистский дух поганый
По ветру развеять.
На шоссе горят машины
Танки запылали,
Это дети Украины
На врага напали.
Налетели и исчезли
За огнем и дымом,
И осталась только песня
О Неуловимом.

1942

Константин СИМОНОВ



ТАНКИ

Вот здесь он шел. Окопов три ряда.
Цепь волчьих ям с дубовою щетиной.
Вот след, где он попятился, когда
Ему взорвали гусеницу миной.
Но под рукою не было врача,
И он привстал, от хромоты страдая,
Разбитое железо волоча,
На раненую ногу припадая.
Вот здесь он, все ломая, как таран,
Кругами полз по собственному следу
И рухнул, обессилевший от ран,
Добыв пехоте трудную победу.

.....
Уже к рассвету, в копоти, в пыли,
Пришли еще дымящиеся танки.
И сообща решили в глубь земли
Зарыть его железные останки.
Он словно не закапывать просил,
Еще сквозь сон он видел бой вчерашний,
Он упирался, он, что было сил,
Еще грозил своей разбитой башней.
Чтоб видно было далеко окрест,
Мы холм над ним насыпали могильный,
Прибив звезду фанерную на шест —
На поле боя памятник посильный.

.....
Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь в пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми;
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных, —
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.

На постамент взобравшись высоко,
Пусть, как свидетель, подтвердит по праву:
Да, нам далась победа не легко.
Да, враг был храбр. Тем больше наша слава.

1939

* * *

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста,
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Огненные в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой.
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Здесь это горе знают понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой притти не сможет до конца.

И должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Мой дом теперь не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.

За тридевять земель, в горах Урала,
Твой мальчик спит. Испытанный судьбой,
Я верю: мы во что бы то ни стало
В конце концов увидимся с тобой.

Но если нет... Когда наступит дата
Ему, как мне, идти в такие дни,
Вслед за отцом, по праву, как солдата,
Прощаясь с ним, меня ты помани.

1941

ЖДИ МЕНЯ

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь.
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора,
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...

Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «повезло».

Не понять не ждавшим, им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

1941

А. СУРКОВУ

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные вьюе дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный больше, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз,
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти поселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовым,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый старик.

Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем».

«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити,
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
По русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют,
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.

За то, что сражаться на ней мне завешано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

* * *

Я, перебрав весь год, не вижу
Того счастливого числа,
Когда всего верней и ближе
Со мной ты связана была.

Я помню зал для репетиций,
И свет, зажженный, как на грех,
И шопот твой, что не годится
Так делать, на виду у всех.

* 510 *

Твой звездный плащ из старой драмы,
И хлыст наездницы в руках,
И твой побег со сцены прямо
Ко мне на легких каблуках.

Нет, не тогда... Так, может, летом,
Когда, на сутки отпуск взяв,
Я был у ног твоих с рассветом,
Машину за ночь доконав?

Какой была ты сонной-сонной!
Вскочив с кровати босиком.
К моей шинели пропыленной
Как прижималась ты лицом!

Как бились жилки голубые
На шее под моей рукой!
В то утро, может быть впервые,
Ты показалась мне женой.

И все же не тогда, я знаю,
Ты самой близкой мне была.
Теперь я вспомнил: ночь глухая,
Обледеневшая скала...

Майор, проверив по карманам,
В тыл приказал бумаг не брать.
Когда придется, безымянным
Разведчик должен умирать.

Мы к полночи дошли и ждали,
По грудь зарытые в снегу.
Огни далекие бежали
На том, на русском берегу...

Теперь я сознаюсь в обмане:
Готовясь умереть в бою,
Я все-таки с собой в кармане
Нес фотографию твою.

Она под северным сияньем
В ту ночь казалась голубой,
Казалось, что сейчас мы встанем
И об руку пойдем с тобой.

Казалось, в том же платье белом,
Как в летний день снята была,
Ты по камням оледенелым
Со мной невидимо прошла.

За смелость не прося прощенья,
Клянусь, что, если доживу,
Ту ночь я ночью обрученья
С тобою вместе назову.

1941

УБЕЙ ЕГО

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком,
Где ты в люльке, качаясь, плыл,
Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы,
Если мил тебе бедный сад
С майским цветом, с жужжанием пчел.
И под липой, сто лет назад,
В землю вкопанный дедом стол,
Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоём доме немец топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога,
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уж нет молока,
Только можно щекой прильнуть,
Если вынести нету сил,
Чтобы немец, ее застав,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав,
Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Немцу мыли его белье
И стелили ему постель...

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,
Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу,
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,
Чтоб солдатский портрет в крестах
Немец взял и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Если жаль тебе, чтоб старик,
Старый школьный учитель твой,
Перед школой в петле поник
Гордой старческой головой,
Чтоб за все, что он воспитал
И в друзьях твоих и в тебе,
Немец руки ему сломал
И повесил бы на столбе...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел, так ее любил,
Чтобы немцы ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем
Обнаженную на полу,
Чтоб досталось трем этим псам,
В столах, в ненависти, в крови
Все, что свято берег ты сам,
Всею силой мужской любви...
Если ты не хочешь отдать
Немцу, с черным его ружьем,
Дом, где жил ты, жену и мать,
Все, что родиной мы зовем,
Знай — никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь.
Знай — никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.
И пока его не убил,
То молчи о своей любви —

Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.
Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед —
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправдания нет.
За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят.

Если немца убил твой брат,
Это он, а не ты, солдат.
Так убей же немца, чтоб он,
А не ты, на земле лежал,
Не в твоём доме чтобы стон —
А в его — по мертвом стоял.
Так хотел он, его вина —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его — пусть будет вдовой.
Пусть заплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Маргарита АЛИГЕР



МУЗЫКА

Я в комнате той,
на диване промятом,
где пахнет масgiкой и кленом сухим,
наполненной музыкой и закатом,
движеньями,
голосом,
шумом твоим.

Я в комнате той,
где смущенно и чинно
стоит у стены, прижимается к ней
чужое, разыгранное пианино,
как маленький памятник жизни твоей.
Всей жизни твоей.

До чего же немного!

Неистовый,
жадный,
земной,
молодой,

ты засветло вышел.

Лежала дорога
по вольному полю,
над ясной водой.

Все музыкой было, —

взвивался ли ветер,
плескалась ли рыба,

текла ли вода,
и счастье играло в рожок на рассвете,
и в бубен безжалостный била беда.
И сердце твое грохотало, любило,
и в солнечном дождике смеха и слез
все музыкой было, все музыкой было,
все пело, гремело, летело, рвалось.

И ты,

как присягу,

влюбленно и честно,

почти без дыхания слушал ее.

В победное медное сердце оркестра

как верило бедное сердце твое!

На миг очутиться бы рядом с тобою,

чтоб всей своей силою, нежностью всей

понять и услышать симфонию боя,

последнюю музыку жизни твоей.

Симфония боя меж правдой и ложью,

войны до победы,

борьбы до конца.

Мой милый, какой вдохновенною дрожью,

услышав ее, задрожали сердца.

Она загремела,

святая и злая,

и не было звуков над миром грозней.

И, музыки чище и проще не зная,

ты,

раненный в сердце,

склонился пред ней.

Навеки.

И вот уже больше не будет

ни славы,

ни бед,

ни обид,

ни молвы,

и ласка моя никогда не остудит

горячей, бедовой твоей головы.

Навеки.

Мои опускаются руки.

Мои одинокие руки лежат...

Я в комнате той,

где последние звуки,

как крылья подстреленной птицы, дрожат.

Я в комнате той,

у дверей,

у порога,

у нашего прошлого на краю...

Но ты мне оставил так много, так много —

две вольные жизни, мою и твою.

Но ты мне оставил не жалобу вдовью, —
мою неуступчивую судьбу.

с ее задыханьями,

жаром,

любовью,

с ночною тревогой, трубящей в трубу.

Позволь мне остаться такой же,

такою,

какою ты некогда обнял меня.

Готовую в путь,

непривычной к покою,

как поезда, ждущего встречного дня.

И верить позволь немудреною верой,

что все-таки быть еще счастьем

и жить,

как ты научил меня,

полною мерой,

себя не умея беречь и делить.

Всем сердцем и всем существом в человеке,

страстей и порывов своих не тая,

так жить,

чтоб остаться достойной навеки

и жизни

и смерти,

такой, как твоя.

1942

З О Я

(Из поэмы)

В первых числах декабря 1941 года
в селе Петрищеве, близ города Верей,
немцы казнили восемнадцатилетнюю
комсомолку, назвавшую себя Татьяной.

Она оказалась московской школьни-
цей Зоей Косьмодемьянской.

(Из гавесту)

Тишина. Ах, какая стоит тишина!
Даже шорохи ветра не часты и глухи.
Тихо так, будто в мире осталась одна
эта девочка в ватных штанах и трухе.

«Значит, я ничего не боюсь и смогу
сделать все, что приказано...»

Завтра не близко.

Догорает костер, разожженный в снегу,
и последний дымок его стелется низко.

«Погоди еще чуточку, не потухай.

Мне с тобой веселей. Я согрелась немного.

Над Петрищевым мечутся три петуха,
там, наверное, шум, суeta и тревога.
Это я подожгла!

Это я!

Это я!

Все исполню, верна боевому прикпау.
И сильнее противника воля моя,
И сама я невидима вражъему глазу.
Засмеяться?

Запеть?

Погоди, погоди...

Вот когда я с ребятами встречусь,
когда я...»

Сердце весело прыгает в жаркой груди,
и счастливей колотится кровь молодая.

Ах, какая большая стоит тишина!

Приглушенные елочки к шороху чутки.

«Как досадно, что я еще крыл лишена.

Я бы к маме слетала хоть на две минутки.

Мама, мама,

какой я была до сих пор?

Может быть, недостаточно мягкой и нежной?

Я другою вернусь.

Догорает костер.

Я одна остаюсь в этой полночи снежной.

Я вернусь,

я найду себе верных подруг.

Стану сразу доверчивей и откровенней...»

Тишина, тишина нарастает вокруг.

Ты сидишь, охвативши руками колени.

Ты одна.

Ах, какая стоит тишина!

Но не верь ей, прислушайся к ней, дорогая.

Тихо так, что отчетливо станет слышна

вся страна,

вся война, до переднего края.

Ты услышишь все то, что не слышно врагу
под защитным крылом этой ночи вороньей,
заскрипели полозья на крепком снегу.
Тащат трудную ношу разумные кони.
Мимо сосенок четких и лунных берез,
через линию фронта, огонь и блокаду,
нагруженный продуктами красный обоз
осторожно и верно ползет к Ленинграду.
Люди, может быть, месяц в пути, и назад
не вернет их ни страх, ни железная сила.
Это наша тоска по тебе, Ленинград,
наша русская боль из немецкого тыла.
Чем мы можем тебе хоть немного помочь?
Мы пошлем тебе хлеба, и мяса, и сала.

Он стоит,
погруженный в осадную ночь,
этот город,
которого ты не видала.

Он стоит под обстрелом чужих батарей.
Рассказать тебе, как он на холоде дышит?
Про его матерей,
потерявших детей
и тащивших к спасению чужих ребятишек?
Люди поняли цену того, что зовут
немудреным, таинственным именем жизни,
и они иступленно ее берегут,
потому что — а вдруг? — пригодится отчизне.
Это проще — усталое тело сложить,
всё-таки и не выйдя к переднему краю.
Слава тем, кто решил до победы дожить.
Понимасшь ли, Зоя?

«Я все понимаю.

Понимаю.

Я завтра проникну к врагу,
и меня не заметят,
не схватят,
не свяжут.

Ленинград, Ленинград!

Я тебе помогу!

Прикажи мне!

Я сделаю все, что прикажут».

И как будто в ответ тебе,
 будто бы в лад
застучавшему сердцу,
 услышь канонаду.
На высоких базах начинается Кронштадт,
и Малахов курган отвечает Кронштадту.

Проплывают больших облаков паруса
через тысячи верст человеческого горя.
Артиллерии русской гремят голоса
от Балтийского моря до Черного моря.
Севастополь.

Но как рассказать мне о нем?
На светящемся гребне девятого вала
он причалил к земле боевым кораблем,
этот город,
 которого ты не видала.

Сходят на берег люди.

Вздыхает вода.

Что такое геройство?

Я так и не знаю.

Севастополь...

Давай помолчим.

Но тогда,
понимаешь, он был еще жив.

«Понимаю.

Понимаю.

Я завтра пойду и зажгу
и конюшни, и склады, согласно приказу.
Севастополь, я завтра тебе помогу.
Я ловка и невидима вражьему глазу.
Ты невидима вражьему глазу?

А вдруг?

Как тогда?

Что тогда?

Ты готова на это?

Тишина, тишина нарастает вокруг.
Подымается девочка вместо ответа.

Далеко-далеко умирает боец...
Задыхается мать, иступленно рыдая.
Страшной глыбой заваленный стонет отец,
и сирот обнимает вдова молодая.

Тихо так, что ты все еще слышишь в ту ночь,
потрясенной планеты взволнованный житель:
«Дорогие мои, я хочу вам помочь!

Я готова.

Я выдержу все.

Прикажете».

А кругом тишина, тишина, тишина,
и мороз

не дрожит,

не слабеет,

не тает...

И судьба твоя завтрашним днем решена,
и дыханья

и голоса

мне нехватает.

1942

Ольга БЕРГОЛЬЦ



ФЕВРАЛЬСКИЙ ДНЕВНИК

I

Был день как день.
Ко мне пришла подруга,
Не плача, рассказала, что вчера
Единственного схоронила друга,
И мы молчали с нею до утра.

Какие ж я могла найти слова?
Я тоже — ленинградская вдова.

Мы съели хлеб, что был отложен на день,
В один платок закутались вдвоем,
И тихо-тихо стало в Ленинграде.
Один, стуча, трудился метроном.

И стыли ноги, и томила свечка,
Вокруг ее слепого огонька
Образовалось лунное колечко,
Похожее на радугу слегка.

Когда немного посветлело небо,
Мы вместе вышли за водой и хлебом
И услышали дальней канонады
Рыдающий, тяжелый, мерный гул:
То армия рвала кольцо блокады,
Вела огонь по нашему врагу.

II.

А город был в дремучий убранный,
Уездные сугробы, тишина,
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
Одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья:
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюлях воду голубую воят,
Дрова и скарб, умерших и больных.

Так с декабря кочуют горожане
За много верст, в степной туманной мгле,
В глуши слепых обледеневших зданий
Отыскивая угол потеплей.

Вот женщина ведет куда-то мужа, —
Седая полумаска на лице,
В руках бидончик, — это суп на ужин...
Свистят снаряды, свирепеет стужа —
Товарищи, мы в огненном кольце...

А девушка с липом заиндевелым,
Упрямо стиснув почерневший рот,
Завернутое в одеяло тело
На Охтенское кладбище везет.

Везет, качаясь, — к вечеру добраться б...
Глаза бесстрастно смотрят в темноту.
Скинь шапку, гражданин:

Провозят ленинградца,
Погибшего на боевом посту.

Скрипят полозья в городе, скрипят.
Как многих нам уже не досчитаться.
Но мы не плачем: правду говорят,
Что слезы вымерзли у ленинградцев.

Нет, мы не плачем. Слез для сердца мало.
 Нам ненависть заплакать не дает.
 Нам ненависть залогом жизни стала,
 Объединяет, греет и ведет.
 О том, чтоб не прощала, не щадила,
 Чтоб мстила, мстила, мстила, как могу, —
 Ко мне взывает братская могила
 На охтенском, на правом берегу.

Но мы стояли на высоких крышах
С закинутою к небу головой,
Не покидали хрупких наших вышек,
Лопату сжав обугленной рукой.

...Настанет день, и, радуясь, спеша,
Еще печальных не убрав развалин,
Мы будем так наш город украшать,
Как люди никогда не украшали.

И вот тогда на самом стройном зданьи
Лицом к восходу солнца самого
Поставим мраморное изваянье
Простого труженика ИВО.

Пускай стоит, всегда зарей объятый,
Так, как стоял, держа неравный бой,
С закинутою к небу головой,
С единственным оружием — лопатой.

V

О древнее орудие земное,
Лопата, младшая сестра земли.
Какой мы путь немислимый с тобою
От баррикад до кладбища прошли.

Мне и самой порою не понять
Всего, что выдержали мы с тобою,
Пройдя сквозь пытки страха и огня,
Мы выдержали испытанье боем.

И каждый, защищавший Ленинград,
Вложивший руку в пламенные раны, —
Не просто горожанин, а солдат,
По мужеству подобный ветерану.

Но тот, кто не жил с нами, не поверит,
Что в сотни раз почетней и трудней
В блокаде, в окруженьи палачей —
Не превратиться в оборотня, в зверя...

...Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не героизмовала, а жила.

И не хвалюсь я тем, что в дни блокады
Не изменяла радости земной,
Что, как роса, сияла эта радость,
Угрюмо озаренная войной.

И если чем-нибудь могу гордиться,
То, как и все друзья мои вокруг,
Горжусь, что до сих пор могу трудиться,
Не складывая ослабевших рук.
Горжусь, что в эти дни, как никогда,
Мы знали вдохновение труда.

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Таковыми мы счастливыми бывали,
Такой свободой дикою дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

О да, мы счастье страшное открыли, —
Оно другим неведомо пока, —
Когда последней коркою делились,
Последнею щепоткой табака,
Когда вели полночные беседы
У бедного и дымного огня,
Как будем жить, когда придет победа,
Всю жизнь по-новому ценя.
И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
Как полдень жизни, будешь вспоминать
Дом на проспекте Красных Командиров,
Где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод.
Ликуя, тлача, сердце позовет
И эту тьму, и голос мой, и холод,
И баррикаду около ворот.

Да здравствует, да царствует всегда
Простая человеческая радость,

Основа обороны и труда,
Бессмертие и сила Ленинграда!
Да здравствует суровый и спокойный,
Глядевший смерти в самое лицо,
Удушливое вынесший кольцо
Как Человек,
 как Труженик,
 как Воин.

Сестра моя, товарищ, друг и брат,
Ведь это мы, крещенные блокадой.
Нас вместе называют — Ленинград,
И шар земной гордится Ленинградом.

Двойною жизнью мы сейчас живем:
В грязи и стуже, в голоде, в печали
Мы дышим завтрашним —
 счастливым, щедрым
 днем.

Мы этот день завоевали.
И ночь ли будет, утро или вечер,
Но в этот день мы встанем и пойдем
Воительнице-армии навстречу
В освобожденном городе своем.

Мы выйдем без цветов,
 в помятых касках,
В тяжелых ватниках,
 в промерзших полумасках,
Как равные приветствуя войска.
И, крылья мечевидные расправив,
Над нами встанет бронзовая слава,
Держа венки в обугленных руках.

Январь — февраль 1942 года

Николай РЫЛЕНКОВ



* * *

В суровый час раздумья нас не троньте.
Расспрашивать не смейте ни о чем!
Молчанью научила нас на фронте
Смерть, что всегда стояла за плечом.

Она другое измеренье чувствам
Нам подсказала ка пути крутом.
Вот почему нам кажутся кощунством
Расспросы близких о пережитом.

Нам было все отпущено сверх меры,
Любовь и гнев, и мужество в бою.
Теряли мы друзей, родных, но веры
Не потеряли в родину свою!

Не вспоминайте ж дней тоски, не раньте
Случайным словом, вздохом невпопад!..
...Вы помните, как молчалив стал Данте,
Лишь в сновиденьи посетивший ад?

1942

ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ И ЖЕЛЕЗОМ

Пропедшим фронт, нам день зачтется за год.
В пыли дорог сочтется каждый след,
И корпией на наши раны лягут
Воспоминанья юношеских лет.

Рвы блиндажей трава зальет на склонах
Крутых холмов, нахлынув, как волна.
В тех блиндажах из юношей влюбленных
Мужчинами нас сделала война.

И синего вина, вила печали,
Она нам полной мерой поднесла,
Когда мы в первых схватках постигали
Законы боевого ремесла.

Но и тогда друг другу в промежутках
Меж двух боев рассказывали мы
О снах любви, и радостных и жутких,
Прозрачных, словно первый день зимы.

Перед костром, сомкнувшись тесным кругом,
Мы вновь клялись у роковой черты,
Что, возвратясь домой к своим подругам,
Мы будем в снах и в помыслах чисты.

А на снегу, как гроздь горьких ягод,
Краснела кровь. И снег не спорил с ней!
За это все нам день зачтется за год,
Пережитое выступит ясней.

1942

Александр ЯШИН



О Л Е Н А

Что ни праздник — на угоре
Все девчата наши в сборе.

Во наряды выражены.
Парни с ними выдержаны.

Все достатки,
Все порядки
В этом выражены.

Честь по чести ходят пары,
Сады сводчатые.
И звенят, поют гитары,
Говорливые гитары,
Разговорчивые.

Только ахнет баян, —
И Олена пляшет,
Улыбается подругам,
Полушалком машет.

У Олены сарафан
Всех нарядов краше.

Для нее поет баян,
Про нее поет баян,
Про Олену нашу.

У Олены кофта — сад.
Пуговки — росинки,
Бусы — ягоды висят,
Зреют бисеринки.

Что ни фартук,
Что ни шаль —
Шелковые кисти.

Поглядишь — горит душа:
Очень девка хороша.
Статна, голосиста.

Приезжал один ученый
Из района.
Приглянулася ученому
Олена.

Говорит: «Нарядный вид,
Бойко пляшет.
Сарафан-то, — говорит, —
Знать, мамашин!

Достоянье старины,
Бисер-жито.
Старый Север, — говорит —
Интересный, — говорит, —
Пережиток».

А ему Олена прямо
И сердито:
«Перестаньте, гражданин,
Городить-то!

В старопрежнее-то время
И на свадьбе
Мне бы в таком наряде
Не гулять бы.

Не мечтала мама видеть
В нем и внучек.

И чему таких ученых
Только учат?!»

Так отрезала ему
Складно да ладно.

Мы-то знаем, почему
Олена нарядна.

ШИНЕЛЬ

Эх, шинель моя, шинель,
Длинная, походная,
В слякоть осени,
В метель
Теплая
И модная;

Черная, просторная,
Ладная, нарядная,
Краснофлотская подруга —
Шуба ненаглядная!

Три кармана, две полы,
Пуговицы в золоте,
Якоря на них светлы,
Как закаты в Вологде.

Грязь к тебе не пристает.
Полюбил тебя народ.
За одну шинель матроса
В гости девушка зовет.

И подушка, и постель,
И шатер — моя шинель.

Если надо — в жгут свернется,
На ночевке вытянется.
Ветер грянет,
Дождь польется,
Ты — моя спасительница!

Мало — дюжину штиблет
Изорвешь за пару лет,
Даже тапк броню меняет,
А тебе износу нет.

Неужели ж, неужель
Я сниму свою шинель?
Неужели в самом деле,
Как закончится война,
Без шинели

По панели
Поведе́т меня жена?

Нет, всегда я буду в ней,
В боевой, родной,
В своей,
Как и тот, кто к нам выходит
На гранитный мавзолей.

Будет помниться война —
Тяжела была она.
Будет дорого вдвойне,
Что отбито на войне.

И покуда войны есть,
На земле смертей не счесть, —
Не снимать своих шинелей
Мы почтем за долг и честь.

1942

С. МАРШАК



О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ

Пела ночью мышка в норке:
— Спи, мышонок, замолчи.
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.

Отвечает ей мышонок:
— Голосок твой слишком тонок.
Лучше, мама, не пищи,
Ты мне няньку поищи.

Побежала мышка-мать,
Стала утку в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя-утка,
Нашу детку покачать.

Стала петь мышонку утка:
— Га-га-га, усни, малютка,
После дождика в саду
Червяка тебе найду.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос не хорош, —
Слишком громко ты поешь.

Побежала мышка-мать,
Стала жабу в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя-жаба,
Нашу детку покачать.

Стала жаба важно квакать:
— Ква-ква-ква, не надо плакать.
Спи, мышонок, до утра,
Дам тебе я комара.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос не хорош, —
Очень скучно ты поешь.

Побежала мышка-мать
Тетю-лошадь в няньки звать!
— Приходи к нам, тетя-лошадь,
Нашу детку покачать.

— И-го-го! — поет лошадка. —
Спи, мышонок, сладко, сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос не хорош, —
Очень страшно ты псешь!

Побежала мышка-мать,
Стала щуку в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя-щука,
Нашу детку покачать.

Стала петь мышонку щука,
Не услышал он ни звука:
Разевает щука рот,
А не слышно, что поет.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос не хорош, —
Слишком тихо ты поешь!

Побежала мышка-мать,
Стала кошку в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя-кошка,
Нашу детку покачать.

Стала петь мышонку кошка:
— Мяу-мяу, спи, мой крошка,
Мяу-мяу, ляжем спать,
Мяу, мяу, на кровать.

Глупый маленький мышонok
Отвечает ей спросонок:
— Голосок твой так хорош,
Очень сладко ты поешь.

Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать,
Ищет глупого мышонка —
А мышонка не видать...

1923

ПОЧТА

Борису Житкову

1

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой «5» на медной бляшке,
В синей форменной фуражке?

Это — он,

Это — он,

Ленинградский почтальон.

У него сегодня много
Писем в сумке на боку —
Из Ташкента, Таганрога,
Из Тамбова и Баку.

В семь часов он начал дело.
В десять сумка похудела.
А к двенадцати часам
Все разнес по адресам.

2

— Заказное из Ростова
Для товарища Житкова.

— Заказное для Житкова?
Извините, нет такого.
В Лондон вылетел вчера
В семь четырнадцать утра.

Житков за границу
 По воздуху мчится.
 Земля зеленеет внизу.
 А вслед за Житковым
 В вагоне почтовом
 Письмо заказное везут.

Пакеты по полкам
 Разложены с толком.
 В дороге разборка идет.
 И два почтальона
 На лавках вагона
 Качаются ночь напролет.

Открытка — в Дубровку,
 Посылка — в Покровку,
 Газета — в Ростов-на-Дону.
 Письмо — в Бологое.
 А вот заказное
 Поедет в чужую страну.

Письмо
 Само
 Никуда не пойдет,
 Но в ящик его опусти —
 Оно пробежит,
 Пролетит,
 Проплывет
 Тысячи верст пути.

Нетрудно письму
 Увидеть свет.
 Ему
 Не нужен билет.
 На медные деньги
 Объедет мир
 Заклеенный
 Пассажир.

В дороге оно
Не пьет и не ест
И только одно
Говорит:
— Срочное,
Англия.
Лондон.
Вест.
14, Бобкин-Стрит.

5

Бежит, подбрасывая груз,
За автобусом автобус.
Качаются на крыше
Плакаты и афиши.
Кондуктор с лесенки кричит!
— Конец маршрута. Бобкин-Стрит!
По Бобкин-Стрит,
По Бобкин-Стрит
Шагает быстро мистер Смит
В почтовой синей кепке.
А сам он вроде щепки.

Идет в четырнадцатый дом,
Стучит висячим молотком
И говорит сурово:
— Для мистера Житкова!

Швейцар глядит из-под очков
На имя и фамилию
И говорит: — Борис Житков
Отправился в Бразилию.

6

Пароход
Отойдет
Через две минуты.
Чемоданами народ
Занял все каюты.
Но в одну
Из кают

Чемоданов не несут,
Там поедет вот что:
Почтальон и почта.

7

Под пальмами Бразилии,
От зноя утомлен,
Шагает дон Базилио,
Бразильский почтальон.

В руке он держит странное
Измятое письмо.
На марке — иностранное
Почтовое клеймо

И надпись над фамилией
О том, что адресат
Уехал из Бразилии
Обратно в Ленинград

8

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой «5» на медной бляшке.
В синей форменной фуражке?

Это — он,
Это — он,

Ленинградский почтальон!
Он протягивает снова
Заказное для Житкова.
— Для Житкова!
— Эй, Борис!
Получи и распишись.

9

Мой сосед вскочил с постели.
— Вот так чудо, в самом деле!
Погляди, письмо за мной
Облетело шар земной.

Мчалось по морю вдогонку,
Понеслось на Амазонку.
Вслед за мной его везли
Поезда и корабли.

По морям и горным склонам
Добрело оно ко мне.
Честь и слава почтальонам,
Утомленным, запыленным,
Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!

1927

ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ

Жил человек рассеянный
На улице Бассейной,

Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать.
В рукава просунул руки —
Оказалось, это брюки.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной,

Надевать он стал пальто, —
Говорят ему: не то!
Стал натягивать гамаши, —
Говорят ему: не ваши.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Вместо шапки, на ходу,
Он надел сковороду.
Вместо валенок — перчатки
Натянул себе на пятки.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Однажды на трамвае
Он ехал на вокзал

И, двери открывая,
Вожатому сказал:

— Глубокоуважаемый
Вагоноуважатель!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатель!

Во что бы то ни стало
Мне надо выходить
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить? —
Вожатый удивился,
Трамвай остановился.

Вот какой рассеянный,
С улицы Бассейной!

1930

ОТКУДА СТОЛ ПРИШЕЛ

Берете книгу и тетрадь,
Садитесь вы за стол.
А вы могли бы рассказать,
Откуда стол пришел?

Недаром пахнет он сосной —
Пришел он из глуши лесной.
Вот этот стол, сосновый стол,
К нам из лесу пришел.

У нас под ним паркетный пол,
А там была земля.
Он много лет в лесу провел,
Ветвями шевеля.

Пришел он из глуши лесной,
Он сам когда-то был сосной.
Сочилась из его ствола
Пахучая смола.

Он был в чешуйчатой коре,
И у его корней

Барсук храпел в своей норе
До первых вешних дней.

Видал он белку — этот стол.
Она карабкалась на ствол,
Царапая кору.

Он на ветвях качал галчат
И слышал, как они кричат,
Проснувшись поутру.

Но вот горячая пила
Глубоко в ствол его вошла.
Вздохнул он и упал.
И в лесопилке над рекой
Он стал бревном, он стал доской.
Потом в столярной мастерской
Четвероногим стал.

Он вышел из рабочих рук
Устойчив и широк.
Где был на нем рогатый сук, —
Виднеется глазок.

Домашним жителем он стал.
Стоит он у стены,
Теперь барсук бы не узнал
Родной своей сосны.

Медведь бы в логово залез,
Лису объял бы страх, —
Когда бы стол явился в лес
На четырех ногах.

Но в лес он больше не пойдет —
Он с нами будет жить.
День изо дня, из года в год
Он будет нам служить.

Стоит чернильница на нем.
Лежит на нем тетрадь,
За ним работать будем днем,
А вечером читать.

На нем чертеж я разложу,
Когда пора придет,
Чтобы потом по чертежу
Построить самолет.

1941

«ЮНЫЙ ФРИЦ», И «ЭКЗАМЕН
НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»

Юный Фриц, любимец мамин,
В класс пришел держать экзамен.

Задают ему вопрос:
— Для чего фашисту нос?

Отвечает Фриц мгновенно:
— Чтоб вынюхивать измену
И строчить на всех донос,
Вот зачем фашисту нос.

Вопрошает жрец науки:
— Для чего фашисту руки?

— Чтоб держать топор и меч,
Чтобы красть, рубить и жечь.

— Для чего фашисту ноги?

— Чтобы топтать по дороге,
Левой, правой, раз и два.

— Для чего же голова?

— Чтоб носить стальную каску
Или газовую маску,
Чтоб не думать ничего.
(Фюрер мыслит за него!)

Похвалил учитель Фрица:
— Этот парень пригодится.
Из такого молодца
Можно сделать подлеца!

Рада мама, счастлив папа —
Фрица приняли в гестапо.

1941

П Л А К А Т Ы

За родину!

Бьемся мы здорово,
Рубим отчаянно,
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.

Шлем и каска

Днем фашист сказал крестьянам:
«Шапку с головы долой!»
Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой.

«Ломом по врагу»

Лом железный соберем
Для мартена и вагранки, —
Чтобы вражеские танки
Превратить в железный лом!

Помни

Ты каждый раз, ложась в постель,
Смотри во тьму окна
И помни, что метет метель
И что идет война.

Подарки бойцам

Из рук не выпуская спиц,
Спешит старуха-мать
Побольше мягких рукавиц
Для мальчиков связать.
Вдали от теплого жилья,
Там, где гудит метель,
Ночуют наши сыновья,
Закутавшись в шинель.

Полковник-барон

Сверкая глазами, полковник-барон
Скомандовал: — Руки по швам!

Но, видя, что чешется весь батальон,
Скомандовал: — Руки по вшам!

1941—1942

М А Т Ь

В такой обыкновенный день —
Июльский, голубой —
Вели толпу из деревень
Фашисты на убой.

Безмолвен был последний путь...
Но вот в одном ряду
Отстала женщина — и грудь
Достала на ходу.

Не отрывая скорбных глаз
От сына своего,
Кормила мать в последний раз
Родное существо.

В толпе, как ветер прошуршал,
Пронесся тихий плач.
И что-то хрипло прокричал
По-своему палач.

И зашагал народ быстрее
По смертному пути.

За кровь детей и матерей
Убийцам отомсти!

1942

Корней ЧУКОВСКИЙ



МОЙ ДОДЫГ

Одеяло
Убежало,
 Улетела простыня,
 И подушка,
 Как лягушка,
Ускакала от меня.

Я за свечку,
Свечка в печку!
Я за книжку,
Та — бежать
И вприпрыжку
Под кровати!

Я хочу напиться чаю,
К самовару подбегаю,
Но пузатый от меня
Убежал, как от огня.

Что такое,
Что случилось?
Отчего же
Все кругом
Завертелось,
Закружилось
И помчалось колесом?
 Утюги
 за
 сапогами,
Сапоги
 за
 пирогами,

Пирог
за
утюгами,
Кочерга
за
кушаком—
Все вертится,
И кружится,
И несется кувыркoм.

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой:
«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,
Неумытый поросенок!
Ты чернее трубочиста,
Полюбуйся на себя:
У тебя на шее вакса,
У тебя под носом клякса,
У тебя такие руки,
Что сбежали даже брюки,
Даже брюки, даже брюки
Убежали от тебя.
Рано утром, на рассвете,
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жуки, и паучки.

Ты один не умылся
И грязнулею остался,
И сбежали от грязнули
И чулки и башмаки.

Я — Великий Умывальник,
Знаменитый Мойдодыр,
Умывальников Начальник,
И мочалок Командир, —
Если топну я ногою,
Позову моих солдат,
В эту комнату толпою
Умывальники влетят
И залают, и завоют,
И ногами застучат.

И тебе головомойку,
Неумытому, дадут —
Прямо в Мойку,
Прямо в Мойку
С головою окунут!»
Он ударил в медный таз
И вскричал: «Кара-бараз!»
И сейчас же щетки, щетки
Затрещали, как трещотки,
И давай меня тереть,
Приговаривать:

«Моем, моем трубочиста
Чисто, чисто, чисто, чисто.
Будет, будет трубочист
Чист, чист, чист, чист!»

Тут и мыло подскочило
И вцепилось в волоса,
И юлило, и мылило,
И кусало, как оса.

А от бешеной мочалки
Я помчался, как от палки,
А она за мной, за мной
По Садовой, по Сенной.

Я к Таврическому саду,
Перепрыгнул чрез ограду,
А она за мною мчится
И кусает, как волчица.

Вдруг навстречу мой хороший,
Мой любимый Крокодил.
Он с Тотошей и Кокошей
По аллее проходил
И мочалку, словно галку,
Словно галку, проглотил.

А потом как зарычит
На меня,
Как ногами застучит
На меня:
«Уходи-ка ты домой,

Говорит,
Да лицо свое умой,
Говорит,
А не то как налечу,
Говорит,
Растопчу и проглочу!» —
Говорит.

Как пустился я по улице бежать,
Прибежал я к умывальнику опять.

Мылом, мылом,

Мылом, мылом

Умывался без конца,

Смыл и ваксу

И чернила

С неумытого лица.

И сейчас же брюки, брюки

Так и прыгнули мне в руки.

А за ними пирожок:

«Ну-ка, съешь меня, дружок!»

А за ним и бутерброд:

Подбежал — и прямо в рот!

Вот и книжка воротилась,

Воротилась тетрадь,

И грамматика пустилась

С арифметикой плясать.

Тут Великий Умывальник,

Знаменитый Мойдодыр,

Умывальников Начальник

И мочалок Командир,

Подбежал ко мне, танцуя,

И, целуя, говорил:

«Вот теперь тебя люблю я,

Вот теперь тебя хвалю я:

Наконец-то ты, грязнуля,

Мойдодыру угодил!»

Надо, надо умываться

По утрам и вечерам,

А нечистым

Трубочистам

Стыд и срам!

Стыд и срам!

Да, нечистым
Трубочистам —
Стыд и срам!
Стыд и срам!

Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!

Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане,

И в ванне, и в бане, —
Всегда и везде
Вечная слава воде!

1922

МУХА - ЦОКОТУХА

Муха, Муха, Цокотуха,
Позолоченное брюхо!
Муха по полю пошла,
Муха денежку нашла.

Пошла муха на базар
И купила самовар.
«Приходите, тараканы,
Я вас чаем угощу!»

Тараканы прибежали,
Все стаканы выпивали,
А букашки —
По три чашки
С молоком
И крендельком.
Пынце Муха-Цокотуха
Именинница!

Приходили к мухе блошки,
Приносили ей сапожки,
А сапожки не простые,
В них застёжки золотые.

Приходила к Мухе бабушка пчела,
Мухе-Цокотухе меду принесла.

Вдруг какой-то старичок

Паучок

Нашу Муху в уголок

Поволок, —

Хочет бедную убить,
Цокотуху погубить!

«Дорогие гости, помогите,

Паука злодея зарубите!

И кормила я вас,

И поила я вас,

Не покиньте меня в мой последний час!»

Но жуки, червяки

Испугались,

По углам, по щелям

Разбежались.

Тараканы

Под диваны,

А козявочки

Под лавочки,

А букашки под кровать —

Не желают воевать!

И никто даже с места не сдвинется:

Пропадай, погибай, именинница!

А кузнечик, а кузнечик,

Ну, совсем как человечек, —

Скок, скок, скок, скок

За кусток, под мосток,

И молчок!

А злодей-то не шутит,

Руки, ноги он Мухе верёвками крутит,

Зубы острые в самое сердце вонзает

И кровь у нее выпивает.

Муха криком кричит,
Надрывается,
А злодей молчит,
Ухмыляется.

Вдруг откуда-то летит
Маленький комарик,
И в руке его горит
Крошечный фонарик.

«Где убийца? Где злодей?
Не боюсь его когтей!»

Подлетает к пауку,
Саблю вынимает
И ему на всем скаку
Голову срубает!

Муху за руку берет
И к окошечку ведет.

«Я злодея зарубил,
Я тебя освободил,
И теперь, душа-девица,
На тебе хочу жениться!»

Тут букашки и козявки
Выползают из-под лавки.
«Слава, слава комару,
Победителю!»

Прибегали светляки,
Зажигали огоньки —
То-то стало весело,
То-то хорошо!

Эй, сороконожки,
Бегите по дорожке,
Зовите музыкантов,
Будем танцевать!

Музыканты прибежали,
В барабаны застучали.

Бом! бом! бом! бом!
Пляшет Муха с комаром.
А за нею клоп, клоп,
Сапогами топ-топ!

Козявочки с червячками,
Букашечки с мотыльками.

А жуки рогатые,
Мужики богатые,
Шапочками машут,
С бабочками пляшут.

Та-ра-ра! Та-ра-ра!
Заплясала мошкара.

Веселится народ,
Муха замуж идет
За лихого, удалого,
Молодого комара!

Муравей, муравей
Не жалеет лаптей, —
С муравьиhoю попрыгивает
И букашечкам подмигивает:

«Вы, букашечки,
Вы, милашечки,
Та-ра-та-ра-та-ра-таракашечки!»

1923

К Р А Д Е Н О Е С О Л Н Ц Е

Солнце по небу гуляло
И за тучу забежало.
Глянул зайнька в окно,
Стало зайньке темно.

А кузнечики-
Газетчики
Поскакали по полям,
Закричали журавлям:

«Горе! горе! Крокодил
Солнце в небе проглотил!»

Плачет серый воробей:
«Выйди, солнышко, скорей!
Нам без солнышка обидно,
В поле зернышка не видно!»

Плачут зайки
На лужайке:
Сбились, бедные, с пути,
Им до дому не дойти.

Только раки пучеглазые
По земле во мраке лазают,
Да в овраге за горою
Волки бешеные воют.

Рано-рано
Два барана
Застучали в ворота:
Тра-та-та и тра-та-та!

«Эй, вы, звери, выходите,
Крокодила победите,
Чтобы жадный Крокодил
Солнце в небо воротил!»

Но мохнатые боятся:
«Где нам с таким сражаться!
Он и грозен и зубаст,
Он нам солнце не отдаст!»
И бегут они к Медведю в берлогу:
«Выходи-ка ты, Медведь, на подмогу,
Уж довольно тебе лапу сосать,
Надо солнышко итти выручать!»

Но Медведю воевать неохота:
Ходит-ходит он, Медведь, круг болота.

Он и плачет, Медведь, и ревет,
Медвежат он из болота зовет:
«Ой, куда вы, толстопятые, сгнули?
На кого вы меня, старого, кинули?»

Тут лисица выходила
И Медведю говорила:
«Стыдно старому реветь,
Ты не заяц, а Медведь.
Ты поди-ка, косолапый,
Крокодила исцарапай,
Разорви его на части,
Выври солнышко из пасти,
И когда оно опять
Будет на небе сиять,
Малыши твои мохнатые,
Медвежата толстопые,
Сами к дому прибегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»

И встал Медведь,
Зарычал Медведь,
И к Большой Реке
Побежал Медведь.
А в Большой Реке
Крокодил лежит,
И в зубах его
Не огонь горит —
Солнце красное,
Солнце краденое.

«Говорю тебе, злодей,
Выплюнь солнышко скорей!
А не то, гляди, поймаю,
Пополам переломаю!
Будешь ты, невежа, знать
Наше солнце воровать!
Пропадает целый свет,
А тебе и горя нет!»

Но бессовестный смеется
Так, что дерево трясется:
«Если только захочу,
И луну я проглочу!»

Не стерпел Медведь,
Заревел Медведь,
И на злого врага
Налетел Медведь.

Уж он мял его
И ломал его:
«Подавай сюда
Наше солнышко!»

Испугался Крокодил,
Завопил, заголосил,
А из пасти
Из зубастой
Солнце вывалилось,
В небо выкатилось!

И глядите: засверкало,
Засияло, заблестало,
Побежало по кустам,
По березовым листам!
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Стали птички щебетать,
За букашками летать,
Стали зайки
На лужайке
Кувыркаться и скакать.

И глядите: медвежата,
Как веселые котята,
Прямо к дедушке мохнатому,
Толстопятые бегут:
«Здравствуй, дедушка, мы тут!»

Рады зайчики
И белочки.
Рады мальчики
И девочки.
Обнимают и целуют косолапого:
«Ну, спасибо тебе, дедушка, за солнышко!»

1924

Агния БАРТО



СНЕГИРЬ

На Арбате в магазине
За окном устроен сад.
Там летает голубь синий,
Снегири в саду свистят.

Я одну такую птицу
За стеклом видал в окне,
Я видал такую птицу,
Что теперь не спится мне.

Ярко-розовая грудка,
Два блестящие крыла...
Я не мог ни на минутку
Оторваться от стекла.

Из-за этой самой птицы
Я ревел четыре дня,
Думал, мама согласится —
Будет птица у меня.

Но у мамы есть привычка
Отвечать всегда не то:
Говорю я ей про птичку,
А она мне — про пальто;

Что в карманах по дыре,
Что дерусь я во дворе,
Что поэтому я должен
Позабыть о снегире.

Я ходил за мамой следом,
Поджидал ее в дверях,
Я нарочно за обедом
Говорил о снегирях.

Было сухо, но калоши
Я послушно надевал,
До того я был хорошим —
Сам себя не узнавал.

Я почти не спорил с дедом,
Не вертелся за обедом,
Я «спасибо» говорил,
Всех за все благодарил.

Трудно было жить на свете,
И, по правде говори,
Я терпел мученья эти
Только ради снегиря.

До чего же я старался!
Я с девчонками не дрался!

Как увижу я девчонку,
Погрожу ей кулаком
И скорей бегу в сторонку,
Будто я с ней незнаком.

Мама очень удивилась:
— Что с тобой, скажи на милость?
Может, ты у нас больной —
Ты не дрался в выходной!
И ответил я с тоской:
— Я теперь всегда такой.

Добивался я упрямо,
Повозился я не зря:
— Чудеса! — сказала мама
И купила снегиря.

Я принес его домой.
Наконец теперь он мой!
Я кричал на всю квартиру:
— У меня снегирь живой!

Я им буду любоваться,
Будет петь он на заре...

Может, снова можно драться
Завтра утром во дворе?

1938

ДОМ ПЕРЕЕХАЛ

Возле Каменного моста,
Где течет Москва-река,
Возле Каменного моста
Стала улица узка.

Там на улице
Заторы,
Там волнуются
Шоферы.

— Ох, — вздыхает постовой, —
Дом мешает угловой!

Сема долго не был дома —
Отдыхал в Артеке Сема,
А потом он сел в вагон,
И в Москву вернулся он.

Вот знакомый
Поворот —
Но ни дома,
Ни ворот!
И стоит в испуге Сема
И глаза руками трет:

— Дом стоял
На этом месте,
Он пропал
С жильцами вместе!
Где четвертый номер дома?
Он был виден за версту! —
Говорит тревожно Сема
Постовому на мосту.

— Возвратился я из Крыма,
Мне домой необходимо!
Где высокий
Серый дом?
У меня там
Мама в нем!

Постовой ответил Семе:
— Вы мешали на пути,

Вас решили в вашем доме
В переулок отвезти.

Поищите
За углом —
И найдете
Этот дом.

Сема шепчет со слезами:
— Может, я сошел с ума?
Вы мне, кажется сказали,
Будто движутся дома?

Сема бросился к соседям.
А соседи говорят:
— Мы все время, Сема, едем,
Едем десять дней подряд.

Тихо едут стены эти,
И не бьются зеркала,
Едут вазочки в буфете,
Лампа хрупкая цела.

— Ой! — обрадовался
Сема. —
Значит, можно ехать
Дома?!

Ну, тогда в деревню летом
Мы поедем в доме этом.

В гости к нам
Придет сосед:
«Ах!» А дома —
Дома нет.

Я не выучу урока,
Я скажу учителям:
«Все учебники
Далеко —
Дом гуляет
По полям!»

Вместе с нами за дровами
Дом поедет прямо в лес.

Мы гулять —
А дом ва пами,
Мы домой —
А дом... исчез.

Дом уехал в Ленинград
На октябрьский парад.
Завтра утром, на рассвете,
Он вернется, говорят.

Дом сказал перед уходом:
«Подождите перед входом!
Не бегите вслед за мной:
Я сегодня выходной».

— Нет, — решил сердито Сема, —
Дом не должен бегать сам!
Человек — хозяин дома.
Все вокруг послушно нам.

Захотим —
И в море синем,
В синем небе
Поплывем!

Захотим —
И дом подвинем,
Если нам мешает дом.

1938

Сергей МИХАЛКОВ



ДЯДЯ СТЕПА

В доме восемь дробь один,
У заставы Ильича,
Жил высокий гражданин
По прозванию «Каланча».

По фамилии Степанов
И по имени Степан,
Из районных великанов
Самый главный великан.

Уважали дядю Степу
За такую высоту.
Шел с работы дядя Степа —
Видно было за версту.

Лихо мерили шаги
Две огромные ноги;
Сорок пятого размера
Покупал он сапоги.

Он разыскивал на рынке
Величайшие ботинки,
Он разыскивал штаны
Небывалой ширины.

Купит с горем пополам,
Повернется к зеркалам, —
Вся портновская работа
Разъезжается по швам.

Он через любой забор
С мостовой глядел во двор.
Лай собаки подымали:
Им казалось — лезет вор.

Брал в столовой дядя Степа
Для себя двойной обед.
Спать ложился дядя Степа —
Ноги клал на табурет.

Сидя книги брал со шкапа,
И не раз ему в кино
Говорили: «Сядьте на пол!
Вам, товарищ, все равно».

Но зато на стадион
Проходил бесплатно он:
Пропускали дядю Степу —
Думали, что чемпион.

От ворот и до ворот
Знал в районе весь народ,
Где работает Степанов,
Где прописан,
Как живет.

Потому что всех быстрее,
Без особенных трудов,
Он снимал ребятам змея
С телеграфных проводов.

И того, кто ростом мал,
На параде поднимал,
Потому что все должны
Видеть армию страны.

Все любили дядю Степу,
Уважали дядю Степу;
Был он самым лучшим другом
Всех ребят со всех дворов.

Он домой спешит с Арбата,
«Как живешь?» — кричат ребята,
Он чихнет — ребята хором:
«Дядя Степа, будь здоров!»

Дядя Степа утром рано
Быстро вскакивал с дивана,
Окна настежь открывал,
Душ холодный принимал.
Чистить зубы дядя Степа
Никогда не забывал.

Человек сидит в седле,
Ноги тащит по земле, —
Это едет дядя Степа
По бульвару на осле.
«Вам, — кричат Степану люди, —
Нужно ехать на верблюде!»

На верблюде он поехал —
Люди давятся от смеха:
«Эй, товарищ, вы откуда?
Вы раздавите верблюда!
Вам, при вашей вышине,
Нужно ехать на слоне!»

Дяде Степе две минуты
Остается до прыжка,
Он стоит под парашютом
И волнуется слегка.

А внизу народ хохочет:
«Вышка с вышки прыгать хочет!»

В тир, под низенький навес,
Дядя Степа еле влез.

«Разрешите расплатиться,
Получите два рубля!
Я стреляю в эту птицу
И в название корабля».

Оглядев с тревогой тир,
Говорит в ответ кассир:

«Вам придется на колени,
Дорогой товарищ, встать, —
Вы же можете мишени
Без ружья, рукой достать!»

Состязание в футбол,
Забивают страшный гол.

Ничего не замечая,
«Восемь ноль!» — свистит судья.

А ворота отвечают:
«Извиняюсь, это я!»

Над рекой летают чайки,
За рекой горит закат.
Дядя Степа в синей майке
Просит лодку напрокат.

Дядю Степу узнают,
Лодку с веслами дают.

«На здоровье, дядя Степа,
Вы заплатите потом!
Не забудьте, дядя Степа,
Наклониться под мостом».

До утра в аллеях парка
Будет весело и ярко,
Будет публика шуметь,
Будет музыка греметь.

Дядя Степа просит кассу:
«Я пришел на карнавал, —
Дайте мне такую маску,
Чтоб никто не узнавал!»

«Вас узнать довольно просто! —
Раздается дружный смех. —
Мы узнаем вас по росту:
Вы, товарищ, выше всех!»

Паровоз летит, гудит,
Машинист вперед глядит.
Машинист за полустанком
Кочегару говорит:

«От вокзала до вокзала
Сделал рейсов я немало,
Но готов идти на спор —
Это новый семафор!»

Подъезжают к семафору.
Что такое за обман?

Никакого семафора —
У пути стоит Степан.

Он стоит и говорит:
«Здесь дождями путь размыт.
Я нарочно поднял руку —
Показать, что путь закрыт!»

Что случилось?
Что за крик?
Это тонет ученик!
Он упал с обрыва в реку —
Помогите человеку!

На глазах всего народа
Дядя Степа лезет в воду.

«Это необыкновенно! —
Все кричат ему с моста. —
Вам, товарищ, по колено
Все глубокие места!»

Жив, здоров и невредим
Мальчик Вася Бородин.

За поступок благородный
Степу все благодарят.
«Попросите что угодно!» —
Дяде Степе говорят.

«Мне не нужно ничего —
Я задаром спас его!»

Дом пылает за углом,
Сто зевак стоят кругом.
Ставит лестницы команда,
Из брандспойтов тушат дом.

Весь чердак уже в огне,
Бьются голуби в окне.

На дворе в толпе ребят
Дяде Степе говорят:

«Неужели вместе с домом
Наши голуби сгорят?»

Дядя Степа с тротуара
Достает до чердака.
Сквозь огонь и дым пожара
Тянется его рука.

Он окошко открывает,
Из окошка вылетают
Восемнадцать голубей,
А за ними — воробей.

Дяде Степе благодарны:
Спас он птиц, и потому
Стать немедленно пожарным,
Все советуют ему.

Но пожарникам в ответ
Говорит Степанов: «Нет!
Я во флот служить пойду.
Там я тоже подойду!»

И однажды мимо моста
К дому восемь дробь один
Дядистепаиноста
Двигается гражданин.

Кто, товарищи, знаком
С этим видным моряком?
Он идет,
Скрипят снежинки
У него под каблуком.

В складку форменные брюки,
Он в шинели под ремнем,
В шерстяных перчатках руки,
Якоря блестят на нем.

Буквы золотом горят
И прохожим говорят,
Что идет моряк с линкора
И зовут линкор «Марат».

И моряк подходит к дому.
Всем ребятам не знакомый.
И ребята тут ему
Говорят: «А вы к кому?»

Дядя Степа обернулся
И ответил: «Я вернулся!
Ночь не спал. Устал с дороги.
Не привыкли к суше ноги.
Отдохну. Надену китель.
На диване полежу.
После чая заходите —
Сто историй расскажу!»

И теперь горды ребята —
Пионеры, октябрята —
Что знакомы с краснофлотцем,
С настоящим моряком.

Он домой спешит с Арбата.
«Как живешь?» — кричат ребята.
И теперь зовут ребята
Дядю Степу «Маяком».

1936

А ЧТО У ВАС?

Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.

Дело было вечером,
Делать было нечего.

Галка села на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:

— А у меня в кармане гвоздь!
А у вас?

— А у нас сегодня гости!
А у вас?
— А у нас в квартире кошка
Родила вчера котят.
Котята выросли немножко,
А есть из блюдца не хотят!
— А у нас на кухне газ!
А у вас?
— А у нас водопровод!
Вот!
— А из нашего окна
Площадь Красная видна!
А из вашего окошка
Только улица немножко!
— Мы гуляли по Неглинной,
Заходили на бульвар,
Нам купили синий-синий,
Презеленый красный шар!

— А у нас огонь погас —
Это раз!
Грузовик привез дрова —
Это два!
А в-четвертых — наша мама
Отправляется в полет,
Потому что наша мама
Называется — пилот!

С лесенки ответил Вова:
— Мама-летчик?
Что ж такого?
Вот у Коли, например,
Мама-милиционер!
А у Толи и у Веры
Обе мамы — инженеры!
А у Левы мама — повар!
Мама-летчик,
Что ж такого?
— Всех важней, — сказала Ната, —
Мама-вагоновожатый,
Потому что до Зацепы
Водит мама два прицепа.
И спросила Пина тихо:
— Разве плохо быть портнихой?

Кто трусы ребятам шьет?
Ну, конечно, не пилот!

Летчик водит самолеты —
Это очень хорошо!
Повар делает компоты —
Это тоже хорошо.

Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.

Мамы разные нужны!
Мамы всякие важны!

Дело было вечером,
Спорить было нечего.

1936

МЫ С ПРИЯТЕЛЕМ

Мы с приятелем вдвоем
Замечательно живем.
Мы такие с ним друзья —
Куда он,
Туда и я!

Мы имеем по карманам:
Две резинки,
Два крючка,
Две больших стеклянных пробки,
Двух жуков в одной коробке,
Два тяжелых пяточка.
Мы живем в одной квартире,

Все соседи знают нас,
Только мне звонить — четыре,
А ему — двенадцать раз.

И живут в квартире с нами
Два ужа
И два ежа,
Целый день поют над нами
Два приятеля-чижа.

И про наших
Двух ужей,
Двух ежей
И двух чижей
Знают в нашем новом доме
Все двенадцать этажей.

Мы с приятелем вдвоем
Просыпаемся,
Встаем,
Открываем настежь двери,
В школу с книжками бежим...

И гуляют наши звери
По квартирам
По чужим.

Забираются ужи
К инженерам в чертежи.

Управдом в постель ложится
И встает с нее дрожа:
На подушке не ложится —
Под подушкой два ежа!

Раньше всех чижи встают
И до вечера поют.
Дворник радио включает —
Птицы слушать не дают!

Тащат в шапках инженеры
К управдому
Двух ужей,
А навстречу инженерам
Управдом несет ежей.

Пишет жалобу сосед:
«Никому покою нет!
Зоопарк отсюда близко.
Предлагаю всех зверей
Сдать юннатам под расписку,
По возможности скорей».

Мы вернулись из кино.
Дома пусто и темно.
Зажигаются огни.
Мы ложимся спать одни.

Еж колючий,
Уж ползучий,
Чиж певучий —
Где они?

Мы с приятелем вдвоем
Просыпаемся,
Встаем,
По дороге к зоопарку
Не смеемся, не поем.

Неужели зоосад
Не вернет зверей назад?
Мы проходим мимо клеток,
Мимо строгих сторожей.
Сто чижей слетают с веток,
Выбегает сто ежей.

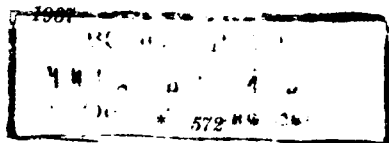
Только разве отличишь,
Где какой летает чиж!
Только разве разберешь,
Где какой свернулся еж!

Сто ужей на двух ребят
Подозрительно глядят.
Сто чижей кругом поют.
Сто чижей зерно клюют.

Наши птицы, наши звери
Нас уже не узнают.
Солище село.
Поздний час.
Сторожа выводят нас.

— Не пора ли нам домой? —
Говорит приятель мой.

Мы такие с ним друзья —
Куда он,
Туда и я.



С О Д Е Р Ж А Н И Е

В. Маяковский

Поэт рабочий (1918)	3
Необычайное приключение (1920) .	4
Рассказ про то, как кума (1920) .	7
Проваседавшие (1922)	11
Про это (Из поэмы) (1923)	13
Прощение на имя (1923)	15
Владимир Ильич Ленин (Из поэмы) (1924)	20
Юбилейное (1924)	34
Домой (1925)	42
Бруклинский мост (1925)	45
Что такое хорошо (1925)	49
Товарищу Нетте (1926)	52
Сергею Есенину (1926)	55
Разговор с фининспектором (1926) .	59
Разговор на Одесском рейде (1926)	67
Хорошо! (Из поэмы) (1927)	68
Рассказ литейщика Ивана Козырева (1928)	86
Кем быть? (1929)	89
Стихи о советском паспорте (1929) .	95
Любители затруднений (1930) . . .	98
Во весь голос (1930)	100

А. Блок

Двенадцать (1918)	106
Скифы (1918)	116
Пушкинскому дому (1921)	118

В. Брюсов

Мировая война XX века (1918) . . .	120
России (1919)	120
Нам проба (1919)	121
Только русский (1919)	122
Октябрь 1917 года (1920)	123
Я выросал в глухое время (1920) . .	123
Парки в Москве (1920)	124
Ленин (1924)	125

Андрей Белый

Родине (1917)	127
-------------------------	-----



С. Городецкий

Поэт (1935)	131
Горюшко (1937)	132

В. Хлебников

Ночь перед советами	134
Эй, молодчини-купчики	143

В. Каменский

Сарынь на кичку! (1918)	144
-----------------------------------	-----

Демьян Бедный

Мой стих (1917)	155
Проводы (1918)	155
Главная улица (1922)	157
Снежинки (1925)	161
Я верю в свой народ (1941)	162

С. Есенин

Я покинул родимый дом (1918) . . .	163
О край дождей и непогоды (1918) . .	163
Теперь любовь моя не та (1918) . . .	164
Все живое особой метой (1919) . . .	164
Не жалею, не зову, не плачу (1921)	165
Эта улица мне знакома (1923)	166
Мне грустно на тебя смотреть (1923)	167

Письмо матери (1924)	168
Мы теперь уходим понемногу (1924)	169
Ленин (Из поэмы) (1924)	170
Русь советская (1924)	172
Отговорила роща золотая (1924)	175
Я спросил сегодня у менилы (1924)	176
Свет нафранный вечернего края (1924)	177
Слышишь — мчатся сани (1925)	177
Анна Снегина (Из поэмы) (1925)	178
Собак Качалова (1925)	182
Каждый труд благослови удача! (1925)	183
Цветы мне говорят — прощай (1925)	184
Спит ковыль. Равнина дорогая (1925)	184
Неуютная жидкая лунность (1925)	185

Б. Пастернак

Кремль в бурян конца 1918 года (1919)	187
Девятьсот пятый год (Из поэмы) (1926)	188
Лейтенант Шмидт (Из поэмы) (1927)	196
«Высокая болезнь» (Из поэмы) (1928)	205
Волны (Отрывки) (1931)	206
О, знал бы я, что так бывает (1931)	209
Вечерело. Повсюду ретиво (1931)	210
Страшная сказка (1941)	211

И. Асеев

Марш Буденного (1922)	213
Лирическое отступление (1924)	214
Не ва силу, не ва качество (1925)	223
Декабрьскы (1926)	224
Русская сказка (1926)	226
Партизаны (Из поэмы «Семен Про- скаков») (1926)	229
Ясному соколу (1938)	240
Маяковский рядом (Из поэмы «Мая- ковский начинается») (1939)	241
Человечество с нами (1942)	248

И. Тихонов

Самы (1920)	250
Песня об отпускном солдате (1919—1922)	253
Баллада о гвоздях (1919—1922)	254
Огонь, перевька, пули и топор (1921)	255

Мы разучились пиццим подзывать (1921)	255
Перекоп (1922)	256
Баллада о синем пакете (1922)	257
Почной праздник в Алла-Верды (1935)	259
Противогаз (1936)	262
Женщина в дверях стола (1941)	263
Наш город (1941)	264
Киров с нами (1941)	265
Растет, шумит тот вихрь народной славы (1941)	269

В. Александровский

Путник (1918)	271
Душа, кричи громче (1919)	272
Верю я (1921)	272

Н. Полетаев

Красная площадь (1918)	274
Песня о соловьях (1921)	274
Портретов Ленина не видно (1923)	275

В. Казин

Каменщик (1920)	276
Дядя или солнце? (1922)	276
Гармонист (1924)	277
Я нет-нет — и потемнею бровью (1924)	278
С парохода «Радишев» (1941)	280

А. Безыменский

О шапке (1923)	281
О чем говорило молчание (1942)	282
Письмо, вложенное в посылку (1942)	285

А. Жаров

Гармонь (1926)	289
Волга впадает в Москву (1932)	300
Звезда (1942)	302

И. Уткин

Повесть о рыцаре Мотэле (Отрыв- ки) (1925)	304
Гитара (1926)	311
Народная песня (1939)	312
Красноармейцу (1941)	313
Солдатская (1942)	313

М. Светлов

Рабфаковке (1925)	315
Гренада (1926)	316
Перед боем (1927)	318
Украина (1927)	320
Двадцать восемь (Из поэмы) (1942)	321

М. Голодный

Романтическая ночь (1927)	324
Судья Горба (1933)	326
Железняк (1935)	328

В. Саянов

Современники (1925)	330
Снова море в огне небывалом (1926)	331
Ровесникам (1929)	331
В бега (1933)	332

Э. Багрицкий

Арбуз (1924)	334
Дума про Опанаса (1926)	335
Птицелов (1927)	348
Разговор с комсомольцем Н. Де- ментьевым (1927)	349
Весна (1928)	353
Вмешательство поэта (1929)	355
Смерть пионерки (1932)	357

Н. Сельвинский

Великий океан (1932)	363
Охота на тигра (1932)	364
Баллада о ленинизме (1942)	370
И это видел (1942)	373

В. Инбер

Пять ночей и дней (1924)	376
Душа Ленинграда (1942)	376
«Пулковский меридиан» (Из поэмы (1942)	377

В. Луговской

Письмо к республике от моего друга (1929)	389
Басмач (1932)	391
Медведь (1939)	394
Курсантская венгерка (1940)	395

Н. Антокольский

Санкилот (1925)	397
1837—1937 (1937)	400
На север! (1938)	401
Клятва (1939)	403
О парне из гитлеровской дивизии (1942)	404

В. Рождественский

Памятник Суворову (1941)	406
------------------------------------	-----

П. Ушakov

Вино (1923)	408
Ты входишь в сад (1925)	408
Мастерство (1935)	409
В степи (1942)	410

П. Деминцев

Мать (1933)	411
-----------------------	-----

А. Прокофьев

Товарищ (1930)	416
Парни (1930)	417
Когда, блестя клинками в лаве (1932)	418
Матрос в Октябре (1933)	419
Невеста (1934)	420
Клятва (1942)	421

Н. Браун

О песне (1942)	423
--------------------------	-----

С. Кирсанов

У гроба Кирова (1934)	425
Твоя поэма (Эпилог) (1937)	427
Севастополь (1943)	429

В. Лебедев-Кумач

Песня о родине (1935)	432
Веселый ветер (1935)	433
Москва майская (1937)	435
Здравствуй, елка! (1938)	437
Юный патриот (1941)	438
Комсомольский билет (1942)	440

С. Алымов

По долинам и по взгорьям (1929)	441
Вася-Василечек (1941)	441

М. Исаковский

Песня о Сталине (1936)	444
Привоканье (1936)	445
Прощание (1937)	447
И кто его апост (1938)	447
Шел со службы пограничник (1939)	448
Отцовский дом разграблен и раз- рушен (1941)	450
Не у нас ли, подруженьки (1942)	451

В. Гусев

Слава (1934)	454
Ведут народы бой (1941)	457
Мать и сын (1942)	458

А. Твардовский

Страна Муравин (Из поэмы) (1936).	460
Ленин и печник (1940)	470
Василий Теркин (Из поэмы) (1942).	476

А. Сурков

Конармейская (1933)	485
Человек склонился над водой (1941)	486
В смертном оянобе под востром трепещет осина (1941)	486
Шуришит по крышам снеговая крупна (1941)	487
Песня смелых (1941)	487
В громе яростных битв (1942)	488

С. Шилачев

Беревка (1937)	489
Свет всады (1938)	489
Спор (1939)	490
Здесь было горе-горьное бездон- ным (1939)	490
Любовью дорожить умеете (1939)	490
Потомкам (1940)	491
Ленин (1941)	491
Фронтное шоссе (1941)	492
Поединок (1942)	492

С. Васильев

Голубь моего детства (1935)	493
Маташа (1942)	497

И. Смеляков

Мама (1939)	498
Мичуринский сад (1939)	499

Е. Долматовский

Актеры (1938)	501
Украине моей (1941)	502
Разговор Волги с Доном (1942)	503
Мартизан Неуловимый (1942)	504

Б. Симонов

Танк (1939)	506
Майор привел мальчишку (1941)	507

Жди меня (1941)	508
А. Суркову (1941)	509
Я, перебрав весь год, не вижу (1941)	510
Убей его (1942)	512

М. Алингер

Музыка (1942)	515
Зоя (Из поэмы) (1942)	517

О. Бергольц

Февральский дневник (1942)	522
--------------------------------------	-----

И. Гыленков

В суровый час раздумья нас не троньте (1942)	528
Испытание огнем и железом (1942)	528

А. Яшин

Олена (1936)	530
Шинель (1942)	532

С. Маршак

О глухом мышопке (1923)	534
Почта (1927)	536
Вот какой рассеянный (1930)	540
Откуда стол пришел (1941)	541
«Юный Фриц» (1941)	543
Плакаты (1941—1942)	544
Мать (1942)	545

К. Чуковский

Мойлодыр (1922)	546
Муха-цокотуха (1923)	550
Краденое солнце (1924)	553

А. Барто

Снегирь (1938)	557
Дом переехал (1938)	559

С. Михалков

Дядя Степа (1936)	562
А что у вас? (1936)	568
Мы с приятелем (1937)	570

